ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА 17

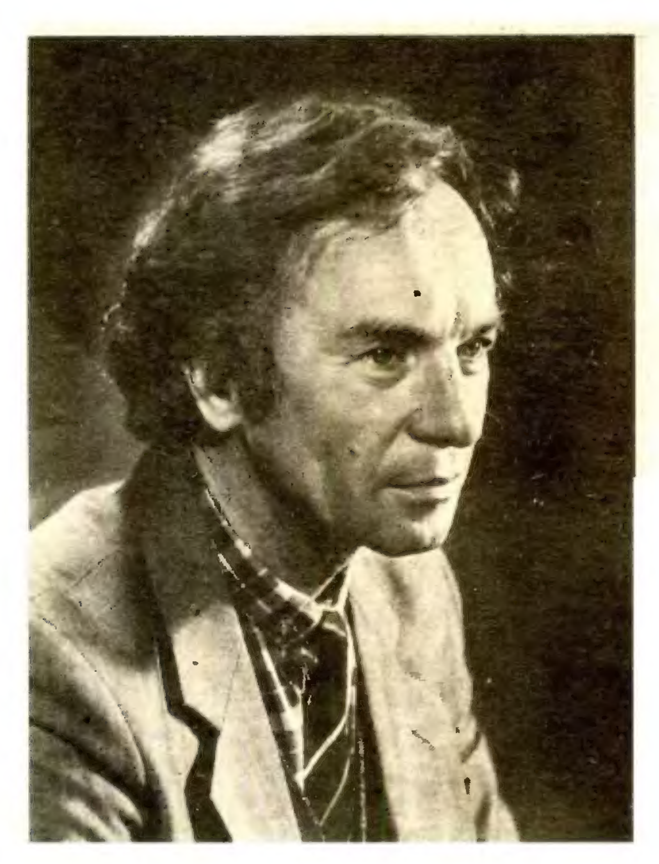
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

(1119)·1989

Виктор Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ



Виктор Иванович ЛИХОНОСОВ родился в 1936 году на станции Топки Кемеровской области.

В 1961 году окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института. Печатается с 1963 года.

Автор повестей «На долгую память» (1968), «Люблю тебя светло» (1969), «Осень в Тамани» (1971), романов «Когда же мы встретимся?» (1978), «Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1988).

В 1989 году избран председателем Товарищества русских художников.

РОМАН-ГАЗЕТА
17
(1119)·1989
Основана в 1927 г.
ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

Виктор Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

РОМАН

— Значит, было время, что люди жили так...

(Из разговора)

Наперед хочу сказать: мне трудно пысать, бо я, шо напысав, уже не прочитаю, а пышу, так следю, шоб строчка была ровна, и стараюсь не прерывать рассказ, а то забуду, шо напысав...

(Казак А. В. С-в, 95 лет)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В марте 1982 года пришла ко мне из тамбовской деревни посылка в фанерном ящичке. Под связкой сушеных грибов лежали тетрадки и сшитые листы — рукопись моего знакомого Валентина Т., несколько лет назад вернувшегося на родную Тамбовщину. В беглой записке вдова его просила меня: если, мол, вам не трудно, просмотрите все это; найдете в бумагах ценный материал — пользуйтесь им как вздумается; не пригодятся ни вам, ни другим — назад не отсылайте. Все было ясно: она, пилившая некогда своего мужа за «дурацкие занятия никому не нужной историей», освобождалась от всего, что стало лишним после его смерти.

Рукопись Валентина Т. я прежде не читал. Ранний ее вариант он сжег, но спустя пять лет что-то гнетущее (может, боль, такая же сильная, как и в минуты уничтожения, а может, и вина перед людьми, которые раскрывали ему свою жизнь) заставило его приклониться к дорогой кубанской теме еще раз. Я не очень верю в удачу воскрешения первых мгновенных строк, свежести и трепета самых тонких чувств, и мне жаль покойного товарища, конечно же страдавшего в часы реставрации своего сочинения. Он прожил на казачьей земле почти двадцать лет, проникся ее историей, и, видимо, потому, что его нежная пугливая душа изо дня в день внимала «протеканию века человеческо-

го», он на основе обрывочных преданий чужой стороны осмелился возвратить туманные годы своих престарелых знакомцев. Его рукопись — пример простодушной любви к людям, к памяти обо всем родном, и читать ее надо на том же дыхании, на каком она писана.

Над рукописью Валентина Т. я добросовестно просидел целый год. Мне пришлось не только многое поправлять, перекраивать композицию, но и переписывать некоторые главы, кое-где, быть может, оставляя почерк своей руки и все же не вторгаясь в душу автора. Две-три главы я сберег н е д о п и с а н н ы м и, подчеркнув тем самым, что и эти в о с п о м и н а н и я не завершены до конца. Каюсь: я несколько раз бросал свое благотворительное занятие. И, думаю, однажды сложил бы все листы в папку, завязал шнурочки и отнес все в архив. Но ко мне каждый месяц наведывался упрямый гость: девяностопятилетний казак А. В. С-в, слова которого Валентин Т. поставил эпиграфом к своему роману. «Опять он!» — как о привидении, сообщала мне маленькая Настенька, показывая ручкой на дверь. Я выходил к порогу, и... душа моя сжималась от сочувствия: из станицы Ивановской каким-то чудом добрался в город, потом, постукивая палочкой по мостовой, шел к моей улице, потом блукал по нашему двору в поисках моего подъезда полуслепой высокий старец! Что с ним поделаешь! Много-много лет ждал он книгу о неньке-Кубани и, когда узнал, что она уже пишется, оповестил в своей станице стариков, бродил от хаты к хате. Теперь я стал для него главной надеждой.

— Ну что, что? — с ласковой строгостью вопрошал я, провожая его в свой кабинет. — Вы же мне все сказали.

— Я прыйшов досказать вам то, шо не сказав Валентину. Прыйшов досказать, як мий батько с последней черкески брюки пошил. Та ще про чепигинский дуб, якый упав недавно в грозу в Глухом переулке, шо у Карасунского канала, там кошевой атаман Чепига жил в хатке. Та запысав казачьи прысказки. Та як на Турецком фронте казаки воевалы. Та про Бурсаковы скачки. То моя, може, лебединая песня... Чи скоро вы поскладаете ровно бумаги Валентина? Мы вам поклонымся за то, шо старовыну помянулы. Я ветхий днями и до того боюсь, до того боюсь ночью, шо не доживу и не прочитаю про ридну картыну сквозь горючие слезы умиления...

Так и сказал: «...сквозь горючие слезы умиления...»

Под кроткую требовательность А. В. С-ва, как бы стоявшего за моей дверью, я и приводил в порядок рукопись Валентина Т. Успеет ли казак прочитать?

1983

В. Лихоносов

НЕТ ЛИ ТАМ КОГО!

Пролог

Если бы каким-то чудом вознесли его на крыльях с парижской улицы и через мгновение спустили с небес возле этой гостиницы, на то место, где он столько раз стоял в своей молодости, Бурсак ни за что бы не поверил, что находится в родном казачьем городе. И если бы правда летел одиноко он сверху, то какой-нибудь зоркий мальчик показал на него рукой и во всю мочь закричал: «Смотрите! Какой-то человек!» Обступили бы его кольцом и допытались, что он из Парижа.

Но в солнечный послеобеденный час 11 июня 1964 года никто не заметил его появления. Великие чудеса, коими награждает нас жизнь, мы носим в себе и поделиться ни с кем не можем. Чудо было в том, что он все же приехал домой, приехал поездом; с бывшей Черноморской станции прокатил его скоро троллейбус, и на углу улиц Мира и Красной ему какой-то юноша подтащил тяжелые фибровые чемоданы. Все! Он дома. Но какое прощальное, одинокое то было приближение к дому. Кого ж окликнуть?

За сорок лет, которые Дементий Павлович Бурсак провел на чужбине, все разрослось, обновилось и изменило домашний облик. На месте «Большой Московской» стояла незнакомая гостиница «Центральная». Гостиницы «Европейской» напротив, где он в 1910 году обидел знаменитого Шаляпина, не было. А вниз по Екатерининской, на поперечной Котляревской улице, не заслоняли собой Карасунское русло триумфальные Царские ворота. И пожарной каланчи над теперешним книжным магазином тоже не было.

Город Екатеринодар, это ты?!

Ему о многом написали еще до войны, но нынче, когда Бурсак неспешно, с одинокой тайной в душе, пересекал исторические кварталы, глаза искали в иную минуту то, что закрепилось в памяти как вечное украшение и бытие, исчезновению чего он не хотел верить. Да нет же, это правда! — убеждался он теперь. Это истинная правда! — нету на Соборной площади белого Александро-Невского храма, вокруг которого обвозил молодых в каком-то несуществовавшем 1913 году лихач Терешка. Сбылось ясное пророчество и на нем: если хочешь почувствовать, как прошла твоя жизнь, навести свою родину, узнай со скорбью, как мало там помнят тебя.

Лишь одна улица Красная называлась по-старому. На Почтовой, Графской, Соборной, Посполитакинской он глядел на окна, припоминая фамилии хозяев, но ни из одних ворот не вышел кто-нибудь, с кем бы он мог сейчас поздороваться и, может, обняться. Никого!

«О Господи... — тихо восклицал Бурсак. — И я еще на этом свете...»

В выросшем и постаревшем без него сквере он, подняв голову, суеверно глядел в ту небесную точку, где бронзовая рука царицы Екатерины держала когда-то длинный тоненький крест. За ее спиной, через Бурсаковскую улицу, размещался тогда дворец наказного атамана Бабыча. Нынче там стояла новая четырехэтажная школа.

Он пошел через сквер к городскому саду, прогулялся по любимым своим аллеям — Пушкинской и Воронцовской, посмотрел, чего нет: нет купы дубов «Двенадцать апостолов», нет летнего узорного театра, летнего помещения «Чашки чая». Время, время! На Борзиковской (ныне Коммунаров) шел он по зеленому гроту, шел, слушая длинное, то стихающее, то нарастающее пение трамвайной дуги, и опять чудесно, по-детски ожидал, что кто-нибудь выйдет знакомый. Но кто-о? Каким духом?!

И все кружил и кружил он возле старинного Б у р с а к о в с к о г о п л а н а, вокруг деревянного дома с табличкой, вокруг того патриархального дуба, на сучья которого вешали его деды рыбу, и думал: подойти тотчас же или потом, с Толстопятом?

Так случилось, что друга своего Пьера он просил в письме не встречать и телеграммы из Москвы не давал, а когда принес чемоданы к его крыльцу и постучал, сбоку, из соседней квартиры, вышла косолапая женщина и до прихода Толстопята согласилась подержать его вещи у себя в передней. Вот он и бродил несколько часов по своему Екатеринодару в одиночестве. Уже то был во всех отношениях Краснодар.

Он ходил и на все глядел и обо всем думал как бы от имени тех, кто домой не вернулся. За эти два часа вспомнилось столько такого, что совершенно потускнело в эмиграции.

Легкое удивление переходило в грусть, грусть — в сожаление, сожаление — в горе.

И когда горе стянуло ему грудь, он повернул к высокому крыльцу красного собора св. Екатерины. Двери собора были раскрыты; внутри, над головами, капельками дрожал этот всегда особый, теплый, скорбно-зовущий свет. Бурсак тихими, траурными шагами поднялся по ступенькам, снял с головы светлый берет и ступил под своды. Святые невесомо летали в расписанных небесах. Ужели те же русские люди стояли и молились в тесноте? Был день Вознесения Господня. Службу заканчивал сам архиепископ, совал прихожанам крест для целования. Неужели одна душа так мгновенно переклинулась с другой? Бурсака будто что-то толкнуло в грудь. Это «что-то» был сверкнувший пораженный взгляд архиепископа Ювеналия. В толпе он сразу же увидел и узнал пришельца Бурсака, хотя с тех пор, как он в Париже был для кубанских казаков духовником, прошло много лет. Бурсак не подошел к нему. Какой-то тощий высокий мужик средних лет неистово клал поклоны. Нет ли кого-нибудь из сверстников, нет ли прежде не близкого, но знакомого лица? Не могли же все умереть. Может, вот тот маленький, как ребенок, старичок в белом полотняном костюме с белой бородкой помнит его? Может, кто-то торгует свечами?

Свечи продавали сбоку от наружного входа за стеклянной перегородкой. Старушка не смотрела в окошечко, принимала рукой мелочь, подавала календарики, иконки и бралась за чашечку, возле которой

лежал кусочек хлеба. Бурсак пытливо смотрел на нее минуту, две. Наконец она взглянула на него. Бурсак ей улыбнулся как своей и тут же разочаровался: то была не о н а, не та, о ком он думал и кого желал признать, не жена его бывшая.

— Что вы хотели?

— Я обознался... — сказал Бурсак. — Вы екатеринодарская?

— Родилась тут...

— На какой улице?

— На Бурсаковской.

— Ну, спасибо.

Голова его закружилась, он соступил с крыльца, обернулся на икону поверх дверей и пошел к воротам мимо калек с кружками и чашечками для милостыни. Прозвенел и сверкнул окнами трамвай. Пора было прийти и сказать Толстопяту:

— Как, мой друг, вырос наш маленький Париж!..

Но он побродил еще немножко; его словно сквозняком затянуло в Художественный музей, в тот красивый дом, который принадлежал в оные годы Батыр-Беку Шарданову. Он поздоровался с женщинами у вешалки, купил билетик. Три дня назад он еще был в Париже, и вот кубанские женщины перед ним, и вот прохладные мраморные ступени и зал с огромными портретами императриц: Екатерины II и Марии Федоровны (но не жены Александра III, а той еще, эпохи Павла I). Не иначе эти же царские портреты украшали раньше парадный зал Мариинского института, где училась его бывшая жена. Тягучая, какая-то долголетняя тишина охраняла картины и самого Бурсака. С каждой караульной женщиной он здоровался поклоном. С почтением поклонился он и создателю галереи Ф. А. Коваленко на фотографиях, худенькому больному человечку с бородкой, в галстуке под стоячим крахмальным воротничком, и его опять удивило, что всего три дня назад он слышал на Елисейских полях французскую речь. Но это было еще не самое удивительное. О, что его подстерегало в другом зале!

На него вопрошающе, даже с укором, глядела его жена! Нет! Не живая, не нынешняя, какая она где-то сидит в екатеринодарском дворе, — глядела молодая, с портрета. Он подошел так, что нужно было чуть-чуть поднять голову. Она. На медной пластинке было начертано: «Портрет неизвестной дамы». Бурсак стоял несколько минут, выходил и возвращался, и ему казалось, что сейчас караульная женщина встанет и спросит его: «Узнали свою жену?» Но как она могла спросить, что она могла знать? Никто никогда не догадается, какая нечаянная встреча произошла вечером 11 июня 1964 года под этим лепным потолком в доме всеми забытого Батыр-Бека Шарданова!

«Здравствуй, — шептала его душа, — здравствуй, голубушка...»

Дама (но не дама, а его жена, вернее, его невеста в том 1911 году) все глядела без отклика с масляного портрета куда-то вдаль, в будущее, — молодая, в роскошном голубом платье, с розой в пальчиках.

В музее историческом его тоже ожидало чудо случайности. Что-то подтолкнуло Бурсака подойти к изящному серебряному самовару. И экскурсовод Наталья (пышненькая особа с голоском-колокольчиком), торопясь просветить приезжего, покрутив острой указкой, объяснила: «Здесь перед нами находится самовар XIX века, подаренный, по некоторым сведениям (у нас где-то записано), крепостной кормилице Анисье каким-то великим князем, — по некоторым данным, наместником Кавказа...»

Почему же Толстопят поленился написать ему об этом? Что ж, поневоле с преданий начнется его беседа со старым другом. Вся жизнь их стала преданием...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТАРЫЕ ОТКРЫТКИ

— Что же вы хотите, на то и молодость...
(Из разговора)

ПО СТАРОМУ СТИЛЮ

Еще стояла царская Россия.

После волнений 1905 года жизнь помаленьку вернулась к обычному. В Зимнем дворце принимал депутации государь император, с Кубани посылались в умиленных выражениях послания наследнику Алексею, августейшему атаману всех казачьих войск. Испуг по-русски легко забывался. Все то же кругом, снизу доверху — как встарь. Все те же старинные русские фамилии мелькали в газетах. Ордена св. Андрея Первозванного, св. Владимира, св. Анны жаловал двор министрам, сановникам, помещикам, купцам и офицерам. В Царском Селе и на Шпалерной в Петербурге располагались сотни конвоя его величества из кубанских и терских казаков. Смелые предсказания французской гадалки, г-жи Тэб, пока не сбывались. Звонили колокола, пронзительнее всего напоминая о заветах прадедов, терпении и вере; однако иностранные послы и прозорливые соотечественники подмечали, что в верхах уже разделились и твердой дороги нет.

Еще было то странное время, когда газеты лихо писали на одной полосе о высочайших приемах и проститутках на Старом базаре, о хулиганских выкриках правых в Государственной думе и ситцевых балах в офицерском собрании и о том, что в ночь прибытия в город наместника Кавказа графа Воронцова-Дашкова ассенизационные бочки распустили по Екатерининской улице невыносимое зловоние.

26 февраля 1908 года только что принявший власть наказного атамана и начальника Кубанской области генерал Бабыч развернул «Кубанские областные ведомости» и позвал супругу: в казачьей газете густо лепились приветствия новому атаману.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Еще сравнительно недавно неожиданная весть разнеслась по Екатеринодару, вылетела на степной простор, подхватил ее там вольный ветер и помчал по станицам и хуторам. Наказным атаманом назначен наш казак, наш генерал Бабыч! Родной край, который отцы и деды устлали своими костьми, наконец-то попал в золотые руки.

Прочь темнота! Так называемые «освободители» клонили к уничтожению казачества, к отобранию у него высочайше дарованных прав и преимуществ и, главное, земельных угодий; кроме того, все дело вели к истреблению чисто русских людей, в особенности тех, что принадлежали к патриотическим партиям и союзам. Много жизней напрасно загублено, много сирот и вдов несчастных оставлено, и да будет за это кровь убитых на них и на детях их!

«Бейте, стреляйте, грабьте кого хотите, только меня не троньте!» — думал запуганный обыватель. А наглецы кричали: «Иду на вы!» И посылали грозные письма со своими грабительскими печатями. Невольно возникал вопрос: да где же твердость, где решимость власти? Когда же этому будет конец? И неслась молитва к богу о ниспослании родному краю человека умного, энергичного и добросовестного. Бог внял молитвам и горю людскому.

Имя генерала Бабыча известно всем от мала до велика. Не ко двору пришелся он «освободителям». Знают они его хорошо по 1905 году. Уже тогда они присылали ему смертный приговор. «Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за царя, за Русь!» — наверное, так сказал генерал Бабыч, прочитав себе гнусный приговор.

Гой вы, други верные, кубанские! Собирайтесь в круг да послушайте: грозит подлый ворог кошевому нашему атаману. Соберитесь-ка все на полный сход, обсудите все да сплотитесь и подайте громкий клич!

«С нами бог! Не выдадим своего родного, долгожданного атамана генерала Михайла Павловича Бабыча!»

Генерал Бабыч возвращался из Карса с поста военного губернатора 25 февраля.

Город для встречи атамана нанял в дополнение к казенным экипажам еще двадцать пять лихачей, чтобы всех особ привезти и отвезти на место. Извозчик Терешка всю ночь гонял фаэтон с гуляками; к рассвету лошади и он сам притомились. Поспевай теперь на вокзал к приходу поезда. Мучить лошадей и почти ничего не получить за это от городской управы! Но извозчичий староста при каверзном случае поблажки не даст. Терешка ни одного крупного события в Екатеринодаре не пропустил. Будет что порассказать на старости лет, а нынче за борщом домашним. Как и всякий обыватель, приглядит он, во что одеты жена генерала Софья, его маленькие дочки — да и его ли? Жена-то моложе на двадцать лет, и недаром, видно, ездит за ними по свету высокий красивый черкес Батыр-Бек Шарданов.

Никто ничего не знал до той самой минуты, когда конные казаки и экипажи протянулись по улицам длинным хвостом и спустя час скопились у Александро-Невского собора, куда Бабыч вышел на молитву. Ни один лавочник, ни один приезжий станичник не выпустили из своей головы думки о личных делах. Мало ли что! — там кто-то вступает на пост, сегодня кого-то славят, завтра пышно хоронят, послезавтра чью-то особу встречают. И таким безразличным, как бы себе на уме, выглядел бы город в утро появления наказного атамана, если бы не звон колоколов екатеринодарских.

Первое чувство было испуганное: что это? По какому случаю? Какой праздник? Не война ли? Не в честь ли открытия святых мощей? А может, великий пожар? Тем, кто не спал, вспомнилось, что в три часа ночи по небу пролетел огненный шар, осветил на мгновение крыши и степь и, прочеркнув след, упал на западе.

Но слишком торжественным и радостным был заглушающий все на свете звон.

То ж с Черноморской станции повезли на Соборную площадь нового наказного атамана. То ж казаки почуяли свой час.

И опять стало тихо и просто. У дворца ответственные чины штаба пожелали генералу благополучия и с облегчением разъехались по домам. Только старый казак Лука Костогрыз топтался у крыльца и рассказывал молодой охране, как воевал он еще в отряде отца Бабыча и какие чудеса были на Кубани при черноморских атаманах.

— Пошли нам господи, шо было в старину, — крестился он.

Бабыч, переросший на царской службе корявую самостийность, вступал на должность наказного атамана все же с гордостью, мысленно присовокуплял себя к списку чисто кубанских вождей и, может, оттого не чувствовал бремени своих шестидесяти четырех лет. По привычке, усвоенной от отца-генерала, он на рассвете произносил короткую просьбу-молитву, затем писал ее карандашом на листочке: «Господи, даруй добрый день!» Так было и нынче. Теперь уже, наверное, никуда не выгонит его с родной Кубани воинский долг, — хватит, потер конские седла, пожил в казенных домах, покозырял начальству. Теперь он у себя в курене, выше его только наместник, государь

и его двор. Когда въезжал через Царские ворота в город, потом выходил с насекой под восклицания военных из храма, думал: здесь много товарищей и родни. И первым делом проведал он могилы отца и матери.

Окна двухэтажного дворца у начала Бурсаковской улицы глядели в спину бронзовой императрицы Екатерины, милостиво державшей дарственную грамоту на землю и окруженной снизу слепыми бандуристами с поводырем и первым кошевым начальством. Екатеринодар подражал Петербургу. А сам городок еще маленький, чуть перегнавший застройкой черноморские станицы. Во времена молодости Бабыча на Красной ловили карасей. Но столица! — сюда все стекается. И отныне все будет стекаться к нему, атаману, во дворец.

Да, теперь он самовластный господин. В детстве, когда по станицам только и говорили о деревянном соборе с сорока куренями вокруг него, он приехал с отцом в Екатеринодар и не спал целую ночь: здесь живет наказный атаман! здесь крепость! Ночью случилась тревога. По ту сторону Кубани пробрались черкесы, и на Байдачном кордоне стреляли из пушек. В церкви маленький Бабыч любовался певчими, хлопцами, шедшими вереницей, по два в ряду, в красных мундирах с позументами и с откидными красными рукавами. Вот бы туда!

Нынче он вселился в двухэтажный дворец, а тогда атаман жил в беленьком, чистеньком домике с большими окнами и зеленою крышей. По атаманскому дворику переступал журавль, за ним павлин с самкою. Тучи куликов, уток вспархивали с болота неподалеку. Гоготали дикие гуси. Даже в начале Красной улицы блестело болото с лягушками. И на любой улице было так же. Кругом колодцы с журавлями и громадные дубы, акации. Разве это город? Переваливается воз с сеном, а наверху такой же мальчик, как он. Где тот мальчик? А у него в руках атаманская насека и булава. Думал ли, когда спал, бывало, в родной Нововеличковской на свежей траве, покрытой веретьем? Значит, судьба.

«Господи, — говорил он в тот день на молитве в храме, — не оставь казачество, прикрой нас своею десницей».

За голыми ветками дубов, кленов, акаций клонилось бледное солнце. Звонили без конца. Звонила жена брата Ивана, вдовы героев еще той, кавказской, войны, два-три генерала, приехавших из своих хуторков специально на церемонию, все глуховатые и хриплые.

Утром адъютант подал генералу кипу писем. Одно из них было грозное:

«Бабыч! Черносотенный генерал! Крутись не крутись — будешь убит. Мы тебя предупреждать письмами больше не будем, а явимся внезапно и отомстим за кровь наших товарищей. Заявлять о наших революционных требованиях, следовательно, будет некогда, а тебе устраивать засады из царских собак во всем Екатеринодаре невозможно. Пусть не думают наши враги, что аресты и т. п. нас обессилили. Жить в России под виселицей Николая последнего преступно. Екатеринодарская группа анархистов».

Из станицы Уманской выборные приготовили бумагу иную: «...просить генерала Бабыча не отказать принять на себя звание почетного старика нашей станицы и разрешить нам иметь в присутствии нашего станичного правления его портрет».

Но письмо анархистов все заслонило перед ним, и он, зеленея, отвечал неизвестным: «Не запугаете. Правда света не боится, а ложь да клевета ищут безнаказанности в шайке. Долг свой выполню свято. Я давал присягу».

Успокоили его каракули веселого казака Луки Костогрыза:

«Слава героям, слава Кубани! Пишет тебе, Батько, репаный казак Лука, рад, шо ты сочетался с властью над нами, кубанцами, я две ночи не спал, думал, колы поедемо на охоту н какие я тебе еще геройские подвиги не досказал. А в саду своем стол накрою на тридцать персон и по запорожскому обычаю перекинем столько чарок, аж пока не затошнит. Кланяюсь до сырой земли».

ПЕЧАЛЬ СТАРИКОВ

Лука Минаевич Костогрыз почти тридцать лет прослужил в Петербурге в собственном Его Величества Конвое. Дважды по его просьбе спускали Костогрыза на льготу в войско и снова забирали назад. Ему шел семьдесят четвертый год, но был он еще «мужчина в соку», и как-то на день рождения его не смогла вытащить из ямы пара волов. Может, то люди побрехали за чаркой, а все поверили. Двужильным, хоть и маленьким на вид, был он всю жизнь. Царям нравился шутливый казак; от Александра III удостоился Лука самых благодарственных слов: «Спасибо, Лука, за молодецкую службу. Ты, как нянюшка, смотришь за мною». В роковой для Александра II день (1 марта 1881 года) Луку взрывною волной сбросило с лошади и оглушило ему правое ухо. Стоял он на часах и в Гатчинском дворце Александра III, на крыльце Казанского собора в Петербурге, скакал рядом с фаэтоном в путешествии царя по Кавказу, сидел на запятках поезда императрицы, побывал и за границей. В 1896 году перед коронацией последнего государя умер в станице Пашковской сын, и Лука попросился домой насовсем — отрастить наконец-то оселедец и развести пчел. За всю историю конвоя равных в службе нижних чинов насчиталось немало, но выше урядника никто не взбирался. Лука нисколечко не горевал. Зато на пирушках хвастался подписными часами с гербом да крохотным серебряным сундучком, пожалованным из царских рук. В сундук же большой бабка сложила его награды: знаки Георгия трех степеней, четыре золотые и серебряные медали «За усердие», пятнадцать орденов и медалей и знаков российских и иностранных и два шеврона. В Кубанском войске не было торжества и обеда, чтоб Лука не произносил свои то гордые, то потешные речи.

Еще будучи помощником начальника области, Бабыч забирал Луку Костогрыза на охоту в Красный лес. Никто на охоте не умел его так растрогать воспоминаниями о «старовыне», посмешить за ужином, как этот казак, единственный уже, наверно, на всей Кубани носивший на голове оселедец (толстый, словно девичья коса). По примеру запорожского кошевого панибратства допускал Бабыч в иные минуты шутливое обхождение на равных, даже позволял дымить в своей канцелярии заслуженным старикам. Редко, но, глядишь, всунется в дверь знакомая фигура в черкеске, растопырит руки как на базаре, выкликнет первое родное словцо, и тогда не жаль поломать ненадолго казенный распорядок дня.

— Слава героям, слава Кубани! — по заведенному местному обычаю приветствовал Костогрыз часовых на крыльце. — Пушки на меня наставили, так, думаете, не попаду к батьку кошевому? От бисовы души, нема на вас славных черноморцев. Ей-ей, попаду. От не грех и побожиться. Да шоб я не видел ни родной старухи моей, ни детей, ни внуков, ни Пашковской, если не попаду! О так! Чи не пропустите? Батько у себя? Шо це у вас там пишут лисьими хвостами?

Металлический вензель «АII» на левой груди внушал часовым почтение. То был вензель в память 1 марта 1881 года.

Часы прозвонили двенадцать; Бабыч уже отпустил последнего просителя и сидел в кресле. Возле него услужливо выцветал с сантиметром Василий Попсуйшапка, обмерял голову атамана, заказавшего папаху из шкурки тибетского козла. Был Попсуйшапка донельзя разговорчивым человеком. За полчаса он посвятил генерала в те обывательские истории города, от которых Бабыч поневоле оторван начальственной высотой. Несмотря на донесения, на газеты, полные сплетен, жалобы станичников, многого, простейшего, не ведал Бабыч. Ах, служба. По улице Красной проезжал он в фаэтоне, на базарах не толкался, в станицах его оцепляло начальство. Давно потерял ту свободу, которая есть у любого нищего.

— Так я вам, ваше превосходительство, не досказал... Про Фосса. «Я Фо-осс! Фосс нигде не платит».

— Ну, ну.

— Где обедает, буфетчик недосчитается то столовой скатерти, то серебряных ложек. Да потом заключает контракт и едет по России читать лекции о своих похождениях. И теперь на Кубань пожаловал. Вчера в ресторане «Нью-Йорк» уложил в мешок сорок бильярдных шаров, а им до тысячи рублей цена, и как будто так и надо. Никакой пристав Цитович не справится с ним. Три чемодана оставил у носильщиков на Черноморской станции, а с тремя в город, но гостиницы не приняли, он назад. Сел в уголок в зале первого класса. Толпа зевак на него смотрела: сам Фосс! «Я, — говорит им, — ехал из Царицына, думал скрыться от дураков, а их, оказывается, и в Екатеринодаре в избытке». И сплюнул в сторону. А буфетчик уже к нему с бутылками кваса бежит! «Скажи им, — говорит, — за созерцание моей особы я беру с каждого рыла по пятаку...»

— И откуда вы, молодой человек, все знаете? — спрашивал Бабыч Попсуйшапку с удивлением.

— Гм... Я ж тут живу. Кто с базара идет — к нам в мастерскую. И рассказывают. В «Кубанском курьере» писали, как наши, из черной сотни, ездили в Царское Село. Они прибыли, около часа ждали выхода государя, значит. Там камер-лакеи в золоченых ливреях разносят чай, кругом все блестит. И, пока ждали, вступили якобы в беседу с лакеями. Узнали, что государь часто бывает печальным. Никто ж держать язык за зубами не умеет.

— Офицерам связываться с газетными писаками незачем, — сказал Бабыч. — Я читаю «Кубанские областные ведомости»... Та впустите его, — приказал Бабыч адъютанту, — а то будет кричать через дверь, у мастера от его шуток мерка из рук выпадет. Пустите, чего он пришел?

Через минуту в кабинет ступил сияющий Лука Костогрыз.

— От бисовы души! — как будто бы ругался он на охрану. — Заслонили нашего батьку пушками та саблями. А я уже не справлюсь. Колысь валял кучами, ну все! Нема силушки, батько. Ух, еле добрался до тебя, Михайло Павлович, заморился! Здравствуйте! — низко, театрально поклонился он. — Слава героям, слава Кубани. И вам тоже, — повернул голову к Василию Попсуйшапке, провел пальцем по длинным висячим усам.

Наказный атаман уже вытянул пухлую руку с толстыми пальцами; Костогрыз подошел, двумя руками взял руку Бабыча, чуть поднял ее к груди и, тряся, наконец сказал, заглядывая в глаза без боязни, по-товарищески:

— «Ведомости» читаю с приказами та думаю: чего ж Михайло Павлович не кличет? Или забыл? Ну, я зато сколько раз собирался. И в городе на базаре бываю — зайти? Та ладно, не стану беспокоить, ему, дай-кось, не до меня. То, слышу, по области хвосты атаманам крутить поехал, ай как бы и я проскочил по степи! Та ноги, ноги, батько, мои усыхают, нема того уж, шо было: встанешь на зорьке, выведешь Ленивца та промнешь его, ач!

— Не прибедняйся, Лука.

— Я смалу прибедняюсь, то ты не знаешь меня? Оно так. Я й на кулачки ще могу. И под гармошку пройдусь на свадьбе. Да если молодого за чуб схвачу, то до земли аж притяну. Но не то!

— Не то? — хохотнул Бабыч.

— Не-е, не то, не то!

Мастер Попсуйшапка диву давался, как вольно болтает Костогрыз с наказным атаманом. Знать, в одних боях подставляли под пули свои головы. А чинов разных добились. Или Бабычу приятно показать перед чужим, какой он тоже простой? Но на параде и в театре его видели хмурым. Одно слово: начальство.

— А ты б, хлопец, и мне папаху сшил! — привлек Костогрыз к разговору и Попсуйшапку. — Старуха завезла мою на степь, наткнула на палку птиц пугать, и на парад выйти не в чем.

— Пожалуйста, — покорно сказал Попсуйшап-

ка. — Какую вам? Черную, белую? Молдавского курпея, решетиловского, крымского, бухарского? — Он даже нагнулся к старику, глаза засияли, наступила его минута, человека мастерового. — Мы шьем с братом разные. Мы недавно Султан-Гирею папаху сшили. И шляпу можно. Заказывайте.

— Мне б такую, шоб я шапку в руки — и опять казак! В баню приеду, найду тебя, хлопец.

— Пожалуйста, — кланяясь головой, говорил Попсуйшапка. — Всегда рады, Лука Минаевич.

— А откуда ты меня знаешь, хлопче?

— Гм! Вами вся Кубань гордится, и то, что вы на обедах говорите, в любой бане повторяют. Вы ж телохранителем Александра Второго были? И ранение первого марта получили, на одно ухо оглохли? Ну! — Попсуйшапка поднял голову с гордостью за свою память. — Я хоть и учился за три копейки у дьякона, а от других не отстаю.

— За какие три копейки?

— Мать моя побелила дьякону хату за три копейки, а он меня в приходскую школу устроил. Вот я и говорю всем: учился за три копейки у дьякона.

— Присядь, Лука, — сказал Бабыч и обошел стол, опустился в кресло у стены, на которой во весь рост красовался с портрета государь Николай Александрович.

— Сяду, хоть стоять должен перед тобой, а я сяду все ж, спасибо, батько.

— Рассказывай. Можете идти, — сказал он Попсуйшапке. — Адъютант приедет к вам.

— Спасибо, — польщенно откланивался Попсуйшапка и торопливо, бочком, отступал к двери. — Благодарю вас, ваше превосходительство, рад выполнить заказ по чистой совести. А вы заходите, Лука Минаевич, я у Хотмахера на Красной, перед магазином Запорожца и музыкальным братьев Сарантиди, под гостиницей «Лондон» — помните? Мы вам сошьем такую кубанку, что позавидуют.

— Ото с удовольствием зайду, колы мед на базар привезу. Это до Хотмахера наш атаман с Пашковки водил казаков за папахами — отправлял на службу?

— Ну как же! Тридцать папах взяли. И с Васюринской атаман привозил, тоже тридцать штук примеряли. И Елизаветинская у нас берет, там атаман строгий, мужчина высокого росту, а как человек — ну прямо замечательный...

— Я с его батьком на шапсугов ходил. Он на войсковом кругу часы раздавил. Та ты ж, Михайло Павлович, тоже должен помнить. А-ат было смеху. Шли ж на параде мы, несли на Крепостную площадь вдвоем грамоту матери Екатерины Второй. Он, покойник, и каже: «Шось в чебот запхалось та трет ногу». Разуться та поглядеть некогда. Народу скрозь натолкано, а потом обед с начальством. Напились, наелись на войсковой кошт, пришел домой уже на ночь. Стала баба стягивать с него чеботы, колы выпала какая-то желтая пышечка. Очи наставила, а то золотые часы! Он их колысь у Туретчине купил. Провалились с кармана за голяшку, он и раздавил.

— И брешешь же, Лука! — топнул ногой Бабыч.

— А шоб меня моя бабка рогачом стукнула — так! Дойду, дойду до вас. Выделывайте шкурку.

— Пожалуйста, — опять поклонился мастер. — Брат мой вам шкурку тибетского козла так выкурит, что взглянешь — она белая, белая, и слеза покатится, такая белая.

— Работайте, работайте, — выпроваживал его Бабыч к выходу, так как Попсуйшапка, увлекаясь выгодной беседой, забывал, где находится.

— Надо, пока молодой, что-то делать. Деньги зарабатывать. Только следить за собой, и будет толк. Приготовься к осени, приготовься к зиме, — рассуждал Попсуйшапка, как старик. — В карты не играть. За картами да прозевал одну ярмарку да другую, а товар лежит. Не хлопать ушами. Вот вам и счастье. Отстоял ярмарку в Березанской, а там и Никольская в Темрюке. А за Никольской Троицкая, Преполовенская, и так аж до осени. Ну, до свидания, благодарю покорно.

— Це хорошие мастера, — похвалил Костогрыз Попсуйшапку, когда он вышел. — Вся Пашковка у них шьет.

— Ну, с чем пришел ко мне, казак?

Костогрыз вздохнул, потрогал на голове оселедец, накрутил конец на ухо и тем вызвал у генерала улыбку.

— С горем пополам.

— И опять стихи есть?

— Мне сегодня семьдесят второй годочек, — начал читать Костогрыз. — Купил вина и водки я из бочек. А потому часам ко двум просил бы вас к себе, Наум.

Костогрыз один глаз зажмурил, другим хитро спрашивал: ну, как, батько кошевой?

— Почему Наум? Кто такой Наум? И два года себе убавил.

— А так, для складу.

— Чем стихами баловаться, Лука, лучше бы оставил нам досужие записки о Черномории.

— Я казак и богато писать не научился. Два слова скажу: «Тарасе, не бреши!» И хватит.

— Шо ж вспоминать будут о нас?

— А мы кого помним? — Лука пошел в наступление. — Чуешь, батько? Мы кого помним? Я затем и пришел.

— Тогда рассказывай.

— Если все рассказывать, батько кошевой, это мне у тебя до вечера сидеть и без родной горилки не обойдемся. А у тебя служба. Начальству надо говорить тихо; колы каку-нибудь пулю отольешь — оно не расслышит и не рассердится. Я же казак крикливый.

В самом деле, Костогрыз, подобно большинству казаков, рвал голос, будто ругался, и слова шутливые, ласковые покрывались грубостью.

— Покричи, покричи. Да не перепугай. Какое ж у тебя горе? Дети на льготе, внуки в войске. Донесений, чтоб провинились, мне нет.

— Ой, не дай боже такого. Если съедят в трактире «Медведь» шесть раков и запьют пивом, то чебот не теряют. — И вдруг Костогрыз насупился, вынул из

кармана люльку, ткнул концом в Бабыча: — Где, Михайло Павлович, могила кошевого атамана Бурсака, знаешь?

— Где... — чуть приподнял над столом руки Бабыч. — Где могила Чепиги, всех первых атаманов, там и могила Бурсака, — на войсковом кладбище, вон, — вытянул он палец, — под старой Воскресенской церковью.

— Где ж она там? Вот то-то и оно, шо ее нету. Потому я и пришел. Интересный я тебе сон расскажу сейчас.

— Ну-ну, — хмуро подавался Бабыч на разговор. — В России шукают могилу Рюрика, а ты хочешь разрыть Бурсака? Ну-ну.

— Он сам меня просил!

— Если брехать пришел, Лука, то мне не до тебя сегодня. Бурсак вон когда скончался! Сто лет уже. И охота брехать?

Со вступления на должность атамана Бабыч был занят чрезмерно. В мае одна за другой выстраивались памятные и торжественные даты, требовавшие его распоряжений, участия в выходах, на молебнах и тому подобное. 6-го — день рождения государя, 14-го — священное коронование, 23-го — Вознесение Господне, 25-го — день рождения государыни. Из года в год один и тот же церемониал, те же религиозные службы, приказы торговцам — закрывать винные лавки и рестораны. Что делать! На столе лежали слёзницы казаков, донесения жандармов, прошения, телеграммы и циркуляры из Петербурга. Каждый день что-нибудь новое. Еще предстояло трястись в Темрюк на открытие тюрьмы; поприветствовать на станции Тихорецкой проезжавшего в Тифлис наместника графа Воронцова-Дашкова; раздать из собственных рук аттестаты и шифры выпускницам Мариинского института; выделить помещение для местного Союза св. Михаила Архангела, а нынче в семь вечера провести на своей квартире вместе с супругой заседание Общества братской помощи увечным воинам. Конца-краю нет. Трое однополчан, казаки Кущевской, Васюринской и Каневской станиц, желали, чтоб хранил его бог на долгие-долгие годы «на благо войска», а потом (хитрецы такие) умоляли прислать в станицу бесплатно племенных бычков симментальской породы. Нечем Бабычу больше заниматься!

— Но я, батько, не брехать пришел. Ей-богу! — Костогрыз встал и, не найдя иконы, перекрестился на портрет царя. — Та послушай.

— Ну-ну.

Тяжелая поза Бабыча и как бы чем-то посторонним обремененная улыбка понудили Костогрыза скрести затылок: не надулся бы строгий атаман в самую горячую минуту и не опрокинул бы психом старика со своей затеей.

— Приступаю, батько, разреши... — Костогрыз снова сел. — С вечера полегли с Одарушкой, она мне спину потерла мочалкой, а перед тем поругались немножко. Я ее попугал: «Будешь кричать, бисова душа, напишу прошение наказному атаману и выше, шоб забрали меня от тебя в конвой его величества в третий раз. Оставайся, проклята раззява, семечки лускать. Я там тело царя тридцать лет прикрывал и на льготу уволен с примечанием: «желателен снова на службу». Ой, не дай, божья матерь, жениться потому, шо вареников хочется». И заснул. Заснул и вижу: стоит передо мной атаман Бурсак, самый ранний наш атаман-черноморец, — его жинке мой дед в церкви задом кланялся. В полной форме. И бурчит: «Ты чего, Лука, мою могилу Бабычу не укажешь?» — «Какую?» — «Ты генерала Бурсака знаешь?» — Слыхал, мне дед и батько рассказывали. Вам шашка была милее бабы. А теперь вы все в лоне Авраама. Мы вам сейчас гроши в кружку кидаем, памятник поставим в Тамани». — «Со слезами закрыли крышку гроба, а потом? Ты ж читал надпись на моей могиле? «Вечная память тебе, вождь черноморцев». — «Как будто читал, пане кошевой». Я аж вытянулся перед ним на носках. Одарушка моя утром ворчала, шо я ей спать не давал, толкался та разговаривал. «Укажи мою могилу Бабычу, пускай крест поставит надо мной. И сходи к Бабычу, скажи, я просил, он на нашем казацком престоле сидит. Он гордо носит голову на плечах и булаву в руках крепко держит. Нашей Сечи не отступайте обычаев, в старовыне кохайтесь. Хоть за шматком хлеба да за горилкою вспоминайте нас, дети мои. Да царице Катерине, шо вы поставили в Екатеринодаре, поклонись, она землю давала войску. Скучно у вас, боже, як ску-чно. На черта вы чужих понапускали в Екатеринодар? А шо то у вас фонари красные пооткрывали? Яка така смута у вас гуляла по Кубани? А ну скажи Бабычу, нехай подаст нас казакам хоть с глины вылепленных. А то какою мерою мерите, твою и вам возмерится. И крест поставьте. Все понял?» Проснулся я, батько, и давай думать: колы я мог читать надпись на могиле Бурсака?! Ач! То ж малолетком, лет до шестидесяти назад — ще пластуны наши в плавнях хрюкали кабаном и дикой козой бекали, — читал, правда, на чугунной плите надпись, плита на кирпичах и памятник уже разрушился. Не помню, шо там выбили, читал я тогда по складам и толку не мог дать. И она, эта плита, ще была, колы я приезжал с Петербурга после первого марта, чугунная доска уже сброшена была к порогу церкви, а недалеко часовня атамана Чепиги. А-а! — думаю, сперва найду, а там уж скажу и самому Михайлу Павловичу.

Бабыч сидел, стянув брови, и думал о чем-то. Седые короткие волосы на круглой голове блестели; стар атаман войска, стар, никто в его возрасте не носил булаву, рано прибирала их смерть.

— Проснулся, а не встаю. Часа три никак, — гадаю. Тоска, сердце и не стучит аж, хоть шаблюкой порог скреби — тошно. Чи кончилось мое казачество? — думаю. Ще недавно и в голову не клал. Жили, воевали, на скачках золотые часы с полу хватали, и награды те же цепляли, а шо-то не то стало. Встал, почистил свой конвойский мундир, в зеркало пику свою сунул: ничего казак! И сала не поел с луком, пойду, пойду, нетерплячка меня гонит, пойду до батька, потребую! Ей-богу! — перекрестился он перед Бабычем. — «Куда ты? — Одарушка на меня. — Прямо без тебя вода не освятится!» Не иначе меня цы-

ган заместо кобылы подковал. Палку в руки — и напрямки с Пашковки скорым ходом. Иду, голову задрал на Ерусалимскую дорогу (чи, как ее в толстых книгах называют, Млечный Путь), горюю, как дед мой ходил на одной ноге, так как другая у него была отпилена повыше колена, на дрючок опирался, носил запорожский костюм (шаровары и красные сафьянцы с подковами, и здорове-енная люлька в оправе, а за ухом оселедец). Гладил, бывало, меня по голове и спрашивал: «Чегось ты, козаче, не носишь оцього? Ты б, — моргал отцу моему, — приказал бы нашему козаку носить оселедец, добрый запорожец с него вышел бы! Послали б его на генеральский парад в Катеринодар». Иду, вспоминаю, как мать мою черкесы в плен схватили. В городе был около шести часов. Как раз базар. У Баграта рюмочку в обжорке выпил, гусачком червячка задавил — и на кладбище.

Костогрыз замолчал, склонив голову.

— Ну-ну.

— Дуже мне загорелось найти сего черноморского атамана и доложить тебе, батько. Веришь? Та веришь, вижу. Сперва нашел одну старую оградку, в какой стоит три креста. Два креста железные, выкрашены и вроблены в каменные плиты, а третий деревянный, старый. Могила атамана Чепиги? Неужели то захаянная могила славного атамана? Около оградки есть еще каменная плита, то похоронена чьясь дочка. А где ж Бурсак? Пошел я прямо до войсковой церкви, тут уж, думаю, найду. Поклали свои головы деды на покорение Кавказа, а их мертвых следов нету. Скот гуляет по кладбищу. Подошел до одной разбитой деревянной оградки, опять три креста, без всякой надписи. И стоит старый-престарый дедусь и копает штось заступом. «Чи не знаете, дедусю, где похоронен атаман Черноморского войска Бурсак?» — «Тут он и похоренен. Оце. На его могиле я и стою. И часовенка — видишь?» — «А вы не Толстопят?» — «Толстопят». — «А сколько ж вам годов, шо вы ще ногами ходите?» — «А уже сто, может, больше, я пережил всех атаманов.» — «Та я ж вас знаю! Мы с вами родичи. Брат моего деда взял сестру вашего брата по матери». — «Нас много на Кубани. На собаку палку кинь, а попадешь обязательно в Толстопята».

— Тут, если покопаться, — сказал Бабыч, — половина Кубани в родстве.

— Ага. «А вы ж, — спрашиваю, — добре знаете, що це могила Бурсака? Мне сдается, то могила Бурсака помолодше». — «Не». — «Неужели под сим крестом лежит сам Бурсак?» Э-э, догадался бы сизый орел, шо его могила будет так захаяна и надписи на кресте не прочитать! Стоит дедусь без шапки с сивой чуприной и показывает наугад. Нету могилы, заросла гдесь травой. Кому ж мы тогда нужны? Пропало казачество.

— Не пропало, — сказал Бабыч. — Кровь запорожская в наших жилах.

— Одна жижа. Раньше у казаков сердце за батьковщину горело, а теперь оно как телячий хвост мотается.

— А не те ли казаки мне приговоры пишут? — Бабыч взял со стола номер «Кубанских областных ведомостей», поднял его над головой. — Станицами пишут.

— А и не те. Писарь в правлении нашкрябает по старым приговорам, та там его обступят такие ж с люльками, как я: «Где ставить крестик?» А помоложе? Побей мне шею, батько, шо пропало наше казачество. Того уже нема, шо в старовыну.

— Читать можешь?

— Й даже без очков. Шо там?

— Так читай и не мути мне. — Бабыч подсунул Костогрызу газету, ткнул пальцем в жирный заголовок.

Сообщалось, что казаки-старики, бывшие участники русско-турецкой войны, на свои пожертвования приобрели для церкви икону св. великомученика Георгия Победоносца и отслужили молебен и панихиду по убиенным на поле брани. А затем в хате одного своего товарища накрыли стол, пили за здоровье государя, наказного атамана и атамана Ейского отдела. «Любо было поглядеть, — читал Костогрыз сквозь слезы умиления, жалея, что его самого не было там (поясница стреляла), что пашковские казаки не догадаются устроить себе то же, — как все, позабыв горе и невзгоды войны, выражали желание идти и теперь по царскому зову на поле битвы. Во время обеда один другому напоминали о Карсе, Дунае и т. д. Дай бог, чтобы эти старики были долговечны на земле».

— Оце добре, — сказал Костогрыз, слюнявя ус. — Це по-нашему. Ах, меня там не было! Хоть я в чистой отставке, а на коня взлезу. Ось шо скажу: Костогрызы все на одно лицо. Жалко, шо я атаманом не был.

— Та ну?

— А шо, великая штука быть станичным атаманом? Я б выдал историю: всех где шуткою, где дрючком поднял.

— Ото такие, наверно, брехуны и турецкому султану письмо составляли.

— Такие, как я. Ще хуже.

— Без чарки и дня не проводите?

Костогрыз с чего-то уставился на портрет царя Николая, перекрестился и сказал Бабычу:

— Не при открытом портрете государя будь сказано, но, господи прости, их батько Александр Третий играют в шашки, и, как императрица Мария Федоровна пройдет мимо, он руку за голяшку, пузырек оттуда р-раз и выбулькает немножко. А я сбоку на часах стою. Ну! И казаки наши шутили: дай боже, шоб добре пилось и елось, а работа на ум не шла. А в Петербурге тож угощали.

Пора было остановить Костогрыза и выпроваживать.

— И уродило ж тебя, Лука, — сказал Бабыч. — Ты и правда веришь в эту брехню? Видно, горилку пьешь по целому чайному стакану.

Лучше не пускать казака больше, его словом не заткнешь.

— Горилка, как та добра девка, хоть кого с ума

сведет. Паны не слишком-то казакам по чарке давали: они больше сами пили. Но был генерал — угадайте кто? — Костогрыз с торжествующей угодливостью помолчал. — Батько ваш Павел Денисович. Не его ли черкесы боялись? Не он ли с адагумским отрядом расчищал низовую Кубань? Черкесы звали его Бабука.

— Ты думаешь, я не знаю про своего батька?

— А вот и не знаешь, шо было под станицею Уманскою в лагерях. Атаман отдела посозвал всех после парада и давай нас лаять. Мы стоим и молчим: ему хоть как старайся, а он шо-нибудь выкопает и начинает чистить редьку.

— О, чтоб с тебя дух выперло, Лука, — ты опять за балачку.

— Отолью ще одну пулю и кончу. Стоим, слушаем. Колы выходит ваш батько! Прислушался к лаю, подошел и давай нас хвалить, шо мы самые лучшие во всех делах казаки, на нас вся надежда начальства. А потом приказывает: «Айда все за мною, выпьем по чарке!» Привел нас в лагерный шинок. «Наливай, — приказывает жиду, — горилки». Тот посчитал нас всех пальцем и налил каждому особую чарку. Бежит он с теми чарками на подносе, а батько ваш, царство ему небесное (и матери вашей Дарье так же!), как крикнет: «Это что?! Ты с ума сошел? Вот этим героям подаешь какие-то наперстки?! Налей нам всем чайные стаканы!» Тот поналивал стаканы, до краю полные. Взял ваш батько стакан и сказал: «Ваше здоровье, казаки!» И, прости господи нас всех, выглотал весь стакан до дна! А мы, на него глядя, тож так. Эх, пропало казачество. Может, с твоим приходом, батько, мы, куда ни повернемся, будем опять первыми. Пошли нам, господи, шо было в старину.

— Время другое, Лука.

— Оно, может, так. Глянь на мою голову, на ней уже волосья повылезли, та и ум с ними. Да и ты, батько, седой весь. Ой, не дай боже. Для кого кресты надевать? Пришел до тебя, вытряхнул всю суму. Шо на це батько скажет?

— Слава богу, шо мы казаки, — сказал Бабыч, но сказал без души, как начальник, который каждую минуту знает, над кем он стоит и кто над ним. Лука же распустился со своими чувствами чересчур и готов был горевать до самой ночи.

— Сколько с вашей Пашковки в Петербурге?

— Богато наших. Сейчас чего не служить. Под тою же Уманскую в лагерях разве так, как теперь, нас гоняли? Та шо говорить... Мало кто оставался небитый. Есаул Толстопят, батько вашего друга, по случаю окончания сборов гуляет на квартире с офицерами. «Паны атаманы! Дарю казакам сто рублей на водку! — в шапку бросает. — Кто еще жалует казаков?» — и носит шапку по залу. Пропало, сгинуло казачество... И могилу старого Бурсака затоптали. До того дойдет, шо наших могил, может, и искать будет некому.

Бабыч, не желая последнего сближения и откровенности, выпрямился и принял начальственную позу.

— Вон, — вынул лист с приказом, — сейчас разрешаю выходить на службу с батьковской или дедовской шашкой.

— Добре. Пошли нам, господи, шо было в старину. Я так каждое утро крещусь.

Бабыч в своей утренней молитве не признался.

— Ох, я строгий до тебя шел, батько. Прямо ругаться думал.

— И не боишься меня?

— А чего? Не родись я таким веселым, та если б у меня были сапоги продолжать учебу, я б тоже до генерала дошел.

— До генерала аж? — Бабыч захохотал.

— А шоб меня моя Одарушка в хату не пустила и шоб меня дети варениками не угощали — дошел бы до генерала, если б не мой язык и не сапоги. Я поругаюсь с бабкой, то кричу: «Тебе мало, шо я урядник, хочешь выпихнуть в есаулы?» Шо вы смеетесь?

— Через то смеюсь, Лука, что мы без тебя не иначе б пропали с войском.

— За мою голову колысь черкесы десять тысяч золотом назначали. Теперь она никому не нужна, и у меня в ауле Султан-Гирея черкесы в друзьях, каждое воскресенье к нам приезжают.

Непривычная аудиенция кончалась. Наверху, на втором этаже, где кто-то играл на фортепиано, ждал Бабыча завтрак. За борщом генерал сидел с Костогрызом только на охоте в Красном лесу. В стороне принято держать верноподданных. Когда ездили запорожцы в Царское Село, за высокую милость и снисхождение почиталось соизволение Екатерины прислать при окончании стола винограду и персиков на золоченой тарелке.

— Хорошо поговорили, — сказал Костогрыз.

— Ты скажи лучше, казак, тебе, может, нужна какая помощь от меня? Хозяйство справное?

— Меня пасека кормит. Но раз ты, батько, так круто повернул вопрос, то у меня такая к тебе просьба.

— Слушаю тебя, Лука.

Лука Костогрыз уверенно взглянул на портрет государя.

— Хочу письмо царю послать!

— Чего так?

— Почтительное прошение подам царю Николаю Александровичу. Скажу, шо батько ваш, Александр Третий, шутил со мною и был милостив и как-то сказал: «Помни, Костогрыз, за богом молитва, а за царем служба не пропадет, и если что с тобой случится и нужна моя помощь, то приходи ко мне, а остальное дело — уже мое». Ну, его уже нет, а я доживаю с внуками. Прошу, мол, ваше величество государь Николай Александрович, успокой мою старость, пожалей меня, возьми моего самого меньшенького внука к себе в конвой. Будьте и вы, великий государь, отцом родным до конца. И подпись: Лука Костогрыз.

— Гм... — Бабыч заерзал. — На такое прошение, Лука, надо взять у меня позволение. Или ты не знаешь, по старой службе? Без меня письмо не дойдет к государю. Это все будут писать — когда ж царю руки высвободить?

— Та мне ж, не кому-нибудь, — попер Костогрыз

на генерала, — его батько, Александр Третий, сказал: пиши, Лука, проси, что надо. Ач!

Бабыч ухмыльнулся: мол, временная царская ласковость всего лишь пример для двора или жест во имя доброй молвы. Но вера Костогрыза в царское обещание была столь великодушна, что Бабыч даже залюбовался казаком. Сколько всяких писем, жалоб и просьб приносили ему на стол. На некоторых, проскочивших в Петербург, стояли гневные надписи: «Строго внушить казаку такому-то, что нельзя без ведома местного начальства беспокоить его величество. Министр императорского двора граф Фредерикс». Бабыч накладывал резолюцию еще строже.

— Так дайте разрешение...

— Если хлопец красивый, здоровый, нравственности хорошей, отправим. Я скажу, когда из Петербурга приедет офицер конвоя. Лошадь купишь?

— А как же. Самую дорогую.

— Станичное общество выделит часть денег. А могилу атамана Бурсака поищем. Славу черноморскую забывать нам грех. — Бабыч уже поднялся и говорил официально. — Не горюй, Лука. Казачество еще не упало. Или ты не веришь своему кошевому?

— И дай бог, дай бог, — благодарил Костогрыз. — Позабывали роды казачьи. Нам не простится.

Костогрыз чуть не заплакал. Никому ничего не нужно, так? Все ушло, заросло бурьяном, и даже старые казаки-генералы потеряли в суете царской службы и расправы с бомбистами всякое чувство к черноморцам. И плакать некогда — Бабыча на борщ кличут.

— Колы на охоту поедем?

— На болотную птицу не езжу, а с пятнадцатого июля на перепелок вызову тебя, осенью в Красном лесу оленей погоняем.

— Там и добеседуем. Поживем ще. Казаки, колы дома кипяток с заваркой пьют, то и сахар в мед умочают. Никудышная жизнь.

— Пускай пашковцы тротуары мостят! — сказал Бабыч на прощание.

— Исправимся. Много чего бьет по нашим порядкам. Ох, и похватаю сейчас вареников. Тридцать одну штуку вчера умолол. До свидания, батько.

— Дай боже тебе, Лука, долгий век и лебединый крик.

— Челом пану кошевому.

Костогрыз поклонился портрету государя, потом наказному атаману и бодро вышел.

Бабыч перелистал свежий номер «Кубанских войсковых ведомостей», прочитал приговор станичного сбора:

«Город Екатеринодар, где завелось разбойничье гнездо, где угрожают жизни нашему наказному атаману со всеми его помощниками, недостоин той чести, чтобы в нем жил наш атаман. Зная, что генерал Бабыч с презрением смотрит в глаза смерти, мы тем не менее, для пользы всего Кубанского войска, убедительно просим его превосходительство перенести, хотя бы временно, свою резиденцию в станицу Пашковскую...»

Еще сохранялось на Кубани военное положение, и наказный атаман Бабыч был одновременно и военным генерал-губернатором. Еще слуги царевы не все вычистили, не всех упрятали в Сибирь, и от угроз и организованных по станицам защитительных писем кровь била в голову. Надо чтить черноморцев, кто ж спорит. Но знали бы те черноморцы, что прошли, видно, навсегда тихие безропотные времена.

Все стало не то и не так. Не тем выглядел и Екатеринодар. Разворошили купцы и подрядчики дедовскую черноморскую глушь.

Еще сорок—пятьдесят лет назад, когда закончилась кавказская война, Екатеринодар мало чем отличался от станицы. На Красной торчал один-единственный керосиновый фонарь. Не для кого было светить по вечерам: богатых гуляк набиралось с десяток, казаки ложились спать в сумерки, закрывая ставни или гася свечки (до войны — чтоб не манило светлое окошко черкесскую пулю, после войны — от какого-нибудь разбойника Браницкого). Сложилась за десятилетия сторожевая неприютная жизнь, и довольны были тем, что бог послал, в первую очередь тем, что не напала холера, накормлены дети и есть в кувшинах свежее молочко. А уж культура, театры, заезжие артисты — зачем они? Голосов в каждой станице своих много. Цыгане за Дубовым мостом пели так громко, что во дворце наказного атамана, бывало, говорили: «Це опять, наверно, чьюсь кобылу продали на ярмарке». Расказачили станицу Екатеринодарскую. Продали дубы-великаны по три рубля за штуку. Завели вокальную музыку.

Когда Лука родился, в городе числилось по дворам шесть тысяч (и все казаки), а сейчас дотянуло до ста (из них больше половины чужих). На крестах деревянного войскового собора каркали вороны, и возле, на Крепостной площади, охотились на диких уток. Вон скачет Терешка, а тогда ни одного извозчика не увидишь. Сто тысяч! На что они тут? Недаром когда-то старый полковник-казак, недовольный вторжением в Екатеринодар чужеземцев, решил до кончины своей не выходить из хаты, что и исполнил. Никакими буйволами не затянуть Луку на жительство в город. Где на Крепостной площади высокая трава и полевые цветы?

Обо всем понемножку вздыхал Лука Костогрыз, пока медленно, несколько раз сворачивая на колене папироску, шел мимо ювелирного магазина, мимо двух шикарных гостиниц с оркестром в зале, где пируют каждый вечер какие-то пустые людишки, мимо лихачей с барышнями на кожаных сиденьях. Сорокто лет назад барышни выезжали в войсковое собрание на балы в кромешной вечерней тьме. В зале звонкими шлепками по ногам били комаров. И недалеко от того места на углу Базарной, где он сейчас прошел, вечно зазывала открытой дверью гостиница «Куцая пани», прозванная так по ее владелице, грязной и коротконогой бабочке; в кособокой хате под камышом пугали приезжего из России земляные полы с лягушками, тюремные комнатки с тусклыми окошечками. Брезгливым господам из Петербурга угодно было потом рассказывать анекдоты: как дали

весной побеги утонувшие в грязи сани; как якобы ломили с них цену за квартиру и бараньи хвосты на ужин и как перед набегом черкесов на город делали казаки завалы на улицах, мешая проезду скрипучей арбы. На службе в Петербурге Костогрыз тосковал по длинным рядам лавок с навесами, и по прямым, наподобие узких просек в лесу, улицам, и по черным клубам дыма за Кубанью, где черкесы жгли камыш.

Почему теперь Красная голая из конца в конец? Что там наляпали у Нового рынка? Зачем понакопали винных погребов, складов? Кому пересчитать все шашлычные, в которых скрываются нечистые девки? Помирать скоро, что ли? Никто бы Костогрызу не доказал, что город украсился и стал благообразнее. Как запомнил он его в детстве, в тот первый раз, когда завез его дядько на мажаре ко двору певческой школы, так все и сохранилось в нем. По узеньким дощатым тротуарам ступал он вниз к Кубани под тенью толстых дубов, и, куда ни поворачивали, везде за длинными заборами над крышами хаток шелестел сочный лес и всласть пели птицы! Была такая радость на душе, будто попал он волею своего краснощекого дядьки в далекий сказочный край, где у заборов дети рвут ягоды, в лавочках с железными болтами тетеньки продают конфекты, на дубах у Бурсака сушится трехметровая рыба и в длинной хате под зеленой крышей курит люльку сам наказный атаман! Пропев регенту праздничную песенку, долго-долго ехал он после в станицу, держа в кулачке конфекты и гадая о казачьей шапке, которую сошьет ему через неделю мастер, за что-то называвший его во время примерки «храбрым лыцарем». В певческой школе он вставал рано, любил ходить к хате атамана и заглядывать через огорожу. Беленький, чистенький, с большими окнами домик стоял у Карасуна, недалеко от духовного училища. Возле крыльца всегда держал на плече обнаженную саблю часовой казак, и ни один глаз его не моргал, если мимо по двору переступал лапами прирученный журавль или кричал на задах павлин. Так хотелось маленькому Луке постоять там вместо часового и хоть разок пугливо вытянуться перед кошевым атаманом! Такого счастья, наверное, не будет. Но однажды на зорьке он увидел наказного атамана. От атаманского дворца рыли какую-то канаву. Лука побежал взглянуть, ходит ли около пушки на колесах часовой. Вдруг из дворца появился какой-то старый человек в фуражке на затылке, в белых кальсонах, в калошах на босу ногу и поношенном военном сюртуке. В руках держал деревянный шест аршина в три длиною. Добился своего Лука: атаман мельком взглянул на него и пошаркал в калошах к канаве, спустил в канаву шест. Лука тоже подошел, атаман поспрашивал его, погладил по голове ровно за то, что хорошо знал и его батька и деда. Было интересно, сделает ли часовой саблей «на караул», когда атаман не в штанах с лампасами, а в белых кальсонах пройдет мимо. Ну как же! — часовой просалютовал как обычно. Кругом было пусто, за Крепостной площадью перелетали туда-сюда гуси.

Все двенадцать атаманов давно в могиле, и нет больше его города Екатеринодара. Седой его голове, может, и все равно, а душа вдруг заскорбит — жалко чего-то. Кому понять тоску старого казака, когда он видит на месте войскового храма гнилые черные доски? Так же дед его вздыхал по Запорожской Сечи. Недаром же сказано в нетленных писаниях: «...и всходит утро, и гаснет заря...; взверзи на Господа печаль свою...»

НЕБЕСНЫЙ ГОЛОСОК

Пусть бедная старость горюет о прошлом! Пускай себе Костогрыз и его товарищи поминают дни, когда они не пропускали ни одного войскового торжества и старейшие по летам говорили речи во время закуски. У молодости нет сожалений.

Да, это в 1908 году Петр Толстопят устроил себе маленькое приключение. Так и говорил в пожилом возрасте: «Помню, в тот год приехал Бабыч». Еще недавно, гуляя по замерзшему Карасуну с барышнями в ярких платках и шалях, он робко, чтобы проводить до дома поглянувшуюся красавицу, отнимал у нее колечко и отдавал его лишь у ворот. И вдруг учудил: набросил на Калерию Шкуропатскую кавказскую бурку!

Когда Калерия перестала всхлипывать, Толстопят наклонился к ней и сказал:

— Вы должны быть счастливы, что я вас увез. А вы плачете.

— Что за черкесские нравы!

— Ваша честь не запятнана. Я привез вас в гостиницу, только и всего.

— В какую гостиницу?

— Губкиной.

— О-о...— Она снова прикрыла глаза рукой, которую Толстопяту хотелось поцеловать. — Какой ужас, какой ужас.

Толстопят не внимал ее стонам, крикам и жалобам. Подумаешь, плачет красивая барышня, просится домой и грозит. Ей не понять его сумасшедшего чувства. Ее бы любить, становиться перед ней на колени, целовать ее глаза, и сущее преступление — отпускать на волю, стать потом ее врагом навсегда. Он глядел на ее распухшее лицо и любил ее. И нисколько не раскаивался, что поступил нагло и дерзко. У казаков всегда так: хочется кого-то приласкать, вместо этого грубость. Вроде иного выхода не было, как только украсть ее на извозчике.

— Отпустите меня домой, — тихо сказала Калерия, и ее слабость Толстопят воспринял по-своему: сейчас он сломит ее ласковым красноречием. Она ненавидела его словами; взглядом же, этим вечным отблеском таинственной бабьей души, говорила другое: мне нравятся твои загнутые усы. — От-пу-сти-те! — замотала она головой и заплакала снова. Она уже несколько раз впадала в истерику и затихала вдруг, лежала на диване с закрытыми глазами, и тогда Толстопят хищно думал: ну вот и все, еще немножко, и она простит. — Слышите? Вас арестует полицмейстер!

— Ха-ха! Может, еще скажете, пристав Цитович? Я офицер.

— Офице-ер... Из-за таких, как вы, нас и зовут куркулями. — Она глядела на него так спокойно, словно была старше и что-то познала на свете. — Все вы в отцов своих.

Толстопят стоял у окна и смотрел на прохожих Бурсаковской улицы — по ней полчаса назад мчал их в фаэтоне Терешка. Падал редкий снежок. Хмель еще раскачивал его. Доброе подавали вино на проводах Деминой тетушки Елизаветы в Париж. Разве погнался бы он за Калерией трезвый?

— Такие мы, казаки, дурные да грубые, а без нас не обойтись. Так одни фазаны бы по степи и летали, если б не казаки. И вы казачка.

— Отпустите меня.

— Не понимаю вас. Ведь это как в романах.

— Это гадко. Пустите мои руки.

— Вы не хотите со мной поужинать? Проедем на лихаче к роще, потом в «Фантазию», а может, и в «Яр»? Ну, тогда будем дуться в гостинице. Извозчику надо встречать какую-то Швыдкую, я его отпущу.

— Угрожайте сколько угодно.

— Я бы посчитал себя совершенно несчастливым, если бы вам угодно было искать в моих словах то, чего в них нет. — сказал Толстопят вычитанными где-то словами.

— Я вас вообще не слушаю.

— Давайте я вас перекрещу, и мы станем друзьями. Это выбор моего сердца. Перемена жизни, как говорят гадалки.

— Не довольно ли на сегодня?

— Если вы скажете, что будет завтра, я вас отпущу. Я совершил дерзость, но вы увидите, что я благородный человек.

Она молчала, выражая все свое презрение к его разгульной болтовне.

— Вы мне давно нравитесь, Калерия. Я не раз слышал ваш небесный голосок. Такая в нем высокая нота, и смех ваш — перелив колокольчика. В шуме толпы на Красной я тотчас же ловлю, что смеетесь вы. Не верите? Вы даже плачете звонко. Не верите? Когда же вы с подругами болтаете под часами у магазина Гана, в вашем голоске столько радости, — просто, черт возьми, я готов бы обворовать этот золотой магазин и высыпать все кольца на вашу головку. — Толстопят улыбнулся, приглашая Калерию ответить тем же. Калерия как будто размышляла; что ей делать. Толстопят вытянулся к ней как жираф. — Небесный голосок молчит. Я знаю, я все погубил. Вы мне не простите? Не простите, да? Умолкла навеки. Охрипла — наверно, мама утром поила холодным молоком. Бедняжка. А левый глаз хитрый. Левый глаз любит хорунжего Толстопята. Завтра и правый полюбит. Так же?

Подобно ребенку, поспорившему, что он не разомкнет губы, сколько бы его ни смешили, Калерия улыбнулась и с досады прикрылась ладошкой.

— Возьмите у меня шестое чувство, — приставал Толстопят. — Я богатый. Вот был бы я Сахавом, у меня обувной магазин, автомобиль, первый в Екатеринодаре, не на извозчике поймал вас, а на автомобиле — вы бы меня задушили в объятиях. Руки были бы волосатые, но это ничего. Так же? А то хорунжий, казак, куркуль. Или вам нужен граф Воронцов-Дашков? Но он старый. Не совстую. Давайте я сосватаю вас за Луку Костогрыза, ему всего семьдесят четыре года. А речи на обедах говорит, а романсы поет. И стихи пишет: «Швырнул Задеку я из рук, та й попхався я в Темрюк, встретил дивчину як гречу, та й понявкав ни в Керчи». Наш Пушкин.

— Отстаньте, отста-аньте, ради бога!

Над головой Калерии висела картина Жиранда «Продажа невольниц». Обнаженные турчанки, еще дети, дожидались после купальни своей участи; одна из них, которую высокий торговец в длинных одеждах подвел к властелину, стыдливо согнулась вперед и прятала под рукою свое лицо. Грешные мысли обуяли Толстопята. Он бы не прочь поменяться местами с деспотом и согласился бы любить всех этих хорошеньких невольниц. Маленькая кудрявая Калерия не понимает, с кем ее счастье, а у него нет над нею восточной власти. Он украл ее невзначай, когда она шла от доктора Лейбовича, увидела его и будто не узнала, но гордо, криво вытянула шейку и потом оглянулась. Это его и вскинуло. Терешка ехал пустой по Рашпилевской. Толстопят поманил его перчаткой, прыгнул на ступеньку и сказал, чтобы тот притерся к тротуару. Калерия что-то сообразила и прибавила шагу. Они нагнали ее. Толстопят спрыгнул, накинул на нее толстую кавказскую бурку, подхватил на руки и занес в фаэтон. «Гони к Губкиной!» — крикнул Терешке. Извозчик не успел возразить. Калерия потеряла сознание. Толстопят прижимал ее к себе. Она очнулась, разорвала его руки. Он снова запахнул ее в бурку с головой. Подкупленная прислуга в гостинице провела в номер на втором этаже. Толстопят свалил Калерию на диван и не позволял ей кричать. «Будет хуже!» — стращал он ее и не мог прикинуть, что теперь делать, зачем ему она тут.

— Я вас засватаю, — сказал Толстопят. — Пошлю своего друга на переговоры с вашей матерью.

Она молчала.

— Наш Екатеринодар — большая станица, тут все известно про каждого. Каждую субботу, в шесть часов вечера, вы говорите родителям, что идете к Нине, выбегаете на угол Екатерининской и Красной, садитесь на извозчика. Куда вас возят?

— Не ваше дело.

— Я вас ревную.

— Я с вами даже незнакома.

— Будем считать, что познакомились.

— Я была бы неприличная барышня, если бы считалась вашей знакомой без посредника.

— Я на вас глядел на льду Карасуна. В прошлом году на ситцевом вечере вашу подругу — она музыкантша? — оштрафовали на рубль за платье. Вы не помните, как я на вас смотрел?

Калерия пошевелилась и отвернулась, как будто

собиралась спать. Толстопят подсел к ней, точно к больной:

— Хотите воды?

— Вы поступили со мной как с дамой полусвета.

— Простите! — Толстопят стукнулся на колени и приложил руку к сердцу. — Вы не пожалеете.

— Разыграть изящный флирт вам не удастся.

— В вашем доме бывал мальчиком мой друг Дёма. Вы играли в «флирт амура», помните?

— Примите более удобную позу.

— Не встану, пока не простите!

— Я презираю вас, — сказала Калерия спокойно. — Отпустите меня, или я скажу наказному атаману. Что вам от меня угодно? — Она встала. Поднялся с колен и Толстопят. — Зачем все это?

— Я вас люблю...

— Какой вы глупый.

У Толстопята задрожала нижняя губа: он признался и был тут же унижен.

— Прыгну с кручи! Прыгну с кручи, где Бурсаковские скачки! В Кубань прыгну, чтоб доказать вам.

— Я вижу, у вас еще не весь хмель вышел. Сколько у наших казаков дури.

Калерия, видимо, успокоилась, и больше всего оттого, что Толстопят плошал с каждой минутой. Вся его первая удаль намокла, и он стал как тряпка. Он подошел к пианино, поднял крышку, взял несколько аккордов. Потом ухнул на круглый стульчик, зло врезался локтями в клавиши. Что вытворяет вино: Толстопята ценили на службе в 1-м Екатеринодарском полку, он был из хорошей семьи — четыре старших брата, сестра-мариинка, их отец воспитывал в строгости. Но как выпьет казак,— шашку в руки — и рубать!

Ему было двадцать два года, а ей восемнадцать. Она жила недалеко от гостиницы «Нью-Йорк» в большом доме с вазами на фронтоне. Широкоглазый Толстопят нравился девочкам смалу, ему больше всех писалось интимных вопросов, когда они, пятнадцатилетние, играли в «флирт амура». Тетушка Дёмы покупала коробку с карточками, каждый брал себе несколько штук, читал и думал, какую цифру он сейчас назовет и передаст карточку тому, кого «любит». Начать можно было с простого, не стыдливого: «Что вам нравится?», «Когда ваш день рождения?», потом отважиться и отчеркнуть под цифрой такое: «Почему вы не бываете в обществе?», «Могу ли я вас проводить?» — с трепетом ждать ответа. Игра-шутка возбуждала юное любопытство к той правде, которой жили взрослые; они поторапливали тайну, скрытую в словах романса, напеваемого в соседней комнате тетушкой: «...и жизнь ушла навеки за тобой!» О-о, какой райский лес впереди. Скоро ли прискачет их время? Кажется, никогда не дорастешь.

Теперь Толстопят спел ей этот нежный романс:

Счастье мне и радость обещала,
Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...

Калерия понимала, что он объясняется с ней, льстит чужими словами и очищается. Сколько раз бывало: идет она летом на закате по Екатеринодару, не там, где шашлычные и винные погребки, а по аристократическому уголку, и послышатся из окон скрипка, рояль, чей-то голосок, и захочется так же блаженно страдать и клясться в любви.

Толстопят смолк. Уже в полной тишине независимо от них царствовала мелодия романса — в душе каждого, и кто с чем думал, чего желал — другому не передавалось.

— А знаете, что вас ждет? — спросил Толстопят. — Вы теперь будете думать обо мне. Проснетесь, а на памяти я.

— Я вспомню о вас, чтобы пойти и сказать наказному атаману. О том, какие у нас офицеры.

— У нас смена власти.

— Ничего. Бабыч накажет.

— Власть в первые дни всегда добрая. Сегодня пятница? А пятница — это, говорят, день Венеры.

Он хватался за любой пустяк, чтобы продлить свидание. Он чувствовал свое бессилие, страсть его перешла в мужское упрямство, когда во что бы то ни стало хочется сломить женское сердце. Он пел Калерии — почти не помогало, она лишь переставала плакать и обзывать; он рассказывал ей любовные приключения, истории дуэлей в Петербурге, пикантные исповеди на судебных процессах — глаза ее загорались, но, едва он потягивался к ней, она холодно вздрагивала и надувала губы. Эта маленькая сдобненькая барышня, в легком бреду конечно же чаявшая всего того, что случалось с героинями фривольных романов, отказывала ему в простой беседе. Он все испортил диким поступком. В домашних покоях, в саду грезится о любви без стыда; в жизни нужны приличия. А ничего привлекательного, когда мужчина скромен как девушка. Чужие происшествия только подталкивали Толстопята. Каждый день разыгрывалось что-нибудь. Терешка растреплется на стоянке извозчикам, и будет наутро знать весь город. И ничего! Другие истории замнут это похищение уже через месяц. Угрожающие записки с требованием денег на революционные дела производят фурор пошумнее.

Через пятьдесят лет пьяная глупость Толстопята казалась... Но, простите, об этом в конце.

— Вставайте, вставайте, вы свободны, — сказал Толстопят уныло и просто. — Добродетель ваша достойна всяких наград. Не мне катать вас до Бурсаковских скачек и Панского кута. Но как удивительно бог все устраивает: мы с вами увиделись, ссорились, а между тем... — Толстопят глазами сказал, что это прощание их не означает конец всему. — Я провожу вас к фаэтону.

Каменная спина мордастого Терешки возвышалась на облучке. Толстопят сунул ему пять рублей, помог Калерии войти в фаэтон.

— Но дайте мне слово, — сказал он, — что мы увидимся. В «Чашке чая»! Хочу услышать еще ваш небесный голосок. Пускай это будет... ну, через год. Мы теперь связаны тайной.

— Какой?

— Этого свидания... Так же?

Она почему-то не рискнула сказать «нет!», «никогда!», «ни за что на свете!». Может, мешал извозчик? Толстопят пусто улыбнулся, шепнул ей «простите!», но она вдруг зло дернулась и подтянула ножки к сиденью.

— Терентий, голубчик, минут через сорок сюда же!

Он снова зашел в гостиницу, позвонил другу Дёме Бурсаку:

— Дёмушка, жду тебя в гостинице Губкиной, приходи, а то я пущу себе пулю в лоб! Из этого проклятого Парижа поедем в «Яр».

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

— ...Наш маленький Париж!..

Что было в этом?

Шутка? Злословие? Простодушное квасное настроение — так взлелеять свой отчий угол, чтобы легче его любить?

И не обронил ли те слова господин, который Парижа никогда и не видел, но ему уже одни названия гостиниц и погребков внушали форс? Малы у базаров и по улицам зашарпанные гостиницы, но сколько внушительности в вывесках и на какую заморскую жизнь они замахнулись: «Франция», «Нью-Йорк», «Тулон», «Трапезонд», «Венеция», «Константинополь»! Вноси тюки, чемоданы, живи у нас сколько хочешь. И все прочее в Екатеринодаре как в далеком великом Париже, но чуть наособицу, на свой южный казачий лад. Там, в Париже, площади, памятники и дворцы? Не отстали и мы. Вот Крепостная площадь с гордой Екатериной II, вот триумфальные Царские ворота на подъеме от станции, обелиск славы казачества в тупике улицы Красной, и неприступный дворец наказного атамана, и благородное собрание, куда на ситцевые балы съезжается весь местный бомонд, и Чистяковская роща недалеко от Свинячьего хутора, и городской сад с дубами «Двенадцать апостолов». И так же, как везде, как в самом Париже, простолюдинам устроены чревоугодные толчки — Старый, Новый и Сенной базары, и для кого попало ресторанчики, трактиры, «красные фонари» с намазанными желтобилетными дуняшками... Чем не Париж в миниатюре?!

А уж екатеринодарские женщины-казачки! М-м, они красивее, соблазнительнее худючих парижанок, и недаром же Екатеринодар по всей России слывет цветником желанных невест. У кого еще такие свежие, здоровые щечки, в чьих глазах столько сочной неги, блеска, игривого смущения, кто их горячее? Еще бледные красавицы северных лесов и среднерусских равнин кутаются в шубки и греют на диванах ножки под пледами, а уже наши казачки в легких туфельках, в тонких чулочках, укрытые от солнышка широкими шляпками, фланируют по Красной, мчатся в фаэтонах в Панский кут, а то и в Анапу, в Геленджик, молодые грубоватые офицеры, адвокаты, купеческие сынки, всякие гастролеры мысленно целуют их обнаженные ручки. Где еще допоздна, до лунного света, растворены в домах окна, из коих слышатся зазывные звуки романсов и пьесок? Где так процокают на сытых конях усатые казаки, провожаемые на лагерный сбор в беспредельную степь, затянут песню и скроются, оставляя томление в девичьей груди? Где еще увидишь стройные парады войскового круга и лихие скачки малолеток? Пусть смеются петербургские господа над нашим куркульством и вскрикивающей речью, пусть город ругают наши домашние газеты, пусть они чистят стальными перьями наши дворы и мостовые, проклинают владельцев ассенизационных обозов и с высоты пожарной каланчи морщатся на толкающихся по куткам хрюшек, но мы, его верные обыватели, рады, что кто-то выпустил слово на ветер: «...наш маленький, маленький Париж!» ...Возвращаясь на извозчиках в четвертом часу утра, мы всегда будем думать, что так оно и есть, и мы разнесем эту невинную молву о Екатеринодаре по белу свету, и молва станет выше вопросительных знаков, насмешек и правды газетных писак. У нас скучнее зимой, но когда город зацветет вишней, сиренью, акацией, когда сужаются улицы сводами ветвей и по реке Кубани к Азовскому морю отплывают колесные пароходы Дицмана и Голубева, когда от Графской и Соборной по обеим сторонам улицы Красной разорванными цепочками потянется нарядная публика и над домами, над пожарной каланчой у городской думы весь долгий вечер светится сиреневая, прямо-таки парижская дымка, — откуда взять сил, чтобы бросить свой богоспасаемый град, променять его на какой-нибудь толстопятый Тамбов?!

И кому что! Благолепным старушкам — молебны, начальству — циркуляры, приемы и торжественные выходы на парадах, приказчикам — вечерние клубы с картами, орловскому бедному крестьянину — постоялые дворы, гимназистам — домашние спектакли, бесприютным — убежище нищих, калекам — тротуары и ограды церкви. Здесь, увы и ах, каждому сверчку свой шесток. Как и в Париже. Если вам позволяет карман, вы вольны у армянина Сахава купить американскую обувь с гарантией на полгода, ювелиру Леону Гану заказать часы из Швейцарии, у братьев Богарсуковых и Тарасовых приобрести товары, какие вашей душе угодно, Мерцалову и Усаню позвонить насчет балыков и заграничных вин, а турок Кёр-оглы испечет вам к святому празднику пасху метровой высоты. Кому что!

А какое у нас длинное-длинное лето! Сколько даров земных! Вы еще спите, а по камням города, с четырех его сторон, тарахтят у окон казачьи возы. Еще всего пятый час утра, молчат павлины в саду Кухаренко, только что пробили колокола наших храмов, но у рынка свои суетные традиции. Мещане-садоводы, казаки из станиц, болгары-огородники везут к трем базарам продукты. Там в корзинах виноград; там в мешках картофель, горох, семечки, кислицы; в клетках живая птица, на мажарах арбузы, дыни. Молдаване на своих длинных подводах везут тушки барашков; за ними вслед — черкесы с бараньими

ими смушками, с кадками белой жирной брынзы. Куда там Парижу!

И чем же, скажите, не Париж? — такой же многоязыкий город, в котором издавна застряли, обжились и разбогатели армяне, турки, греки, болгары, евреи, немцы и даже персы.

И, говорят, на одной и той же параллели с Парижем уткнулся наш Екатеринодар.

А легенда о казаке, утонувшем посреди Красной в грязи с лошадью и пикой?

О господи, ведь это всего-навсего анекдот, побрехенька, не больше. Во хмелю ли, в дни расставаний, в записках к барышням или в час беседы с иногородними мы не перестанем хвалиться и повторять на высоких нотах: «...наш маленький, маленький Париж!..»

ПАНСКИЙ КУТ

У «Яра» в Панском куте Терешка стоял часа два. Панский кут — укромное местечко с дубовым лесом — привлекал удалую публику каждую ночь. Над обрывом у реки Кубани, где умирали от черкесских пуль на кордоне первые черноморцы, какой год уж пили шампанское и обнимали в кустах за талии милых дам. От городской дачи Бурсаков надо было править мимо «цыганской долины» на босяцкую Дубинку, потрястись на рытвинах Ставропольского шляха и под станицей Пашковской, чуть ближе огородов немца Роккеля, повернуть направо. Всего восемь верст, а по тем временам — далеко.

В ресторане «Яр» Бурсак и Толстопят заняли отдельный кабинет.

— Ты сказал ему, чтобы он ждал нас?

— А как же, братец! — поднял Толстопят красивые плечи. — И десяточку сунул. Подожде-от Терентий. Ему не привыкать. Мы в той поре, когда спать вредно. Жизнь начинается ночью.

Словам Толстопята никогда нельзя было доверять вполне: в какую-то минуту он просто хвастался, иной раз повторял чужое, а чаще всего трепал языком не думая, под настроение. «Ты же вчера сам говорил!» — припирал его как-нибудь Бурсак. «Да я, наверно, сболтнул. Не помню». На службе в 1-м Екатеринодарском полку он так уставал, что некогда ему было разгуляться. Но и Бурсак, как все люди, подогревал разговор пустячными фразами и как бы не отвечал за них. Лишь бы не молчать.

— И пойдет о нас слава: бонвиваны!

— Какая-нибудь слава да прилипнет. Я буду где-нибудь с сотней в Карсе, а то и в Персии. Лямка царская на роду.

— Устал?

— И устал, и промок. Как выступили из Мцхеты, пошел дождь и шел за нами не переставая всю дорогу, аж до Усть-Лабы. Провожали с закуской, под полковую музыку, за городом протрубили на молитву, дамы шли впереди эшелона далеко, а от Военно-Грузинской дороги как припустил, как припустил. Переночевать пятьдесят копеек. Без самовара. Дерут! На Кубань зашли: «Шо есть постное?» — «Борщ, соленая капуста, огурцы». Солома по пятнадцать копеек пуд, о боже. Штаб-квартира скоро, командир полка дает предписание: вести людей в чистых серых черкесках, бурки не снимать, шашки вынуть. А дождь льет! В Пашковской смотр в восемь утра, атаман отдела прибыл. В канцелярии по рюмке водки. Я не спал три ночи. Грязь по колено. Товарищ взял с собой до хаты. Въехали во двор на быках. Доски до крыльца положили: оце гарно! А ты думаешь, я одно то и делаю, что гуляю? Не помню, когда в карты играл. Так погуляю с тобой!

— Что ж, погуляй. Погуляй, братец.

— Скрипочки не слышно.

— Закажем шампанского.

— Надо же и плохо пожить, не все сыру в масле кататься.

— Не все, братец.

У них случались минуты, когда они перехватывали интонацию друг друга, вторили словами, посмеивались над собой.

— Ужасно живем, братец! — Толстопят разводил руки над скатертью. — Нет счастья.

— Совсем нет, братец.

— Посуди сам: воруем барышень, ездим в «Яр», пляшем на балах, — ужасное несчастье!

— Лихач по три часа ждет, — ужасно, ужасно живем.

— Что это такое? Нельзя так трудно жить, — никаких забот, братец. За такую беспечность надо в конвой его величества! В конвой, в конвой.

— В конвой, в Царское Село. Посылать казака на конюшню графа Коковцева. Надоел ты нам здесь со своими скандалами в гостиницах. Твое приключение, кстати, совпало с буйством Пуришкевича в Государственной думе.

— Кто такой?

— Член Думы. Везде кричит и руки по швам. Когда сынок барона Мейендорфа (из свиты его величества) вызывал Пуришкевича на дуэль, тот ему знаешь что ответил? — Бурсак облокотился на стол и приблизил свой острый нос к кувшину с водой. — «Вы только дворянин, а я еще и Пуришкевич».

— Да кто он, мать его, такой?

— Черносотенец.

— А-а, это что кричат «Россия для русских!»? А я казак. Щирый в службе и завзятый в гульне.

— Я в него не верю.

— Пускай. Кто-то должен кричать за Россию.

— Зачем? — Бурсак недоуменно посмотрел на Толстопята. — Россия еще тысячу лет простоит и без помощи Пуришкевича.

— А вот и оно! — Им принесли шампанского. — Вы, господин Бурсак, только дворянин, а я еще и Толстопят. Держим бокал левой рукою, а правою крестимся. Слава богу, шо терпит наши грехи. В службе всем вставим толку, а дойдет до гульни, так и тут поперед всех. Милости просю, Дементий Павлович. Ага, оце наша горилка! Нехай будут живы та здоровы все девки та молодцы чернобровы. Костогрыз мастер брехать к чарке. Целый день гоняю ка-

заков, так хоть раз зубы почистить. Нам, Дёма, не до Пуришкевича. «Слушаю, господин полковник, постараюсь, господин полковник!»

— Научишься пить, станешь Александром Третьим.

— Царство ему небесное, великий был человек. Подковы гнул, монету сворачивал, как листик. Слышу недавно: «Правильно сделали, что убили Александра Второго. Убили за другое, а вышло хорошо». — «Почему же хорошо?» — «Либерал, батюшка, был. Либерал. И поделом ему. И венчанный внук его тоже либерал. И его убьют». Не понимаю, Дёма, я человек военный.

Бурсак не удостоил Толстопята разъяснением.

— Они на жандармов денежки тратят, а первая революция обошлась России в три миллиарда рублей. Это контрибуция, какой не приходилось еще выплачивать никогда ни одной побежденной стране.

— Ничего, — сказал опять Толстопят бездумно. — Кавуны на Кубани продадим и покроем. Я был маленький, продал арбуз, купил открытку и послал государю поздравление к шестому мая, с днем рождения. Так меня вызывали к наказному атаману, вручили царский подарок. Сейчас меня разве этим обрадуешь? Того и жди Бабыч мне врежет: «Ты чего, бисова душа, есаульских дочек крадешь?»

— Он стро-огий.

— Казакам нравится это. «Свой батько — и все свое будет!» Пятьдесят лет не ставили нам в атаманы кубанского казака. Русь хитрая. Лука Костогрыз каждый день к дворцу ходил: «Нема ще? Скорей бы, хлеб-соль засохнет. Чертячии москали, курносые, разучили нас танцевать гопака».

— Я буду рад, если Калерия пожалуется.

— Да она уже любит меня, братец. Не спит сейчас. И грешна в мыслях. Они грешнее нас! Грешнее!

— Есть одна подробность, — тише сказал Бурсак. — У отца ее двадцать ли, сколько там, лет назад была связь с красивой дамой, и Калерия от нее.

Толстопят вытряхнул из пачки «Наполеона» папиросу и размял ее.

— Брехня.

— Шкуропатский решил забрать во что бы то ни стало дочку к себе. Но как? Только подбросить к дверям. Договорились, так и сделали. Рано утром на приступочку крыльца положили сверток. И записочка: «Благодетельница, примите, вскормите как свое дитя». Жена, конечно, не подозревала. Но однажды она побила Калерию, и Шкуропатский, забывшись, заорал: «Как ты смеешь! Это моя дочь».

— Брехня! У, какая брехня! Ведь это то же самое, что и про твою тетушку: будто из-за нее Толстопят застрелился! Шкуропатский святой человек, трубач, все зубы себе продул на музыкантской службе. То перепутали с генералом Вишневецким. И что мне до этого? Ей скоро замуж. Терешка обвезет вокруг церкви, и она — мадам. Пью за тебя, моя дорогая! — сказал он, имея в виду Калерию. — За твои атласные ручки. Я тебе письмо пришлю. Как я люблю вас, как сильно, как глубоко, — вы и не предполагаете.

— Перестань нести чушь.

— Вас удивляет, что я вам пишу? Я уезжаю в лагеря под Уманскую. Я должен еще раз увидеть вас, должен вам сказать, что вы мое солнце, моя радость, весна. Обещайте мне!

— Ты ее принимаешь за дурочку?

— Она «Ниву» читает. Моя шалунья... Женюсь, и заживем тихо в Екатеринодаре.

— Какой ты безобразный, Пьер.

— Да я хороший, — протянул к Бурсаку руку Толстопят. — Я давно поломал о твою чистоту все свои косточки. Ты поменьше осуждай меня.

Бурсак воспитывал его всегда. Сам бы он ни за что не осмелился домогаться ласки у барышни в ту минуту, когда надо просить прощения. Весь род Толстопятов такой: упрямый, самоуверенный, хищный. И не то было в роду Бурсаков: там пробивались сквозь колючки неугасающим терпением.

— Скажи по совести, стоишь ли ты ее?

— Моя мать всю жизнь доила корову и об этом не думала. Казак не без доли. Скрипочка уже слышна. И быки наши еще стоят. Сейчас поедем на Терешкиных быках по шляху и запоем. Запоем?

Бурсаку, робкому, деликатному, нужен был такой бравый товарищ, с манерами то положительного завсегдатая балов в офицерском собрании, то, как он смеялся сам, «обывателя со Свинячьего хутора». Так часто случается. Слабое сердце жмется к удали, даже если ее осуждают. Толстопят же в усталые минуты молодости не мог без Бурсака. Он и умница, и начитан, и всегда на стороне добродетели. В свои слова Толстопят как бы не верил, он их выпускал из уст без оглядки и сам, когда что-то доказывал, ощушал пустоту, ему нужно было встречное слово, тогда он замечал, что его и правда слушают. Для Бурсака, такого тяжелого к действию, к шумной энергии, вся жизнь, казалось, все события, весь исход были в высказывании, в долгих обсуждениях, и он чувствовал наслаждение почти в любом разговоре. Недаром же он попал в стан присяжных поверенных; их поступок — речь.

— Костогрыз встретил меня и тычет люлькой в ноги: «Мой дед-пластун воевал в постолах за тридцать копеек та в рваной черкеске за рубль, та шапка на голове из козьей шкурки. Все обмундирование за три рубля. А теперь на вас, собачьи дети, подсвинки вонючие, и в пятьсот не вложишься. Теперь казак для народа, а обмундирование для разорения». Но если его дед, мой дед, твой дед воевали в постолах за тридцать копеек, это не значит, что я не могу выпить сейчас за пташку Калерию шампанского рубля на... че-ты-ре!

— Выпей лучше за Костогрыза и своего деда.

— И твоего! За кувшин с золотыми монетами! За Бурсаковские скачки. Живем. Никто никого помнить не будет, так поживем пока. За милых барышень... в постолах, ха!

Толстопят все болтал, хвалился, клялся, что к осени женится, рассказывал анекдоты из воинского быта, кого-то обзывал и над кем-то смеялся, но наутро половины из того, что он говорил, он не будет

помнить. Так, когда во втором часу ночи они поднялись от стола и остановились у вешалки перед зеркалом, Толстопят, выпрямляя пальцами усы, громко и напевно сказал: «А хорошо бы, друзья мои, сейчас перед зеркалом застрелиться!.. Заплачет моя маленькая шалунья? И не подумает. Заплачет только отец с матерью да сестра Манечка. Где наши быки? Где Терешка?» И вышел хохоча, потом криком разрывая ночную тишину:

— Терентий! Мой друг, быки готовы?

— Пожалуйста... — рядом отозвался извозчик.

— Что скажешь интересного, мой хозяин? — приставал Толстопят, когда поехали по сырой дороге.

— Мое дело слушать, возить да молчать. Дождь, видно, будет.

— Ты у нас большой генерал. Вези! Вези, Тереша, по жизни да не растряси, уж прошу, пожалуйста, а то мне хочется застрелиться.

Все уж кругом спали, собаки только взлаивали в Пашковской. Две вороные лошади легко уносили их в тьму, за которой в лужах стоят улицы их города. Такое было настроение, будто едут они домой издалека и в Екатеринодаре что-то изменилось.

Дождь прекратился, виднее стали сады и карасунские озера, и Толстопят запел:

Прощай, мой край, где я роди-ился,
Прощайте, все мои друзья-а...

Толстопят пел, вспоминая голос деда, переливаясь с его не забытыми им интонациями, пел с отчаянием разлуки с краем, который покидали его предки по разным причинам, и потому постанывал как бы за всех: за тех, кто оглядывался на валы станицы, ворота и пушку, уходя на службу в Персию, в Среднюю Азию, в Петербург, в Варшаву, отрываясь от семьи на войну с турками под Плевной, постанывал и за тех, кто уцелел и припоминал в пьяном застолье свою тоску по хате, пел за бывших соседей с оселедцами, за всю родню свою черноморскую, спавшую вечным сном на пашковском погосте, за утонувших в Кубани, похищенных горцами, воображал налегке и свое расставание, но горечи от этого на душе не копилось: он знал, что если и расстанется с ненькой-Кубанью, то ненадолго, а улетать из родного гнезда за моря-океаны ему незачем.

Проехали гостиницу «Дубинская роскошь».

— Сейчас бы, братец, стукнуть в окно. «Ой, кто это?» — «Тол-сто-пя-ат...»

Дема не слушал. На севере косо висела Большая Медведица. Толстопят словно уловил его взгляд, ткнул пальцем и снова певуче, под пьяненького, заговорил:

— А моей маленькой шалунье снится хорунжий Толстопят. Так же? Открой мне какую-нибудь тайну, Дема, а то я буду кричать и разбужу Дубинку.

Дема улыбался в темноте и молчал. Маленькая тайна была в том, что накануне он получил от Калерии записку с просьбой подойти к памятнику Екатерине II — «ради того, что вам будет интересно». А тут и случилось это похищение на извозчике.

— Едем искать золотой кувшин! — куражился Толстопят. — Терентий, голубчик. К Бурсаковским скачкам!

— Ему смешно, — сказал Бурсак. — Мой дед когда-то загубил себе жизнь, бросился в Кубань, а ему смешно.

— А зачем у нас столько тайн? И все же завернем!

Бурсак вяло махнул рукой, и они, миновав Дубинку, потом страшноватый ночным водяным сиянием Карасун, вывески магазинов поехали к этому скорбному для рода Бурсаков месту на самом берегу Кубани.

Река дугою подпирала елизаветинские кручи, и где-то на дне ее в самом деле покоилась тайна деда. Впрочем, сколько других тайн схоронила навеки казачья земля. Толстопят все шумел:

— Куда вы меня привезли, господа? Ты хочешь, чтобы я бросился в Кубань из-за Шкуропатской? Так же? Изво-оль, братец. А нет! Я бросаюсь только в объятия толстеньких вдовушек. За вылавливание моего тела батько Толстопят кувшин с золотыми монетами не поставит.

— Перестань болтать, Пьер.

— А зачем столько тайн?

Когда через час проезжали по Пластуновской заколоченный дом Швыдкой, Толстопят сказал:

— А здесь сколько спряталось тайн! И мои молодцы из Первого Екатеринодарского тут погуливали. А где же чернобровая Олимпиада? Поехала ка-аяться... Браво! Пусть кается. А нам еще рано. Так же?

ОДНА СОТАЯ СВЯТОГО ЗОЛОТА

Терешка не счел нужным докладывать господам, что к шестому часу поедет на Черноморскую станцию встречать эту самую грешницу Швыдкую, возвращавшуюся домой московским поездом.

В зимнюю слякоть Терешка редко снаряжался в ночную. это летом легко катать гуляк до четырех утра. Спал бы он себе за теплыми каменными стенами, если бы не вызвали Толстопят с Бурсаком да не вручил ему в обед однорукий Евлаш телеграмму от Швыдкой. Выбился он в лихачи первого разряда давненько; в фаэтоне уже лежали вышитые подушечки, коврики под ноги, на коленях был кнут кизиловый и плеточка из тонкой кишки. Жил он рядом с архиерейским подворьем на углу Котляревской и Базарной.

Днем Терешка отоспался, поел борща, в пятом часу отвез мадам Бурсак на станцию, с которой начиналось ее весеннее путешествие в Париж. В самых любезных выражениях Терешка благословил ее напоследок и, оставшись один, расправляя кудри под козырьком фуражки, пообсуждал ее немного. «Некуда барыне денег девать, на кого попало и дом, и табун бросила, — поскакала. Оно у нас хуже? Весна скоро, лето, фрукты. И Анапа рядом. Платьев два чемодана».

Толстопят подбросил ему по-царски, и нынче вот,

через полчаса, можно было рассчитывать на приварок от Швыдкой.

Один, видно, Терешка и знал, куда-зачем отправлялась Швыдкая три недели назад. Любопытно, чем же кончилось ее странствие в город Кронштадт?

В январе Олимпиаде Швыдкой перевалило за тридцать три, она как-то сказала Терешке, что она моложе царя; ей нагадали, что если восчувствует свой грех, сподобится видеть самое себя, то будет выше сподобившегося видеть ангелов и переживет гордых и неправедных. Швыдкая поверила. И как-то шла она мимо Троицкой церкви и увидела на каменных ступенях сидевшую как будда старую бандуршу в окружении кошек. «Подходите, подходите, господа, — кричала та, кривя рот и качаясь из стороны в сторону, — отпускаю грехи! Подходите, грехи отпускаю!»

«Вот так и меня покарает», — испугалась Швыдкая.

Здоровье сдавало, тяжело было распоряжаться беспутными девками своего «Красного фонаря» и без конца оправдываться перед полицмейстером за безобразия, которые творили даже военные казаки, иной раз спьяну валившие в заведение чуть ли не всей сотней. И боялась она пуще всего наказания к старости, наслушалась всяких несчастных историй и думала о судьбе со страхом. К концу 1907 года она закрыла свое заведение. Денег у нее скопилось много. Она пошла сперва к священнику Четыркину, но так понравилась ему, что тот стал приставать и, подпив, предлагал переливающийся камнями крест.

Тогда, 6 января, в день богоявления, постояла она в Александро-Невском соборе, а в феврале поехала к отцу Иоанну Кронштадтскому. По пути к станции рассказала Терешке последний сон.

— Небо, на небе красавица, и вот так платком машет...

— То бог призывает тебя к покаянию, — объяснил Терешка. — Иван Кронштадтский благословит.

Имя этого юродивого Христа ради ныне забыто. А тогда слава о его святости, милосердии и чудесах разлеталась до медвежьих углов. Страждущие души калек и нищих, покинутых жен и бродивших по святым местам старушек чаяли «укрепиться его молитвою в немощной и скорбной жизни». После того как в 1894 году он был приглашен к смертному одру царя Александра III, возложил руки на его августейшую голову и причастил, вера, что бог открыл отцу Иоанну сердца людей и «дал книгу скорби», приумножалась печатью. Швыдкая брала у знакомой книжку, прославлявшую святого человека, читала, как шли к нему толпы с просьбой «батюшка, помоги!», и надеялась, что ее отец Иоанн так же поспрашивает и простит. В Кронштадте, очутившись среди паломников на квартире в большом доме, она в легкой простоте откровения поведала людям свои темные тайны. Ее в роковой день приметила некая шляпница как хороший товар для богатых клиентов в доме свиданий на Рашпилевской улице. Для виду ее взяли в шляпный магазин. Чувство пробуждает и порочность. Шляпница предложила ей «один только раз» встретиться за большие деньги с «приличным господином». Колесо закрутилось, отвязаться уже было нельзя, ей угрожали разоблачением. Для пущей декорации ее определили прислугой в скромную семью казачьего офицера, именно в семью Шкуропатского. Она водила Калерию на прогулки в городской сад, за имение Кухаренко к Кубани, а в свободные часы шляпница направляла ее в номера гостиниц, в баню Адамули. Потом предложили ей выгодное место бонны в Сухуми. Калерия плакала, когда она уезжала с узлами материнских подарков. На вокзале в Сухуми к ней подошел господин. Она подала ему письмо: «Многоуважаемая... прошу вас, как только получите товар, немедленно вышлите мне триста рублей. Приготовлю еще один товар за двести. Товар хороший, прокатный». И стала она, как пишут, настоящей жрицей продажной любви. В Сухуми в одно прекрасное время навязывается к ней молодой человек. Водил ее в театры, покупал цветы, дарил платья. Наконец сделал ей предложение. Когда она согласилась, он заявил, что венчание может состояться лишь за границей, где живут его родные. Дурочка, она поверила. Через две недели они поплыли по синему морю в Константинополь, оттуда в Пирей. Там ее продали какому-то Дэвиду, содержателю притона. Молодой жених скрылся. Через два года ее перепродали в Константинополь. И только еще через три года она сбежала из притона прямо в русское консульство.

— Хо! — понукнул Терешка лошадей с места, завидев Швыдкую в толпе приезжих. Про его зычный голос говорили так: если крикнет «хо!» у городского сада, то на стоянке за семь кварталов извозчики слышат: то Терешка экипаж подал!

Темнобровая, в толстых зимних одеждах, Швыдкая издалека улыбалась извозчику: мол, я так и знала, что никто больше меня не встретит, круглую сироту, кроме извозчика. Подошла, поздоровалась.

— А вещи ж? — Терешка сверху ткнул кнутом на свободные руки Швыдкой. — Украли?

— Пораздала, — сказала она спокойно и перевязала на голове пуховый платок.

— Ну, это правильно. Значит, хорошо съездила?

— Та расскажу.

Она посвежела с тех пор, луковичная кожа на лице обветрилась чистым румянцем, сочные глаза были по-прежнему соблазнительны.

Откуда ни возьмись подтащился с тюками смушек Попсуйшапка, низенький чернявый мастер из магазина Хотмахера.

— Посади и меня, Терентий Гаврилович. Не возражаете? — сперва тоном низкопоклонства обратился он к Швыдкой и вдруг округлил глазки, замолк: узнал! Тьфу! Но слово вылетело.

— Поместимся... — сказала Швыдкая.

Они забрались на сиденье, Терешка крикнул «Хо-о!», задние извозчики вскинули кнуты и подкатили фаэтоны к очереди; лошади побежали по темной Екатерининской улице вниз, к карасунским лужам. Вдали на шатровой крыше Царских ворот белел снег. Там Терешка свернул на улицу Котляревскую.

В конце месяца горными потоками вздуло Кубань, потонули берега; лес на черкесской стороне был подрублен водой по верхушки, и на пространстве по дуге от сада братьев Шик и до пристани Дицмана плыли льдины.

— Попала до Ивана Кронштадтского?

— Ой, насилу-насилушки! — отвечала Швыдкая в спину извозчику. — Нигде не видела столько миру. Идут и идут к нему. Бывало, по тысяче в день просится на благословенье. А сейчас больной, старенький.

— Хо-о! — взмахнул кнутом Терешка и обогнал дрогаля. — А чем он берет?

— Ничем. В церкви жертвуют. Я как упала на колени: «Благослови меня, отец Иоанн, грешницу, благослови в путь-дороженьку на остаток жизни», а он сел рядом: «Ну, открой мне свою скорбь».

— Не утаила?

— Не-ет. Все ему рассказала.

— Это правда, что лечит от болезней? — спросил Попсуйшапка.

— Кому помогают молитвы, кому... как. За руки хватают, целуют, «помолись за нас!». А служба! — я плакала. И поют красиво.

Попсуйшапка про себя поругал людей: вот болтали про Швыдкую неприличное, а она, видишь, какая: и верующая, и простая, откровенная, да и по голосу — добрая женщина.

— И что ж он тебе?

— Сказал так: покайся, живи сердцем, а не чревом, страшно духовное рубище. Больше по Евангелию. Спросила я его, куда мне деньги вложить, чтобы прощение было, а людям польза. Посоветуешь ли мне на семипрестольный храм жертвовать или открыть убежище нищих, стариков, калек.

Тут они как раз подъехали к ее дому 38 на Пластуновской.

— А он?

Они все трое продолжали сидеть.

— Воротись, говорит, к отцу своему небесному. Иначе ничего не будет у тебя, кроме вечной смерти. Золотом не откупишься. Это по прелести, а не по Христу. Мы только, говорит, в нужде обращаем очи свои к господу. Молись каждый день.

Терешка хмыкнул и слез на землю. Швыдкая подала ему из кошелька деньги. Он поблагодарил, можно бы и прощаться, да жалко было обрывать разговор: куда ж деньги девать?

— А куда ж золото? Если по Христу жить, то золото кому?

— Золото, сказал, добытое грязным делом, в богоугодное дело вкладывать нельзя. Молиться и молитвами искупить вину.

— Опять молиться! — досадовал Терешка не столько на Швыдкую, сколько на отца Иоанна Кронштадтского. — Ну, помолишься, а золото?

— В нечистое дело и вложи, сказал.

— Да ты вложи куда хошь, он не узнает.

— Раз не советовал, как же я буду? Я ж должна теперь бога слушаться. Я покаялась и обещала, отец Иоанн крест в воду погружал и всю воду с креста на голову мне излил. И он такой: все про каждого знает.

— Шо ж он про меня знает? — Терешка ухмыльнулся. — Я вчера, может, сережку в фаэтоне нашел и забрал, — и он будет знать?

— Ну так послушай меня еще. Якобы — там рассказывала одна старушка — сидят два студента, а мимо люди идут и все спрашивают: «Где тут до Ивана Кронштадтского пройти?» Только эти отошли, опять новые спрашивают: «Скажите пожалуйста, где Иван Кронштадтский живет?» Им надоело показывать, они друг другу тогда: «Слушай, пойдем и мы к нему поболтаем!» Встали и пошли. Приходят. Там очередь. А у него помощница, передает ему: «Еще пришли два молодых человека». — «Налей им, — отец Иоанн советует, — налей по полстакана воды, на блюдечке подай и ложечку поклади». Она выносит: «Отец Иоанн велел вам поболтать ложечкой в стакане». Он же, как это сказать, юродивый, провидец. Вы ж пришли поболтать со мной, вот и болтайте ложечкой.

— Хоть самому ехать, — сказал Терешка разочарованно. — Кругом сказки. Он бы погонял с мое лошадей, повозил братву, то б не такую жизнь увидел.

— Он всяких видел. Его не обманешь. Часто босой ходит. Спит мало. От одиннадцати до двенадцати ходит по городу, где огонек — заглянет, побеседует. У нас бы такой был!

— А то еще! У нас возле завода «Саломас» грязные канавы, и там купаются заразные больные, хромые, слепые. Какой-то дурак сказал, что грязь исцеляет. Ну и дальше?..

— Воротись, — сказал, — кайся, без бога душа не может жить ни минуты. А если уж хочется сбыть нечестное добро, поставь на те деньги уборную на людном месте.

— Вон на Новом рынке поставь!

— Засмеют люди.

— Еще свечкой в церкви помянут. Добро сделаешь. Пока это наша городская управа спохватится! Авось простит тебя бог. Марию Магдалину ж простил.

— Схожу теперь пешком в Киевскую лавру, а доживу — и в Ерусалим пойду к гробу господню...

Терешка хмыкнул, как бы пожалел молодость, ее красоту, годившуюся еще для земной жизни. Видно, сильно напугал ее юродивый отец. Он пробормотал что-то и полез на свое место.

— Еще так сказал: «Куда зрят очи сердца твоего? Молись. Как чувствуешь, так и говори». Вот так и говорю с вами.

— Все мы молимся, когда нам плохо. А уборную ты поставь, поставь... Для людей же...

— И еще, — хотела она закончить разговор запавшим в ее душу, — еще так сказал: «Читай Евангелие, и если возьмешь одну сотую святого золота, то слава богу».

Она перекрестилась и пошла к дому с зелеными окнами.

— Хо-о! — крикнул Терешка на лошадей, мигом

теряя связь с чужой судьбой, все более отвлекаясь, что-то соображая, гнал фаэтон по улице ради очень простой и неотложной цели — заработать на хлебушек насущный.

ОБЖОРКА БАГРАТА

Умные лошади сами становились у обжорки Баграта на Старом базаре. Пора было Терешке перекусить, а может, и выпить стаканчик винца. Маленький шумный хозяин обжорки, Баграт, всегда перед Терешкой поднимал руки и выкрикивал каждый раз одно и то же:

— Ну, к чертовой матери, чего пришел? Копейка есть?

— Есть.

— Садись у Баграта гусачка скушай!

У Баграта с утра и до утра потчевался простой люд, и какая-то хитрая машина хранила в своем нутре пьяно-ласковую малороссийскую песню:

А в Харькóве на рыночку
Пил чумак там горилочку...
Пропил волы, пропил возы...

Вкусный бараний гусачок стоил копейку.

— У меня кушают с анекдотами, — сказал Баграт, расхаживая по обжорке. — Где ты еще так покушаешь? У Бадурова в шашлычной, на бочках? Он в этих бочках девок купает.

— Неужели?

— Шутка.

— Правило новое вышло, — сказал Терешка. — В праздники торговать, пожалуй что, придется за закрытыми дверями.

— Ай! Что ты говоришь? Это так быть не можи-ит! Мы стену проломим и задним ходом торговать буди-им. Мы такой шурды-мурды н знаем. Отпирай трактир четыре часа, запирай двенадцать часов или никогда не запирай!

— Пасха ж будет, царские праздники, войсковой круг. Оштрафуют.

— Кто меня кормить будет, кто тебя кормить будет? Сами кормить будем и всех кормить будем. Бабыч приехал, если ему гусачок надо — заходи, пожалуйста! У нас не Турция. Каждый пьяница на шее сидит.

— Жалко, что не Турция, — сказал кто-то.

— Слушай, Терентий Гаврилович! — Баграт положил руку на плечо извозчику. — Один говорит: «Карапет, давай мне три рубля». — «Зачем?» — «Кинжал купить, тебя рэзать буди-им!» Ха-ха, к чертовой матери! Глупый анекдот. Не знаю, зачем его рассказывают. — Баграт махнул рукой вниз и застыл. — Куда возишь, кого возишь?

— Кого придется. За Фоссом сейчас поеду в гостиницу. Он вам телеграмму не давал? Слыхали про Фосса?

— К чертовой матери, какой Фосс?

— Да его вся Россия знает. А то вы не слыхали. Это такой нахал, он у вас все сожрет и копейки не заплатит. Так и говорит: «Пить, ездить на лихачах и не платить — моя болезнь». Обжора, каких свет не видел. Мерин!

— Люблю тех, кто хорошо кушает, вези ко мне!

— Заставит бесплатно кормить. Фосс человек знаменитый. — Терешка придвинул тарелку с гусачком. — Зайдет к вам и скажет: «Я Фосс! Слыхали?» Он борец цирка, там туша такая — пудов восемь! Ездит по России в вагонах первого класса и ни разу не брал билета. Брюхо до земли. За ним носильщики чемоданов шесть тащат. Он что делает? Дает в газете объявление для начальника станции: «Едет Фосс». Сидит на станциях по двое суток, жрет, пьет, забирает провизию, низко раскланивается — и дальше. И ни копейки! «Я — Фо-осс! В газетах читали?»

— Вези ко мне!

— Он вам переломает все стулья. Сядет, шутите — восемь пудов, оно — тресь и развалилось. Так кое-где, как узнают, что Фосс едет, буфеты закрывают и прячутся. В одном месте абонировал мужскую уборную, и ему с утра до часу ночи прислуга беспрерывно таскала питье и жратву. Вот такой шут. А публика ж хохочет! Ей нравится! Он еще больше раскидывается: «Я Фосс! Фосс нигде не платит!» Так в некоторых буфетах и ресторанах, где он побывал, потом стола не достанешь, публика прет, аж с ног валится: а как же! Посижу и я, где Фосс сидел. Выручка страшная.

— Вези ко мне! — приказал Баграт. — Всегда будешь и ты бесплатно кушать, только вези, Терентий. К чертовой матери, я его сам поеду встречать. Ай, какой человек, какой милый, душа мой. Ты мне говоришь, правильно по торговле вышло. Вот где наше правило, — стукнул он себя по карману. — «Я Фо-осс!» Ай, какой барин, к чертовой матери. Вези ко мне. «Я — Фосс». Ха-ха! А я Баграт, к чертовой матери.

— «Я Фосс. В газетах читали?» — Терешка хохотнул, допил рюмочку и стукнул ею по столу. — Такой промысел, — наслушаешься, насмотришься.

— А и ты хорошо жить стал.

— Ведь стараюсь. Архиепископ серебряную сбрую подарил. Вы думаете, я всегда так жил, как сейчас?

— Меня не касается, какой ты был, меня касается, какой ты стал.

— Прихожу с военной службы, — захотелось похвастаться Терешке, — ну, куда поступить? В руках никакого ремесла. В городовые? Свисток в зубы и бегать за мошенниками?

— Обыски у Баграта делать, за ширмами девок пугать. Цитович мне кровь испортил, пристав.

— Служу год, служу два. Встречает старший по участку. «Рассчитываюсь, — говорю ему. — На квартире живу, ничего нет». — «Не умеешь. Пойдем за мной». Спускаемся на пристань Дицмана. Известка высыпана. «Чья известка?!» — «Та нема хозяина, сейчас подойдет». — «Ага, запишем». Приходит хозяин. «Не на том месте выгрузил! Десять рублей штраф!»— «Та я...» — «А то и двадцать пять запишу». Хозяин ему в руки три рубля: ради бога, не трогайте. Ведет

дальше. «Чей лес?» — «Хозяин пошел искать дрогалей». — «А здесь лес не сбрасывают. Во-о, видишь место? Там. Штраф, пожалуйста». И пока прошел по берегу, рублей пятнадцать насобирал.

— Душа мой!

— «Ну, видел?» — мне. «Видел». Мимо двора проходим. «Почему у вас снег не откидан? — «Некогда. Батько на работе». — «Три рубля!» — «У меня нету». — «В участок принесешь пять!» Я посмотрел-посмотрел. «Остаешься? — спрашивает. И я попробовал.

— А кто глазами моргал, и сейчас на углу со свистком стоит!

— Стоит, а чего ж. Жирный гусачок, спасибо.

— Завози поскорей гостей. «А я — Фосс!» Ха-ха, давай вези.

«Ой, пье чумак, пье...» — неслось из машины.

— У Швыдкой рука легкая, — сказал Терешка, надевая картуз. — Привез ее, а за ней и пошла публика! Швыдкая ж приехала, знаете?

— Баграт все заведения знает. Вези Фосса ко мне! Каждый, душа мой, себя жалеет. «Духанщик — давай стаканчик». В станице работал. Я стаканчик брал, немножко отпивал, потом воды потихоньку наливал. «Духанщик, почему градус не полный? Протокол надо!» Бедный духанщик сюды-туды: пожалуйста, бутылку. Не торговля, а слезы, душа мой. Тысячи плати, копейка клади.

— Да вы копейками втрое получаете.

— Когда в станице духан держал — вай-вай что делал. Атаман — семейство семь душ, писарь — семейство восемь душ. Атаман — семейство семь раз родился, семь раз крестился, семь раз именины делал. Писарь восемь раз. Считай, душа мой. Атаману на каждый раз ведро водки давай, четыре раза в год именины делать. Мы ему говорим: закон такой нема — четыре раза в год именины. Я такую водку давал, к чертовой матери, что с одной бутылки самый крепкий урядник свалится. Придет домой, смотрит: на тыну горшки сушатся. «Не мешать! Басурманские чалмы рубаю! Я им покажу, как на мой тын садиться!» А сейчас входит городовой с барышней: «В карты играют? За ширмой кто?» Именины не справляют. Ты два года назад на спор, за сто рублей, въехал в «Шато де флёр», а я каждому приставу бесплатно наливаю. Офицеры ко мне не ходят. Они в Панском куту гуляют.

— Да вот только что привез... — сказал Терешка, но сплетничать о происшествии счел неуместным.

Еще спал, додремывал на сырой заре город Екатеринодар. Пусты были железные скамейки на Красной, темны окна гостиниц, не грохотали бельгийские трамваи. Все, кто между собой дружил, ссорился, затягивал узлы связи, судился, думал на ночь о своем несчастье или удаче, кто гнал извозчиков в ателье, в магазины, на концерт, к больным родственникам или к любовницам, кто жил так хищно, что полагал, будто никогда не умрет, кто принял власть, ждал писем, наказания, кто положил в фундамент будущего дома золотую монету и кто протягивал у церкви руку за копейкой помощи, — все-все спали одиноким сном и друг другу не мешали. Все они спят, ничего не ведая до утра, как будут не ведать когда-то вечно. Кроток ночью под небесами улей человеческий. Никому ничего не нужно. И даже городовой на углу ищет союза с извозчиком, остановит покурить и перемолвиться словом. Спит закутанная сумраком во дворце сама власть, беспомощная, как все сонное, но едва вспорется утро — продерет она очи и берется за тяжелую булаву. Много раз возвращался Терешка к своим воротам в тот ранний час, когда еще не кричали павлины во дворе давно убитого наказного атамана Кухаренко и когда замечал вдруг, что в Екатеринодаре много еще кособоких камышовых хаток, поставленных первыми черноморцами.

«ЧАШКА ЧАЯ»

Пока Терешка гонял из конца в конец города фаэтон, а Швыдкая клала поклоны в церкви и жертвовала нищим рубли, пока генерал Бабыч разбирался в донесениях, а Лука Костогрыз качал на пасеке майский мед, Толстопят готовил казаков на лагерный сбор, Калерия почитывала роман Вербицкой, Бурсак изучал судебные дела, а Попсуйшапка выкуривал с братом шкурки в просторном дворе, Фосс грабил буфеты в Новороссийске, пока неизвестные люди торопились добыть прокорм, жениться, наторговать денег, починить хату, справить сына на службу, вспахать землю, столкнуть соперника и т. п., пока, словом, все жили своим личным временем, замечая только смену дня и ночи, время — великое, вечное и равнодушное — что-то убирало и прибавляло в этом, казалось, стоячем мире, творило судьбу каждому и миру в целом и незаметно сдвигало на маленький градус орбиту бытия. Никто не знал, что с ним будет завтра, даже через минуту.

Калерия Шкуропатская шла по Красной, и вдруг на нее наскочила цыганка.

— Быстро скажи мне имя знакомого мужчины на букву Пэ, ему будет плохо, если не скажешь! Быстро, быстро.

— Петр! — выскочило само собой имя.

Отчего Калерия испугалась? Почему, как только цыганка спросила, она вспомнила Толстопята? Ведь она нарочно забыла его, прокляла после того дня, когда он завез ее на извозчике в гостиницу Губкиной. И вдруг под угрозой цыганки в грязной юбке выпалила поскорей его имя, будто он был ей самым близким человеком и какое-нибудь несчастье с ним покроет страданием и ее. В смятении отдала она ей еще простенькое кольцо с камешком и нисколько о том не жалела. Была бы на шее золотая цепочка — и ее сняла бы. Вот под какое ведьмовство она попала.

— Сама золото принесешь мне, когда тебе будет плохо, — тоном приказа говорила цыганка и хватала Калерию за платье. — За Бобровым мостом шатер мой стоит, мне ничего от тебя не надо, но сама, красавица, найдешь меня, вот увидишь! Плохой год настанет, золота не жалко будет. Запомни меня...

Калерия шла в «Чашку чая» подавать кофе.

«Петя... Пьер... Толстопят... — шептала она. — Откуда цыганка угадала букву?»

Мгновение с цыганкой словно помутило ее. Может, правда наречено ей сблизиться с широкоглазым стройным красавцем? Похитил, ну так что ж? — на то и казак в черкеске. Да и виновата в том не меньше, чем Толстопят. Значит, такая есть. Поменьше надо кокетничать на балах. Сердце вдруг разгорелось; она трогала рукой пылающее лицо и не глядела на прохожих. Тайна в женщине глубока. Она призывала любовь и даже как будто желала быть украденной еще раз, и мечтательный грех ее (если это грех) усыплялся страницами романов, которых она столько перечитала. Была та сладкая минута покорности, как и при рассматривании картинок Ватто.

И сказала еще цыганка, что ее жизнь будет долгой, горемычной. С кем же?!

В кафе было еще просторно и тихо.

«Чашка чая» — лучшее, как говорили, point des plaisances, местечко «чудных мгновений». Екатеринодарские дамы создали там особый уют для тихого настроения. О «Чашке чая» сочиняли стихи. «У нас без всякого флирта, — гордились патронессы, — без кокоток за столиками, без историй». Да кто знал к закату дня, чья душа в этой «Чашке» разбилась, чья вспорхнула птицей? Истории свои, как монеты в благотворительную кружку, не сбрасывали. Столики обслуживали дамы из приличных семей и их подросшие дочери в той очередности, которая расписывалась благотворительным обществом. Девочки старших классов гимназии, мариинки с радостью бежали в домик на углу Красной и Екатерининской улиц, а летом в городской сад, куда «Чашка чая» переезжала к дубам «Двенадцать апостолов». Ах, «Чашка чая»! О ней мечтали с детства. Казалось, сроду не дожить до блаженных лет, когда мама купит красивый белый передник, наколку и позволит грациозно предстать у столика перед каким-нибудь усатым офицером 1-го Екатеринодарского полка: «Что вам угодно? Кофе по-турецки? По-польски? Пирожки? Торт «Мазурка»?» Не побывав там ни разу, девочки тем не менее выучились от мам всему, что нужно и можно делать в кафе, и тысячу раз уже проплывали мимо столиков, расставляли вазы с цветами, наслаждались музыкой крохотного оркестра в углу под пальмой. Их час настал! Казалось, на тебя смотрит весь город, смотрит и завидует, что ты идешь с мамой в «Чашку чая» служить бескорыстно, ты — маленькая патронесса, на деньги, которые тебе не заплатят, что-нибудь приобретут для бедных детей или устроят что-то замечательное для слепых. «Она познакомилась с ним в «Чашке чая», — рассказывала о ком-нибудь мама Калерии, и в словах этих крылось столько обольстительных надежд в будущем! Ключи счастья.

А крестили ее «Чашкой чая» в проливной дождь и несли в фаэтон на руках. В тот день верховодила в кафе сама мадам Бурсак, чьи романы не давали покоя даже невлюбчивым пожилым матерям семейства. «Бурсачка!» — называла ее матушка. И вот взглянули на Калерию живые, такие кошачье-открытые глаза Бурсачки, и вот она тут, посреди всех, в обществе, и музыканты косятся на ее ножки, и ждет она, когда войдет какой-то прекрасный господин и скажет, быть может, восхищенно: «С вас разве пылинки сдувать! Как вас зовут?»

За три года много раз билось ее сердечко.

Была пятница, и она не знала, что Толстопят, когда шел с Бурсаком в кафе, повторял: это день Венеры, именно в этот день он воровал Калерию. С тех пор он ни разу ее не видел.

— Люблю, — говорил он и сам смеялся. — Страдаю. Уезжаю в лагеря на целое лето, и я должен знать, моя она или нет? Обещайте мне! Мое сердце принадлежит вам навсегда. Женюсь!

Он бешено заливался хохотом.

— Кого там убили недавно ночью, социалистов? Говорят, покушались на Бабыча?

— Когда-нибудь расскажу. Дай мне поглазеть на молодушек в «Чашке»!. Уж назвали бы «Рюмка», что ли. А то «Ча-ашка». Сколько у нас церемонности. А в Уманской грязь по колено... Женюсь!

Музыкой, белыми столиками, в самом деле предчувствием point des plaisances приветило их кафе. Был четвертый час дня, майское солнце только-только коснулось шелковых занавесок на широких окнах. В степи под Уманской, куда отвезут Толстопята завтра с казаками, не миновать жары, пыли, а здесь прохладно, чисто и тихо. На них, когда они вошли, взглянули две артисточки из малороссийской труппы, и Толстопят, выбрав столик поближе к ним, усаживаясь, сказал другу или кому-то вообще: «От юности моея мнози борят мя страсти». Бурсак понял его, тоже оглянулся на артисточек, и с той минуты те и другие, о чем бы ни говорили и как ни увлекались угощением, чувствовали чужое присутствие. Жаль было и уезжать!

Сестричка Манечка, с такими же темными, далеко расставленными, о т ц о в с к и м и, что и у Пьера и старших братьев, глазами, деликатно тихая, будто из кацапской семьи иногородних, обслуживала столики в глубине зала и стеснялась подойти к веселому братцу, не хотела даже, чтобы он наблюдал за ней и шевелил губами.

— Вот как вырос наш цыпленок! — сказал Толстопят другу. — Ну давно ли она спрашивала: «Мама, почему все государи умирают в Бозе? И люди умирают в Бозе?» И на́ тебе: невеста. Мне жалко: кто-то когда-то затронет ее, разбудит ночью. Всех прочих — пожалуйста, но мою-то сестри-ичку?! Убил бы. Посмотри, у нее и ножки как золотые копытца, а глаза! Всю бы жизнь и оставалась такой. Что ее ждет? Ма-аня! — позвал он. Сестра услыхала и тут же капризно убежала за синюю ширму.

Толстопят тряхнул маленький звоночек.

— Сон в лунную ночь... — сказал он. — Дема!

К ним шла Калерия.

— Кричи «караул!».

Но «караул!» был на лице Калерии. За шесть-семь шагов до столика щеки ее зарделись; в один миг будто вскрылись какие-то ее преступные чувства, и

в улыбке Толстопята уловила она ехидный вопрос: «Это вы на меня гадали поутру?» Ее замешательство заметили две артисточки. Скрипочка затянула «И все осмеяно, оплакано, разбито...». Мимо окна по Красной проскочил извозчик.

Бурсак вспоминал потом не раз, и особенно часто в Париже, как хороша она была в тот миг. Случаются в жизни минуты: увидишь барышню, и искрой падет на душу влюбленность. Наверно, сам великий князь облизывался в вагоне, глядючи на сочную мариинку. В ней невинность строгого домашнего воспитания сочеталась с будущей порочностью, точнее, с готовностью к соблазну. Поглядишь и украдешь. Толстопяту нужно это, чтобы кто-то вздохнул, когда он в знойный день на рубке лозы будет в лагерях под Уманской, чтобы сам он на закате, когда стоголосо рокочут лягушки или когда в воскресенье к казакам из станиц приедут с печениями и салом жены, поглядел на запад, где лежал за маревом Екатеринодар, потосковал с минутку по той, которая уступала его ласкам, пусть и ненадежным. Дема же повез бы ее к Бурсаковским скачкам, отгадывал, почему она молчит. Мочки ее ушей жидко просвечивались солнцем; согнутые пальчики цеплялись за белый передник. Дема вдруг застыдился глядеть на нее долго. Толстопят иронически, призывно выпрямился.

Калерия подошла к ним, насупилась, поздоровалась.

— Приятная встреча... — сказал Толстопят. — Опять я наговорю кучу petits riens[1].

— А вы не говорите.

— Но как? Я покоряюсь всему, что со мной случается.

Опять Толстопят гнул куда придется. Слова совсем ничего не значили.

— Очень жаль, — сказала Калерия, перевела взгляд на Бурсака с какой-то просьбой помочь ей избавиться от лишней болтовни друга. Вместо этого Бурсак подыграл Толстопяту:

— C'est la créature si exellente et si douce[2].

— Я обожаю ее всей душой, — ответил друг сразу ему и Калерии. — Но страсти для нее не существует. Так же?

— Что вам угодно?

— Все, что принесут ваши белые ручки.

Калерия зло повернулась и ушла на кухню.

— Она тебя слушать не хочет, — сказал Бурсак. — Ты желаешь счастья себе, а не ей.

— Такие мы все.

— Поезжай в Кисловодск. Там ты себе устроишь афинский вечер. К тебе прямо со сцены сойдет и сядет на колени афинянка. Едва ты ей скажешь: «А хорошо бы, господа, сейчас застрелиться перед зеркалом!» — она задушит тебя в объятиях.

— Вы, смотрю, все такие остроумные. Один я дурак.

Калерия поднесла им кофе и пирожки.

— Познакомьтесь с моим другом, — сказал Толстопят. — Дементий Павлович Бурсак. Он будет защищать меня в суде, — ведь я все равно уворую вас. Когда я дома один, я гашу свет, сажусь в кресло у окна, закрываю глаза и думаю: почему я не великий князь?

И так же, как первый раз, Калерия дернулась и пошла назад.

— Ты понял? — Толстопят подмогнул. — Мариинки, когда как-то приезжал великий князь, молоденький, бегали к нему на станцию в вагон. И она. Он подарил им свою фотографию. Великий князь — это так льстит!

— Нечего послушать, Пьер. Они же де-евочки. Твоя Манечка такая же.

— Они... — Толстопят хохотнул. — Когда они идут с мамой к Кубани, то сворачивают на Штабную, чтобы не видеть обжорку Баграта. «Что это за человек? Разве это человек? Он у Баграта за печенку танцевал!»

Бурсак вздохнул. Всегда с Толстопятом получался пустой разговор. Всегда. Дикая запорожская привычка брехать сколько влезет. Барышня, женщина не нужны и на мизинец, но казак будет приставать и хорохориться. Кого-то убили недавно ночью на Ростовской улице и, кажется, казаки 1-го Екатеринодарского полка караулили, куда-то вели, но разве допросишься у него? Он молчит.

— Что тетушка из Парижа пишет?

— Не пишет.

— Борщ а-ля мадам Бурсак! Это правда?

— На карте кушаний тюрбо так и стоит: «борщ а-ля мадам Бурсак». Счастливая. Прожила жизнь — и волос не расчесывала.

— Ce n'est pas si mal[1].

— Ужа-асный прононс, Петр Авксентьевич. Ты куркуль. Все мы, кубанцы, куркули.

— Сейчас бы boire du champagne[2].

— Неужели эти девочки когда-нибудь умрут? — мечтательно говорил Бурсак, удивленно, ласково поглядывая на Манечку и Калерию. Они то и дело подскакивали к столикам.

Через час друзья опустили деньги в кружку и вышли. Толстопят все дурачился.

— Я шел от тебя, дорогая моя. Как стали красивы дома! Как светло небо! И какая тишина в Екатеринодаре. До звезды слышно. Взберемся на каланчу?

— Ну, хватит, хватит, — унимал его Бурсак, желавший поскорее расстаться, пойти домой и почитать Цицерона. — Зачем казаку ломаться?

— Нет, постой. Подожди минуточку.

Бурсак ждал его полчаса. У воротец Екатеринодарской церкви сидели калеки, слепые, старики. Родственной улыбкой, крестным знамением, поклонами благодарили они за подаяния. У каждого на земле свой уголок надежды и утешения. Ходишь мимо них без души, бросишь копейку мужику с обрубленными руками и через несколько шагов уже перемина-

[1] Пустяки (*фр.*). Далее перевод с французского языка в сносках не оговаривается. — *Ред.*

[2] Какое несравненное и милое создание!

[1] Это не так уж плохо.

[2] Выпить шампанского.

ешь свои думы, все тебе мало от жизни, но не дай же бог принять такую же кару земную. Дема подошел к нищим и побросал им монеты в ладошки. «Храни тебя, сынок, заступница небесная, — отвечали ему. — Да пребудет счастье с тобою». На другой стороне улицы из открытых окон казенного дома торжественно вырывались звуки марша. Показался наконец Толстопят.

Он ступал широко, упрямо, и робкому надо было увиливать в сторону, иначе...

— И что? — недовольно спросил Бурсак.

— Ты ждешь, чтобы я доложил? Не будет этого. Я ей сказал: «Перед тем как ложиться спать, прикажите прислуге, чтобы проверила, хорошо ли заперта дверь и вправлена ли цепочка».

— Опять по-куркульски. Я начинаю понимать, за что тетушка так недолюбливает казаков.

— Не наших ли офицеров вынуждала твоя тетенька отстегивать шашки?

— Это на мгновение.

— Да куда денешься. Казак вырос на сале. Гонору у кацапов еще больше, а грехи те же. У Швыдкой мои казачки́ грешили открыто, а кое-кто из панов натиху́ю бежал в дом свиданий на Рашпилевскую. Все хорошие, как посмотришь.

— Для того и существуют приличия, мой друг. Все то же, но к а к.

Бурсака взял сзади кто-то за локоть. Еще не хватало: перед ними стояла пожилая ясноокая цыганка с целым табором девочек. Уже властно захватила она руку Толстопята и обольстила несколькими словами прозорливой лжи. Цветные юбки обступили его и не давали сдвинуться. Ему было невдомек, что пожилая цыганка подслушала их разговор. Он еще таращил глаза на ложбинки в вырезе платьев молоденьких девочек, а она уже сложила гадание и знала, как посмеется вечером за Бобровым мостом ее бородатый муж. Утром она выманила перстенек у барышни, нынче без красненькой не отойдет. Все просто в цыганской магии: она видела в глазах Толстопята желание испытать свою тайну.

— Вавилонская блудница на семи зверях сидела, знаешь? Тебя отравит дама своей любовью, — сразу же напугала она. — Слушай внимательно, тебе жить надо. Тебя отравит лаской женщина из богатого дома, двенадцать капель крови впустит в тебя, — понял, что говорю? Снимет цепочку с двери, заведет в свой дом, расстелет постель. Далеко от дома жить будешь тогда. Слышишь? Теперь я вырву твой волос. — Рука ее мелькнула у виска, и уже десяток вырванных ею волосков сжимали ее пальцы — Через полчаса они покраснеют, это твоя кровь. Ты возьмешь их с собой и выбросишь, понял меня? Выбросишь на дорогу. Оставлять нельзя — погибнешь от болезни. Заверни их в денежную бумажку. — Толстопят потянул пальцы к волоскам. — Подожди, достань в кармане денежную бумажку и заверни. Выбросишь вместе с деньгами и скажешь: «Рыба с водою, здоровье со мною». Я не возьму, это твое, мне не надо, здоровья желаю тебе. — Толстопят достал рубль и передал гадалке. — Ты не смейся, — сказала она Бурсаку, — не уходи, я тебе все скажу, тебя ветер унесет далеко, чужую землю целовать будешь. На тебе, красавец, вижу золотые погоны. Теперь заверни в красную бумажку, скорей, скорей заверни, поищи у себя. — Толстопят сунул помятый червонец. — Вот это как раз, держи крепче, не выпускай, понял? Заворачивай, заворачивай. Фу! — дунула она. — Нет твоих денег, дурак!

Руки Толстопята и руки цыганки были пусты. Вокруг него улыбался и уже отходил цветной девичий табор.

— Ша-ла-вала. Сэ номэ! Бу-бу! — кричали они на своем языке уже далеко, смеялись, оглядывались и опять смеялись.

— Карманы пощупай, — сказал Бурсак, — не вытащили ли они остатки твоего счастья.

— Кошелек здесь.

— И то хорошо. Она обучала молодых.

— Но глаза-а! Ты заметил, какие глаза! Такие глаза у твоей тетушки.

— Да ты волос-то выброси — болеть будешь, — посмеивался Бурсак. — На Свинячий хутор отвези. Не пожалей рубля на извозчика, уж больше потерял.

— Не жалко. Глаза!

— Рыба с водо́ю, здоровье со мною. Слушай! Во дворе реального училища орет осел. Обычно он орет в двенадцать дня. Жалеет тебя. Осел жалеет казака — это надо помнить. Напиши об этом случае Иоанну Кронштадтскому.

— Я б вам не советовал, панычи, гадать у них, — послышалось сбоку.

Около них на миг задержал шаг остроусый Попсуйшапка.

— Это хорошо, что на улице. Моя соседка повела на кухню молдаванку, а за нею следом и другие, по комнатам, а там одежа, три тысячи денег за зеркалом. Хотела памятник поставить мужу на кладбище. Ушли — и вот, извольте радоваться, пусто! Успели все забрать. Вот они какие. «Не зевай, Хома, на то ярмарка».

И бодро, самоуверенно пошел дальше, помахивая рукой, как в строю.

— Слышишь, что народ говорит тебе?

— А если любовь? — крикнул вдогонку Толстопят.

— Я тоже влюбчивый, но не гадаю. Вон на Новом рынке красавица Мокрина в юбке как у царицы, — чего на нее гадать? Она лучше цыганки поворожит. И винцом угостит.

— Ишь! — сказал Бурсак. — А ведь всего только и делает, что шапки шьет.

— Какой нынче день?

— Вознесение.

— Хо-о! — слышалось за домами понуканье Терешки.

— Ну, подурачился, и хватит, — сказал Толстопят. — Завтра вечером отправлять эшелон. Никто мне не нужен, Дема. Пусть их любят, прижимают, а ко мне само придет. Вот пошла. Кармен! Кармен с головы до ног. А я выберу такую, чтоб корову смогла подоить.

— Не зарекайся. Лучший роман тот, который ничем не заканчивается.

Из церкви все выходили и выходили.

— То ж был дьякон... — слышалось. — Как скажет — свечи моргают.

Мир жил своими интересами, и у каждой божьей души они были главными.

Мог ли Дема знать, что через пятьдесят шесть лет, в такой же теплый день Вознесения Господня он почти на том же месте вспомнит беспечное гадание и всего два-три, да и то, наверно, перевранных, слова своего друга, молоденького хорунжего Толстопята?

Да кто ж в молодости глядит в будущее!

Пока Терешка хокал на лошадей, Бурсак звонил архивариусу насчет канцелярских бумаг наказного атамана в 1891 году, Толстопят выгонял на смотр казаков перед штабным начальством, пока Калерия Шкуропатская спала под голубым шелковым покрывалом, Время настраивало свои башенные часы. Только они не знали, что оно принесет.

Через неделю Толстопят прислал Калерии пакет из Уманской. В пакете лежал помятый номер журнала «Солнце России». Калерия недоуменно перевернула несколько листков и на двенадцатой страиице нашла снимок великого князя. Молодой князь в форме лейб-гвардии... полка сидел на лошади и улыбался. Над головой его вихревым почерком была сделана надпись: «Дорогой маленькой шалунье Калерии с воспоминаниями о встрече на рельсах Черноморской станции. В. К. Б. В.». Числа нет. Калерия фыркнула и бросила журнал.

— Что за хам?! — сказала она громко, но ее никто в доме не слышал.

Мимо окон пробежали с криками городовые: «Держи бомбиста!»

ПОЛИТИКА

Что говорить: с 1905 года жизнь в Екатеринодаре заметно переменилась. В фаэтонах якобы случайно забывались на сиденьях прокламации; в щелку или в почтовые ящики совали записки с требованием немыслимой суммы на революционную борьбу, и, как часто выяснялось, записки выдумывали обыкновенные жулики, пожелавшие обогатиться в пылу ситуации; полиция вскакивала ночами в квартиры с обыском; извозчики тайно перевозили подпольщиков в явочные места; в окружном суде день за днем приговаривали арестованных к ссылке в Сибирь; поплатились холодной ссылкой и некоторые казаки.

До двадцати двух лет у Демы Бурсака не заводилось врагов. По натуре мягкий, жалостливый, он никому не смел противоречить в глаза; мелькавшие черные мысли о ком-то пугливо отгонял от себя, а если улавливал, что на него обижаются (или могли обидеться), то спешил похвалить человека; и даже когда обижался сам, не подавал виду, боясь своей обидой стушевать другого. «Ты, наверное, сердишься на меня, голубчик? — говорила ему тетушка. — Я вчера была не права и грубила». — «Ну что вы, тетя Лиза, — краснел Дема в юности, — я вас как любил, так и люблю», — хотя накануне не спал всю ночь и решался покинуть тетушкин флигель навсегда. Суждено бы Деме миновать на веку всяких злодеев, а в общественной жизни, на роли присяжного поверенного, снискать славу человека, осеняющего последнего негодяя речью милосердия. Но расколовшаяся на фракции и союзы общественная среда не хотела щадить бурсаковское милосердие.

Первые враги Бурсака подали голос из екатеринодарского отдела «Союза Михаила Архангела». Еще не начался суд над убийцами братьев Скиба, а через товарища прокурора, монархиста, союзники пронюхали: Бурсак будет заседать в качестве поверенного гражданского истца. Неизвестные Демины враги в короткий срок прославились в городе шумными скандалами. Какими были союзники там, в Петербурге, Москве, в Одессе, — бог ведает, они далеко; в маленьком Екатеринодаре, где все слышно и видно, по изволению рока скучилась одна крикливая бестолочь. Такая ли тут была сроду закваска или мало еще наросло интеллигенции? Или союзников кто-то нарочно провоцировал? Темна вода во облацех. Быть может, сплотились где-то патриоты, готовые умереть за честь православия и царский трон, — странно, если бы их не было. В Екатеринодаре союзники мешали самому генералу Бабычу умиротворять область. Каждую неделю они звонили, писали, требовали: когда городская власть отменит запрет на патриотические манифестации с трехцветными флагами? Обвиняли: всюду предатели, а вы, господа, хлопаете ушами. Под золотою митрою архипастыря, доказывали союзники, скрываются предательские мысли. Настанут антихристовы времена: не будет в стране Владимира Святого императоров, и на трупах взберется конституция. Россия погибает. Виновники наших бедствий унизили православную веру, на далеких маньчжурских полях зарыли военную славу, богатство разбросали по шпалам Великого Сибирского пути, забрали в свои руки торговлю, науку, печать. Бабыча союзники пугали письмами к царю. Суды обратились в места оправдания всякого беззакония. Городская власть трусит стать на нашу сторону. Повели, повели, государь! Копье Георгия Победоносца насмерть пронзит гидру.

Из Москвы, Петербурга газеты несли свои крики. Писали: людей, которые занимались спасением страны, никто не понимал, и они страдали в одиночестве. Предупреждали: никакие ужасы прежних восстаний не сравнятся с тем, что произойдет, когда рабочие и крестьяне объединятся в борьбе против правительства. Все потеряют меру дозволенного, кровь превратится в красную воду. Царь призывал хранить заветы русские: верить в бога и в великое будущее России, государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.

Церковники не отставали от светских прорицателей. Проповедовали: смысл спасения указан в Евангелии. Что делать? что делать? — слышится в обще-

стве. Вот что делать: умирайте, если нечего делать, или живите в деле. Настанет время, когда все сильные и здоровые почувствуют, что им пора отделиться от слабых и больных и спасать свое бытие от общего разложения. Лопатой, отвевающей сор от зерна, явится это чувство самосохранения. Беспощадно нужно гнать от себя всякое тление, отовсюду гнать бездарность, бессовестность, тунеядство и прочее. Снова, как во времена Иоанна Крестителя, который обещал спасение только праведным, люди нуждаются в восстановлении не самого общества, а самих себя. Внешнее строится по внутреннему, и если обеспечен идеал жизни в сознании и воле, то и внешняя жизнь сложится совершенной. Если зерно таит внутри себя жизнь, то она непременно разовьется в корни, в стебли, в красоту благоуханного цветка. И тогда, и теперь — всегда были люди, покорные богу в своей душе, и такие люди живут, почти не нуждаясь в услугах внешней власти.

Так писали, так говорили.

— Офицеру не к лицу путаться с газетными писаками, — повторял Бабыч свою простенькую мысль. — Отдать приказ по войску да в Анапу... Хоть отдохнуть...

QUEL VIN — TEL AMOUR[1]

В Анапе в августе того же 1908 года Дема Бурсак впервые влюбился. Уже по дороге к Тоннельной, еще не потеряв из виду волнистые горы, он оглядывался назад с потерей, а в Екатеринодаре, ставшем вдруг скучным и ненужным, сходил в одиноком молчании ночи с ума оттого, что короткий его праздник кончился. И навсегда. Второго такого же чуда не бывает; можно еще где-то увидеться, провести вместе тайные часы, но то уже будет другое, без неожиданного вознесения на крыльях. Но и встречи больше не будет.

«Dieu sait comment et pourquoi[2]. Уже конец. Права моя тетушка: la plus belle fille de la France ne peut donner plus que ce qu'elle a[3]. Она дала мне все, но на миг. А теперь где она? Счастье прошло».

Он влюбился не сразу; дома, в городе, внезапно все потеряв, он любил ее чище и долговечней, нежели у моря. В Анапе примешивалось к их укрытиям и прогулкам что-то курортное, дачное; сладостная отрава была уже в том, что надо было торопиться, обманывать тетушку Елизавету или день целый выжидать лунных наслаждений. Сбивали на флирт и тетушкины, как будто тонкие, проницательные, наставления и шутки: «Легко ли заставить сердце отказаться от того, что влечет его? Я сама была молода. Берегись женщины глупой, черноволосой и голубоглазой, говорят в Испании».

«Знаете, — отвечал в мае Толстопят на вопрос тетушки о том, зачем он украл барышню Шкуропатскую на извозчике, — выйдешь вечером на Красную, а там как кувшинки цветут красавицы; ты их всех любишь, и обидно станет: они цветут, а тебе чужие. Ну и сорвешься».

Мадам В. с собачкой Петрусь была слишком заметной в этой песчаной глуши.

Она благополучно жила в Варшаве, но скучала там ужасно и все более охлаждалась к своему богатому мужу, всегда расчесанному, щеголеватому полковнику. Муж берег ее репутацию на каждом шагу: после бала начинал еще в фаэтоне и продолжал затем в спальне нудно осуждать смелость ее разговора с тем-то и опасность сближения с фривольною дамой. «Оставь меня, я спать хочу!» — кричала она. Но муж принимался за другое: излагал причины, по которым им необходимо дать обед такого-то числа, пригласить к нему таких-то лиц и наперед знать, кто подле кого будет сидеть. «И некоторые нюансы, — добавлял, — относительно наших с тобой frais d'amabilité»[1]. — «Я знаю, как себя вести, — отворачивалась от него мадам В. — А по ночам мне хочется спать». Ее больше не прельщали Ницца; Женева, Корсика; тоска нигде не покидала ее. Все удобства жизни и развлечений (собственный дом, toilette de cour[2], рысаки, ложи в опере) только подчеркивали ее интимное несчастье. Ночью муж был ей противен. И она второй год отлучалась в глушь, рассеяться, как она писала тетушке Елизавете, в неизвестности и — это было ее страшной secret de cœur[3] — полюбить непонятно кого. В Анапе тетушка снимала дачу бывшего наказного атамана Маламы, дряхлевшего в Петербурге.

Поначалу Дема скучал и сторонился пестрого общества; тетушка же была неутомима. Она устраивала пикники, выезды в горы, в Су-Псех, к Серебряным Колодцам, играла в карты, пела на литературно-музыкальном вечере и даже провела в саду благотворительную лотерею-аллегри в пользу приезжих костных больных на Бимлюке. Но монотонные развлечения — та же скука. Ими всю зиму убивали вечера в Екатеринодаре. И тетушка, видно, придумала еще одно развлечение: свести племянника с мадам В.

Недели две Дема уходил к вечеру в гости к Пиленко, там слушал стихи вертучей, экспансивной дочери (позднее Кузьминой-Караваевой, а потом страдалицы матери Марии, монахини и патриотки), слушал ее восторги о Блоке, который ее похвалил и присылал даже письма и вспоминал злословия анапских матушек о ее беспорядочных романах: неужели то правда? До обеда он валялся на песке и читал «Афинские письма» (с автографом деда Петра на первом листе). Больше никуда не показывался. Так неинтересны были дамы и кавалеры вокруг: очень уж они наряжались к закату солнца, пленялись обычаем быть во что бы то ни стало остроумными и веселыми, выпячивали себя с каким-то неприличным старанием и, ничего впереди не предвидя,

---

[1] По вину и любовь.
[2] Бог знает как и почему...
[3] Самая прекрасная девушка Франции не может дать больше, чем она имеет...

[1] Издержки, любезности.
[2] Придворный наряд.
[3] Сердечная тайна.

вещали и пророчили на целые годы. Еще менее завлекало его, как екатеринодарские дамы переворачивали роскошные семейные альбомы, шептались о «выборе моего сердца», сетовали на скуку кубанских soirées causantes[1] и трогали пальчиками цепочки с бриллиантовыми крестиками. Недалеко от дачи Маламы, в саду, провалилась в кресло старуха с черными злыми глазами, с черными же под кружевным чепцом волосами и вязала что-то стальными спицами; костыль подле нее, ее длинный крючковатый нос, пухом обезображенные щеки наводили Дему на жуткие мысли: неужели эту высохшую ведьму когда-то любили, целовали ей колени, ей клялись? Он не пожелал бы себе такого долголетия; как страшно дожить до возраста мумии, когда все потеряно и уже незачем тянуться к солнцу! Не дай бог. Но он только подумал и тут же забыл, он еще не умел глядеть вдаль, да если бы и глядел, то что увидел? Счастье в нашем неведении. Тетушка сказала ему, что старуха эта, гречанка, ходит в церковь в нарядах, в гриме и держится там как молодая. «Mauvais genre[2], — прибавляла тетушка, — но, я читала, в одной барской усадьбе напудренные бабушки по ночам назначали у статуи Венеры рандеву. А в Анапе? Разве что на кладбище».

Анапа жила от лета до лета, а с первыми ветрами и до скончания холодных дождей сиротела, кушала хамсу и барабульку и давила вино. Кругом зияли пустыри. Мимо гостиницы «Приморской» уныло тянулся песчаный берег. «Кондитерская, два грека, — злословили, — да около сада бегают четыре собаки». Но зацветала сирень, курчавились за кладбищем горы, и — стук-стук — подъезжали и подъезжали фаэтоны. После дорожной тряски легко воспаляется чувство бирюзовой ласкою моря, белыми парусами, фигурками в сандалиях, в синих капотах. Там и тут торгуют угодливые греки в красных фесках. Лихачи предлагают везти на Бимлюк. Что еще нужно?

Когда Бурсак с тетушкой приближался по долине к Анапе, вдалеке, где-то над морем, вылупилось из тучек солнышко, покрыло мокрую дорогу и зелень своей всемогущей нежностью, и Бурсак подумал: как хорошо бы повстречать здесь душеньку. Те же мысли (но уже с обидой, что этого не случится) мелькнули у него в самой Анапе у кофейни; и потом на Высоком берегу над бескрайней водой, и потом еще в саду, когда принесла ему яблоки дочь садовника и сказала: «Их много-много, мы пудами сдаем в лавки, нас за это барин ругать не станет». Бурсак глядел вслед на ее босые ноги и думал: кто ее любит? И самому хотелось влюбиться до смерти. И обида на то, что этого не будет, погнала Бурсака в постель раньше восхода луны.

По настоянию супруги и ради детей выбирал на отпуск Анапу и наказный атаман Бабыч; именно в день его приезда Бурсак, поразвлекав мадам В. казачьими историями, спросил:

[1] Вечерние беседы.
[2] Дурной тон.

— А у вас что в Варшаве?

— Недавно была коллективная смерть.

— Из-за чего?

— Любовь. Молодые люди, три парочки, так полюбили друг друга, что решили покончить с собой. Каждый просил товарища или возлюбленную, не скажу уж, убить себя. Ужасная драма... но достойно зависти.

— У нас в городе погибают за идеалы.

— Что же это за идеалы, интересно?

— Свобода.

— Крамолы сейчас везде хватает.

— В Венеции вон арестовали некую графиню Тарновскую, но отнюдь не за крамолу.

— А за что же?

— Соблазняла богатых людей. Жила-была девочка, воспитывалась в Полтавском институте. Семнадцати лет вышла замуж за графа Тарновского. Салон, приемы, выезды в театр, желтые томики романов. Затем любовная связь с братом мужа, она его убеждает покончить жизнь самоубийством; а я, мол, буду чтить тебя как святого. Юноша повесился. Все наследство переходит в руки мужа. Но этого мало!

— Мало?

— Нужны другие. Брата мужа сменяет граф Толстой. И его она убеждает покончить с собой. Опять кто-то нужен, кто бы платил за ужин по семьсот рублей, за туалеты по пятнадцать тысяч в год. Муж стреляет в любовника, его, естественно, в Сибирь. Поезжайте в Венецию.

— Мне хочется быть в Анапе, — сказал Бурсак с улыбкой, — рядом с вами...

Гуляли они с ней вдоль пристани; публика провожала пароход «Великая княгиня Ольга». Маленькая мадам В. даже становилась на цыпочки, чтобы подольше видеть палубу, и Бурсак подшучивал над ней. Двое господ следили за ними.

— Tous vous prendront pour ma femme[1].

— Я не против.

— Ваши пышные волосы не дают им покоя. Глаза ваши к вечеру синие.

— Они вам нравятся? Ах, они поплыли в Италию, — отвлеклась она, все глядя в море. — О как там хорошо. Я шесть часов бродила по Помпеям. Это огромный гроб. Римляне жили на открытом воздухе. Представьте, входишь в атриум, и на полу надпись: «Здравствуй». Давно пропавшая жизнь приветствует вас.

Раз за разом Бурсак становился смелее и шутками пытался вызвать у мадам В., возможно, то чувство, с которым она засыпает. Тетушка возила их на целебный Бимлюк, и на обратном пути в сумерках, когда, кажется, светились только волосы продрогшей варшавянки, Бурсак спросил:

— В Варшаве il n'y a que des blondes, n'est-ce pas?[2]

— Ее волосам позавидовала бы любая русалка, — сказала тетушка.

[1] Все сочтут вас моей женой.
[2] Одни блондинки, не так ли?

— Я совсем не чувствую их тяжести...

— А так? — Бурсак с чувством давил на ее затылок.

— Сказала бы, но... — и мадам В. взглянула на тетушку.

— Я вплету вам в волосы пучок васильков.

— Они уже отцвели, Дементий Павлович, — сказала тетушка.

На руке мадам В. трогал Дема и бриллиантовое колечко, и все это сближало их на мгновение. «Уж не в память ли это какой дорогой слезы?» — подумал он ревниво.

— Как тебе cette jeune dame[1]? — спрашивала тетушка утром.

— Лицом? Elle est gentille, mignonne[2]. Видать, безответная. Elle n'est pas comme les autres[3] и необычайно проста. И вместе с тем grande dame[4].

— Женщина вполне хорошего тона. Горда, как полячка, но она русская. Да и наши казаки не без спеси. Ей скучно. А у моря даже чужие люди чувствуют себя далеко не чужими.

— Завидую, тетя Лиза, вашей фантазии.

— Фантазии там, где надежды.

— Вы думаете, они у меня есть?

— В твои-то годы и без надежд. Дё-ома! Я сама была молода, fraiche et bien portante... et elle a de l'imagination[5]. Никогда не была удовлетворена тем, что имела.

— На счастье ли люди сближаются?

— Об этом будешь думать в Екатеринодаре. Живи по сердцу. Не поощряй в себе минорных мыслей.

— Спасибо за добрый совет.

— Чтобы ты знал: она вышла замуж, как выходит большинство из нас. Услыхать от человека: «Вы для меня дороже всего в жизни, я всецело отдаю вам себя», — самая счастливая минута для барышни. Мужчины font toujours du sentiment[6]. Возят конфеты, цветы, ноты. — Тетушка грустно задумалась. — Там, впереди, что еще будет? Один миг, je suis heureuse aujourd'hui[7]. Скорей дожить до блаженного венца! И кажется, что отказать не-во-зможно, и предложение — большая честь. Ни в чьих глазах никогда не прочтешь того, что в этих. А потом... потом замужняя женщина вдруг! когда-то! в первый раз чувствует огонь поцелуя.

Лучшие дачи стояли на Высоком берегу, недалеко от старинного кладбища. Край стола — назвали Анапу греки ли, турки. Никому из дачников и в ум не сверкнет, что ходят они по костям. Вдали, книзу, за греческими харчевнями и магазинами, застревала в болотистых озерках Анапка; мимо дюн Бимлюка протопталась дорога на Витязево (греческая Анатолия), Джигинку, Старо-Титаровскую, разбегаясь потом к Темрюку и Тамани. Где-то у Витязева или поближе, возле бывшего азиатского рынка невольниц, отец нынешнего наказного атамана, по прозвищу Бабука, защищал от горцев пикеты. Во времена атаманства Бурсака, далекого предка Демы, Анапу отбили у турок на пять лет. А теперь Дема гуляет с мадам В. и говорит о графине Тарновской. С варшавянкой он со смирением читал на мраморных памятниках надписи, но все поглядывал на ее глазки, искал хоть какой-нибудь намек на интимный вечерок. Сочувствие чужому праху не отнимало жизни, в которой торопились успеть все.

— А вот... — подзывала мадам В. Дему к плите.

> Чем ниже, мелочней, ничтожней все земное,
> Тем выше ты в глазах моих...
>
> *(Гр. Растопчина)*

— Мужу от жены. И кажется: такая нежная любовь была у них. М-м.

— Неизвестно... — ответил Бурсак, нисколько не думая о словах мадам В. Она, верно, тоже не слушала его, она чувствовала лишь, как рука обняла ее плечо и не ради утешения, вздоха о скоротечности жизни, а со значением, с намеком, что он желает сближения. Сквозь какой-то туман Бурсак видел кресты и от нежности не мог взглянуть на мадам В. У нее чуть вздрогнули ноги.

— А вон еще... — тихо отнимаясь от его руки, сказала она и прошла вперед. И этот неохотный шаг вперед и походка ее были согласием, позволением идти за ней и класть руку на плечо еще и еще. Но Дема боялся вспугнуть ее назойливой откровенностью.

> Зачем же гибнет все, что мило,
> А что жалеет, то живет...
>
> *(Лермонтовъ)*

— Вы любите Лермонтова?

— Да, — сказал Бурсак. — Он написал о нашей Тамани. — Он давно не брал в руки Лермонтова, но зачем было принижать себя?

Перед закатом он неожиданно заснул. Сон спутался какой-то горький, и проснулся Дема сам не свой. Бывает так: откроешь глаза, а в окне последняя алая полоса, и вдруг станет горько, вернутся унылые мысли, с которыми ты прилег на минутку. И чего-то жалко, как будто проспал свой божественный миг! Не украли за этот миг за окном твое счастье, не пролетела ли высоко твоя жар-птица?

«Я в нее влюблен? — подумал Бурсак. — Что ж она не рядом?»

В гостиной разговаривали о Тарновской.

— Когда мы холодны к мужу... — говорила тетушка, — легко дать обещание в Берлине или в Париже какому-нибудь Прилукову...

— Но зачем заставлять его страховать свою жизнь на пятьсот тысяч?

— Мужчины должны выносить любое страдание, причиняемое любимой женщиной.

Мадам В. положила ему на веранде записку. С запиской в руках он и уснул.

«Madame V. espère que M. Boursak n'a pas oublié

---

[1] Эта молодая дама.
[2] Она славная, милая.
[3] Своеобразная.
[4] Светская дама.
[5] Свежа и здорова... она и фантазерка.
[6] ...всегда взывают к чувствам.
[7] Я счастлива ныне.

sa promesse de prendre part à la partie de plaisir d'aujourd'hui et ne se fera pas attendre»[1].

Слова светского обращения нужно было перевести дважды: с французского на русский и с русского на язык любви. Мадам В. благословляла его на нежные порывы.

Он уловил по ее лицу, когда вошел, что она ждала, волновалась. Что-то будет у них, но когда? Надо высидеть долгий вечер, развлекаться разговором, ужинать с вином, а после настанет минута растерянности и, если мадам В. сама не подаст знак, Дема простится и уйдет спать ни с чем.

Так и было. Три часа они ужинали с тетушкой, поднимали бокалы за анапское небо, «за воспоминания» и один раз, с шаловливого намека тетушки, «за блаженство любви».

— Правильно говорят: женщина всегда роман. Надо, чтобы каждую минуту жизни рождалось новое увлечение и ни одно не утрачивалось. Когда я была маленькой, мне подарили красивую вазу. И я ее разбила. Я плакала, а мама утешала: «Ничего, деточка, в жизни еще не раз что-то расколется».

— Я думаю, — сказал Бурсак, — с тех пор большего несчастья у вас не случалось? Тетя Лиза?

— Я прожила красиво. — Все грехи, казалось, таяли в озорной невинности тетушкиных глаз. Осуждать ее было бы так же напрасно, как ту цыганку, которая гадала у храма Толстопяту. — Мне еще рано носить чепец.

— Почему бы вам не выйти замуж? — спросила мадам В.

— В восемнадцатом веке за меня ответила одна маркиза: «Оттого не выхожу, что замужество вредно для здоровья. Брак на камне чистоты невозможен». Дети и без того забыли меня. Родная мать их ждет, а они из Ставрополя проехали мимо меня в Москву. Почему только в Ставрополе могу я быть приятной своим детям? Они меня стесняются? Их коробит? Чувств нет, только деловые отношения: мама, дай, мама, пришли.

— Призывайте в молитвах.

— Молиться, говоришь, Дема? Я была в Москве в храме Спасителя на двенадцати евангелиях. На выносе плащаницы стояла. Дед твой Петр молился, много помогло?

— Тетя Лиза, но вы сами...

— А кто мне запретит? Le meilleur de mon existence n'a pas passé[2]. Я же не солдатка времен императора Николая Павловича. У них должна быть жизнь, а мать занимайся табунами. «Как табун переведется, — пугают, — Бурсакова слава минется». Но я, слава богу, Гамбурцева. Я женщина. В эту зиму сколько лошадей погибло. За три версты на сто тридцать штук возили бочкою воду — много ее навозишь? Молиться, говоришь. Хорош мой племянничек? — вдруг переменила тон тетушка и косо заглянула в глаза мадам В. — Нос только горбинкой, но это и оригинально. Серые глаза. А пробор. Ты чересчур мажешь волосы.

Мадам В. поглядела на него с умыслом. Она словно должна была сказать тетушке, что месье Бурсак скоро будет у ее ног, но промолчала, конечно.

— Как хорошо теперь в Париже! В мае Париж был весь лиловый от цветов.

— Тё-отя Лиза... — укорил ее Дема. — Весной хорошо и у нас. Со всех заборов свисает сирень, дворы в сирени, площадь вокруг Александра Невского собора усеяна ромашками. И такие же лавочники-персы кричат: «Восто-очный сладости!» Приезжайте, — сказал он мадам В. — Ну, конечно, в Екатеринодаре нашей тете некуда ходить в шелковом платье с вырезом «en cœur»[1]. И для кого медальон с черной жемчужиной, кольца и портбоннэр на руках?

— Через нашу Кубань и малый палку перекинет. Река рядом, а ее не чувствуешь. А Сена!

— И нету в Екатеринодаре портных.

— Мой племянник язвит. Не придет ли моя очередь? — Тетушка перевела взгляд с Бурсака на мадам В. — Я наворожу.

— А уж так хорошо тому жить, кому вы ворожите! — сказала мадам В., и Дема подумал, что у них есть от него вечерние тайны, впрочем, простые, наверное.

— Да. Если у кого-то хватит смелости вплести в косы дамы пучок васильков. — Тетушка засмеялась.— Или тому, кто похищает екатеринодарских барышень в черкесском стиле.

— Кто же это? — спросила мадам В. — Кто, кто?

— Наш беспокойный Толстопят. Не знаю, как он справится со своим горячим темпераментом в Петербурге. Если его туда заберут.

— Он в Царском Селе?

— Будет, будет, — сказал Бурсак.

— А почему вы не пошли по стопам родных?

— Он слишком нежен для военной службы. Ему по душе мирить людей. Советую вам записаться в поклонники его таланта. У нас недавно убили максималистов. Готовили покушение на Бабыча.

— Это еще вопрос, — поправил тетушку Бурсак. — Дело темное. Скорее всего провокация жандармского полковника. Так проще заслужить повышение в чине. Пред ясными очами начальства неплохо бы выдобриться, когда пресса рычит: казнить всех на месте, чтобы не было у виновных надежды на жизнь хотя бы на каторге. Творить из ничего и приписывать себе славу верности престолу. Впрочем, дело темное.

— Ах, идет куда-то Россия-матушка. Когда это на памятники царям вешали хомуты?! Такого бы-ыть не могло! Взобрались на памятник Екатерины Второй и повесили ей на шею хомут, представляете?

Бурсак слушал и не внимал гневу тетушки.

— В то время как супруга полицмейстера капризничает: «Что же мне на балу без серег быть, что

[1] «Мадам В. надеется, что г-н Бурсак не забыл свое обещание принять участие в сегодняшней вечерней прогулке и не заставит себя ждать».

[2] Мое лучшее время еще не прошло.

[1] Сердечком.

ли?» — старый казак, Георгиевский кавалер, пишет жалобу в станичное правление, — ему крышу крыть нечем. Что же вы хотите? Мир гораздо шире и длиннее Анапского побережья.

Тетушка встала и вышла. Без нее они как-то оцепенели в молчании; они столько просидели ради этой минуты, и она вдруг стала тягостна. Дема мысленно звал тетушку назад. Мадам взглянула на него и тотчас опустила глаза. И так же, как на кладбище, когда она отняла плечо, Дема почувствовал ее согласие на то, что тетушка провозглашала в тостах. Ее худое личико пасмурно светилось и призывало к себе.

— Я замечаю, — начал Дема, — что vous avez le vin triste. Отчего вы грустны? Quel vin — tel amour [1], так?

— М-м? — не нашлась мадам В., но с волнением покачнулась на его голос.

— Нет, вы скажите, — вдруг расхрабрился Бурсак, — quel vin — tel amour, avez-vous l'amour triste? [2]

Она повертела бокал на столе.

— Oui, j'ai l'amour triste. Et vous? [3]

— Vous, qui asez la jeunesse, — продолжал говорить Бурсак по-французски, так ему было легче, — la richesse de beaux yeux, avez-vous l'amour triste? [4]

— Oui, oui [5], я же сказала.

— За что вас наказала богиня любви?

— Я у нее не спрашивала.

— Ах, она нехорошая.

— Можно любить человека и не быть счастливым возле него.

— Всегда ли нужна взаимность?

— Ах, ну где же ваша тетя Лиза? — Она обернулась в ту сторону, куда вышла тетушка. — Ее правда называют у вас *сказкой города*?

— Ну... каждый в это вкладывает свой смысл. Знаете, как король Лир: каждый вершок — король. Так и она: каждый вершок — женщина. Мой дядя был слишком казак, и за тонкими чувствами она кидалась к другим.

— Я ее понимаю, — сказала мадам В. — Мы томимся: любовь! молодость! счастье! И долго ждем. И вдруг — поздно.

— Поздно? В ваши годы? — Бурсак не добавил: «Вам всего двадцать семь». — Mieux vaut tard que jamais [6].

— А по-моему, mieux vaut jamais que tard [7].

— Что у вас за притчи такие?

Мадам В. могла, но не хотела рассказывать свои тайны. Еще было не время; там, где-нибудь на берегу, когда будет не видно ее глаз, она скажет ему все с той простотой и облегчением, которые приносит желание близости. И они встали и поскорей, чтобы не окликнула тетушка, вышли через сад к берегу.

Луна уже выбросила на воду белую дорожку. Бурсак обнял мадам В. и поцеловал в висок. Она в ответ взяла его за руку и повела вдоль кручи, уже обещая ему в укромный час что-то волшебное.

— Муж много старше меня, — заговорила она смелее и громче, словно оправдываясь в маленькой вольности. — Ухаживал за моими ножками три года. Вдруг как-то приехал и позвал замуж. Папа дал согласие. Была помолвка, он уехал. Иду я по Киеву (я из Киева), такая тоска, такая тоска. Не могу понять: все кажется, как мечтала, почти любила, но тоска, тоска.

Бурсак, жалея ее больше, чем она себя, ласково перебирал пальцы ее левой руки.

— Я часто вспоминаю один детский случай. В то лето я жила на даче у бабушки. Приехал к нам родственник, пожилой, высокий. Вынул из пакетика леденец в золотой бумажке и сказал: «Кто первый добежит до фонтана и вернется, тому конфеты». Мы, маленькие, побежали со всех ног. Я очень старалась, кого-то толкнула, упала, опять побежала, и леденец достался мне. Я его схватила — и в сад. Но я очень устала, мне не хотелось уже сладкого, и уснула на траве. А когда проснулась, то леденец растаял под солнцем в моей маленькой руке. Вот так и с первой моей любовью. Я очень устала. Я слишком долго ждала, я измучила свою первую любовь...

Бурсак глупел от ее глаз, поддавался ее настроению и со светской меланхолией, в лад ночи и в лад каким-то героям книг, уж конечно не толстовским и андреевским, многозначительно ронял:

— Для счастья одного дня мало.

— А где искать вечного?

— А что, если бы вам сказали наперед: сегодня последний день в вашей жизни?

— Последним днем я бы сделала тот, в который бы убедилась, что любима так же, как сама люблю.

Уже много было разговоров, и утром голова была пуста, и ему казалось, что мадам В. выдумывала свои рассуждения с тою же привычкой, что и другие, у кого вся жизнь уходит на разговоры, встречи и тоскливые ожидания чего-то. Но мысли эти он тут же забывал — не дай бог, они еще расстроят ему приятные надежды.

У того места, куда прибрели через час, у тех самых каменных Русских ворот, где было когда-то пусто, потом, может, гуляли греки, потом бились турецкие смельчаки, где при атамане Бурсаке взвился кейзер-флаг, знак русского владычества, куда Бурсак никогда больше не приезжал, он во тьме поцеловал ее. Через пятьдесят лет она, снимаясь у этих ворот на память, вспомнила, что он сказал тогда: «Вам хорошо со мной, мой друг?»

— Между нами не дружба, а любовь, — ответила она.

Поздно ночью они расстались в саду, уже обрученные своей тайной. Всю неделю Бурсак теперь ожидал ее в сонный час под Высоким орехом. Они хитрили перед тетушкой: в одиннадцать часов, по обыкновению, прощались, Бурсак в своей комнате гасил лампу и лежал до половины первого, думал только о

---

[1] Вы грустны... Какое вино — такая любовь?
[2] По вину и любовь, вы грустны?
[3] Да, мне грустно. А вам?
[4] Вы, такая молодая, богатая, с такими прекрасными глазами и у вас грустная любовь?
[5] Да, да.
[6] Лучше поздно, чем никогда.
[7] Лучше никогда, чем поздно.

том, как бы не уснуть. Потом тихо выбирался в сад. Уж тетушка спала. Ночи настали безлунные, и в потемках, натыкаясь головой на ветки яблонь, было опасней идти в угол, но зато с какой страстью ловил он ее мягкий шорох, приближение. Она всегда опаздывала минут на десять. За одни минуты ожидания можно было ее помнить всю жизнь. Бурсак звал ее шепотом поскорее выходить из комнаты, заклинал тетушку молитвою не пробуждаться. Он, кажется, слышал, как мадам В. тихо спускалась с порожек дачи. Еще две-три минуты, и она тенью возникала рядом, прижималась к нему, чуть дыша.

— Сто лет назад Шопен предсказал нашу ночь! Если мы будем в санатории «Во имя Христа Спасителя», я тебе сыграю эту пьесу.

По утрам теперь тетушка спрашивала его:

— Comment va ton amour?[1] Ты уже герой ее романа?

— Я выполняю вашу волю: развлечь ее, — лгал Бурсак.

— Elle n'a pas le vin triste comme je vois, mais elle est folle. Alors, c'est sérieux? Ну что же, les sentiments sont permis à tout le monde[2].

— Вам было приятно, когда доктор Лейбович привозил каждое утро букет резеды?

— Il n'est pas jeune, mais il était charmant[3]. Полюби, но постарайся никогда не встречаться с ней.

— Почему?

— Для сердца все великое — первое. Пусть останется в тебе преклонение.

На прогулках с тетушкой и ее знакомыми они с мадам В. нарочно шли поодаль друг от друга. Раз на бульваре графа Гудовича повстречала их чета Бабычей.

— Отдыхаете от циркуляров?

— В Анапе — слава богу. Отдохнуть да почитать... — Бабыч показал обложку романа Болеслава Маркевича (любимого, кстати, автора царя Александра III), который, видимо, читала супруга, и какой-то на немецком языке.

Моложавая супруга Бабыча незаметным сдавливанием его локтя торопила отойти. Даже в штатском — в малороссийской вышитой рубашке, в белых брюках — он сохранял важность особой персоны, которая стоит в Кубанской области выше всех. Почти пятьдесят лет служить в казачьем войске, а теперь держать булаву — еще бы! Был ли он хозяином в своем собственном доме, или там уже возносилась его стройная жена? Этот казак с седыми усами и короткой бородкой мучился ли своей старостью или закрыл глаза на связь супруги с инженером по особым поручениям Батыр-Беком? Житейское сильнее всякой власти. Пока генерал распутывает донесения жандармского полковника Засыпкина о максималистах, убитых помощником полицмейстера, у супруги много времени для удовольствий. Все так же, наверное, и в семье мадам В. А очень, оказывается, приятно, когда кому-то изменяют ради тебя. И ты впервые в роли обманщика и нисколько не казнишься. Премудро устроен свет.

[1] Как поживает твоя любовь?
[2] Она не грустит, как я вижу, но она безумна (брр)... Значит, это серьезно?.. Каждый имеет право на чувство.
[3] Он не молод, но он был очарователен.

— Ему шестьдесят пятый год, — сказал Бурсак своей подруге. — Жена моложе его лет на двадцать.

Он посмотрел на нее с улыбкою и подумал: «А ты старше меня, и я тебя люблю, и ночью мы опять будем в саду».

— С тобой je sius très heureuse[1], — сказала она.

Даже не верилось, когда он шел по бульвару графа Гудовича, что безумие ночей досталось ему. Был бы здесь Толстопят — на роль соглядатая перешел бы Бурсак. Случай избавил его от соперников, ему не пришлось состязаться, переманивать взглядами, проклинать свой острый нос, врожденную робость свою и с болью убеждаться в какой-то миг, что дама его сердца успела обменяться шепотом о часе свидания и уже стоит на берегу рука за руку. «Сегодня... в углу сада... в полночь...» Толстопят поклялся бы приехать в отпуск в Варшаву, наговорил сто коробов и через неделю все позабыл. Когда от женщины добьешься тайной горячей любви, хочется на трезвую голову подумать: что это? — une petite histoire amoureuse[2] или глубокое чувство? Отраден стыд наслаждения, но пусты без любви воспоминания.

Они уезжали в один и тот же день: он утром, она в полдень.

— В дороге прочтешь. — Она вынула из черепахового портмоне конверт. Бурсак с осторожностью принял. — А лучше в Екатеринодаре.

Однако он распечатал конверт под станицей Крымской.

«Отчего мне суждено было узнать это так поздно? Зачем судьба не избавила меня от многих бесплодных страданий? В то время как я привыкла быть одинокой в своей семье, она послала мне тебя. Для чего?! Чтобы испытывала потом мучительное раскаяние? Но судьба ошиблась. Я счастлива, я хочу жить; мне мил свет божий. Я прошлого не помню, или нет: я его не чувствую более, не хочу думать о будущем, мне хорошо сегодня. Когда я буду через время вспоминать тебя, печалиться, тосковать и плакать, то счастье будет со мной. Сейчас я могу любить только тебя. Чем отблагодарить мне тебя за миг твоей прекрасной любви? Я награждена твоими мимолетными признаниями, твоей искренней мимолетной нежностью. Я счастлива буду и в Варшаве. Прощай. Был ли ты? Была ли я? Прощай...»

Они прощались всю ночь. Тетушка послала ей в комнату графин вина «Изабелла». Внизу за речкой Анапкой клокотали лягушки. Последняя ночь! Они говорили по-французски, как в самом начале, когда проверяли чувство друг друга, — для первых признаний русское слово было слишком нагим, а теперь стало бы слишком печальным. Один раз всего заговорила она на русском:

[1] Я очень счастлива.
[2] Маленькое любовное приключение.

— Ой, не забуду, как я в первую ночь после свадьбы потребовала, чтобы прислуга моя ночевала у моей кровати. Привыкла! Она была уже в летах. Я не понимала, почему я должна остаться на ночь с мужем — одна. Что теперь от той барышни?

На тетушкиной даче под Елизаветинской Дема безутешно страдал от разлуки с мадам В., все слышал ее слова и воображал, как она тоже страдает без него в далекой Варшаве. В Анапе она ему не лгала, ей было с ним хорошо. Но он не знал, что уже в декабре, а потом в марте, в июне в Петербурге она также лгала веселому улану и говорила, как скучно ей было в августе в Анапе среди греческих кофеен и казачьих старых генералов. «Все познается в сравнении», — вздыхала она перед подругой на Английской набережной.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Любовь, любовь...

— Как це теперь на свете стало! — возмущался Лука Костогрыз в своей хате за ужином. — У нас в старовыну то ще такие парубки и не думали про девок. А девке и в голову не приходило с парубками водиться рано. Не так теперь: поужинали — и на улицу. Ходят мазать дегтем ворота за то, шо мать не пускает. А у Турукало сняли ворота, вынесли за станицу и там бросили. То трубу соломой набьют. Оце пойду в правление и, как шо не применит атаман плетку, тогда пойду до наказного и скажу: у нас батьки парубков распустили и правление распущенное... Ну, сперва до мастера заеду, надо ж папаху сшить.

— Ото лучше, — сказала жена Одарушка, стукая на стол чашку с варениками. — Та сходи к Мавре: сын уздечку брал, а Мавра принесла порванную.

— До Попсуйшапки пойду. Ай, не я буду, колы не засватаю его за Варюшу. Чуешь? — обратился он к внучке. — Ты у нас не иначе архиерея дожидаешься.

Попсуйшапка словно слышал те слова Костогрыза ранним утром. Он с некоторых пор вставал с одной мыслью: пора жениться! Пора заводить хозяйку, открывать мастерскую с вывеской и покупать свой угол. Стоять на квартире у швейцара городской управы Косякина — не то. В мебельном магазине Амерханова какие шкафы, столы, зеркала, а заносить в чужие стены нету никакого желания. На своем пороге и курится вкуснее. И с весны затосковал Василий. О том, кого бы крепко, на загляденье полюбить, он много не мараковал. Полюбится постепенно, а понравиться должна сразу. Была бы не слишком дурна видом, опрятна, а главное — добра характером и проворна в домашней работе. С красоты воду не пить, и, как рассказывают, ночные утехи пресыщаются, а добропорядочное чувство друг к другу — залог счастья до самой смерти.

Василий ходил по гостям, слушал, поглядывал на молодок и про себя отмечал, какие у девушки родители, братья, чем славятся, спокойные ли. Он всем был по нраву: аккуратный, вежливый, всегда в кармашке расческа, рассуждает не по летам ясно. С детства был он тем человеком, который принимает за святость все заповеди, внушенные ему молитвами бабушки, матери, их поведением; ценил Василий в жизни все устоявшееся, был до ужаса стыдлив. Однажды, еще мальчиком, дергая сено, выругался он черным словом, оглянулся и, увидев старшего брата Моисея, так перепугался, что месяц целый не поднимал на него глаз и не смел его о чем-нибудь попросить. Не было в 1906 году у Хотмахера лучшего приказчика, чем Василий; он ему доверял больше, чем родным братьям, посылал его в Ростов за картоном, ниткой, подкладкой. Глаза его будто выставлялись из орбит и говорили, что обманывать они не умеют. Любая за него пойдет и не охнет. Смуглый, на пробор расчесанные волосы, тонкие усы, веселая походка — жених! И маленький рост не смущал. Супруга наказного атамана принимала его как-то на втором этаже (пока генерал распоряжался городским головой) и допрашивала пристрастно: о какой жене он мечтает? «Так мы вас женим!» — пообещала она. Но куда уж! Это был просто минутный господский жест! Не ко всякому двору Василию вольно топтать дорожку. Разве пойдет за него благородная девица в платье с треном и поохотится ли за ним семья генерала, тем паче дворянская? Если бы он украл на извозчике Шкуропатскую, пристав Цитович через час затащил бы его в кордегардию кормить клопов. Не-ет. Даже покорный ливрейный лакей из Зимнего дворца не отпустит к нему свою дочку. Да и зачем, с какого благополучия? Век бы попрекали: мы тебя одарили, пристроили, вытащили из назьма. Он выберет себе невесту по возможности, — в том счастья больше. Состояние он наживет своими золотыми руками.

Его сватали всюду. Пожилые приказчики, швейцары, станичные писари, шабаи хвалились своими дочками, подзывали к столикам в ресторане Старокоммерческой гостиницы, некоторые переманивали к себе на постой. Василий мудрил, колебался. То оттолкнет его интерес нечищеная селедка, которую мать ставила на стол, — это значит: такая и дочка? То покажется семья нечистой на руку; или неразговорчивой; или скандальной. А то и национальность спугнет: трудно ломать себя, двоиться; у них свои обычаи и кушанья-то на столе не те. Лучше по-православному. В Елизаветинской уж было присмотрел дивчину, да спасибо Терешке.

— Хо! — зычно заорал тот. — То лодыри. Пока мужик в череде скотину пасет, сама на койке валяется, а к вечеру, как увидит, с горы от могил коровы идут, за цапку. Он гонит стадо и кричит: «Да будет тебе полоть, уже отдыхай!» И дочь будет такая. Лучше ниточницу пожалей, такая, как игрушечка, она по дворам нитками, чулочками торгует. Купи ей у Леона Гана духи пахучие, а я завезу для первого разу.

— Не-ет, ее перс в баню Лихацкого водил.

— Ну тогда выбирай с граммофоном! — злился Терешка. — Их две. Одна заводит, а другая в шкапу

прячется. Она с ним за ширму ложится, а та граммофон настраивает. Он же пиджак оставил, и, пока граммофон шумит, она тебе карманы обчистит. А тут стук в дверь! Ты за ширмы — да на двор. Бери, с такой не пропадешь. И будете вдвоем обчищать. Ну, чего?

— Прошло, Терентий Гаврилович, то время, когда я на удочку попадался. Один раз было со мной, и с тех пор зарекся. Да и то спьяну. Хотели с девчатами погулять у Швыдкой четыре года назад. Молодые ж, организм требует. А тут полиция. Кто-то из приказчиков сбил фуражку с крючка, а он орать: «Тебе за царский герб попаде-от!» А казаки, что танцевали в зале, с Первого Екатеринодарского полка, выскочили и чуть не поубивали нас. Услыхали ж «царский герб»! Так я бежал кварталов шесть. Срам. И наутро в церковь пошел. Не нужны мне «водовороты страсти» и «рабыни веселья». — Попсуйшапка напомнил Терешке названия картин в электробиографе «Бонрепо». — С какого благополучия? Не нужно. И не нужна вдова на Садах. Класть ее денежки в свой сундук — упаси бог.

И вот подвернулся однажды Лука Костогрыз. Померили его голову, побрехали от души, и так жалко было расставаться, что сплотились идти вместе в баню Адамули. Полезли в «дворянскую», на второй этаж за двадцать копеек. Банщик на одной ноге, герой турецкой войны, подносил прохладное пиво прямо к тазам. Много ли надо было пропустить в старое время, чтобы развязать языки! И трех кружек хватило: позабыли про дом и пошли париться в другой раз. Тут, прикрывая срамоту тазом, подоспел к каменным лавкам Терешка.

— Зайди, Василь, сзаду поелозь ще, — давал старик Попсуйшапке терку-мочалку и поворачивался спиной, руками упирался в лавку. — Почеши шкуру старого мерина.

— У вас и кожа еще не висит, вам жениться можно.

— А то й! Рано ще. Годов несколько погуляю, тогда и выберу дивчину. Возьму ту, шо в церкви у нас молится: «Свята Покрова! — просит. — Покрой меня хоть ганчиркою, та щоб не осталась девкою, — бо была я на плантации, так поганый сон видела».

— Ой, Лука Минаевич! Я отдыхаю с вами. Вы б и сказали той девке: зачем ей на плантацию к грекам ездить за вздутым животом, она б почаще в шапошную мастерскую приходила, мы ее без очков увидим.

— Свята Покрова уже помогла ей: мальчика родила, а от кого, ей-богу, не скажу. Под лопаткою продери.

— Пойду и я в церковь, попрошу себе невесту.

— Приезжай к нам в Пашковку. Ты б на мою внучку глянул: та такая вертучая, та красивая, та умница: и деду носки связала, и на зингеровской машинке платьев настрочит.

Внучку ему жалко было: двадцатый год, пора! Сам он свою бабку взял шестнадцати лет, несколько фунтов пороху постреляли, провожаючи молодых в церковь, и ведер двенадцать очищенной водки выпили — столько казаков гуляло! И не поспел до свадьбы поночевать с ней на сеновале, попривыкать друг к другу. Такое заведение было у черноморцев: парень валялся на сене с девкой по-честному, и мать с отцом знали, но не боялись, потому что и сами они так привыкали, и мать его девкою легла в законную после венчания ночь.

— Приезжай, я тебя пчеловодству научу. Будешь, как садовод Самойленко наш, жить. Слыхал, как он столы накрывает?

— Мне брат Моисей рассказывал. Брат мой, Моисей Афанасьевич, в войсковом оркестре играл, и вот Самойленко пригласил хор. Так брат каждый праздник сгадывает, как Самойленко весь хор угощал и все было цело, будто не пили и не ели. А гуляли три дня! Добрых тридцать человек. И спали у него. Хозя-аин.

— Женись на моей внучке, и ты станешь хозяином. Грамоты большой не надо.

— Я за три копейки у дьякона учился, — сказал Попсуйшапка и понес таз в раздевалку.

— Эй ты, шестерка, эй ты, половой! — покрикивал Костогрыз следом. — Подай нам бутылку с белой головой. Хороша баня. Закажем ще пива. По кружке.

Он сел на лавку, вытянул худые, с большими когтями на пальцах ноги, медленно, словно выдавливая, обтирал себя полотенцем. Усы его свернулись в подкову.

— Ай и пар! — вошел и Терешка. — У Адамули не хуже, чем у Лихацкого.

— Спасибо тебе, Василь, — сказал Костогрыз. — Напарился, как в Петербурге. Не ты б, я бы налил в корыто и плавал в хате. За три копейки у дьякона учился, а все знаешь.

— Да, Лука Минаевич, за три копейки.

— А мы внучку свою забрали со школы и рады. На шо ей учиться? — спросил он мужика, застегивавшего верхнюю пуговицу на рубашке, и продолжал: — Шо оно понимает в шесть лет? Одарушка моя ругалась: «Оно ще головы не расчешет само — куда? Какая там учеба? Пускай ото сидит дома, вяжет. Ей на службу не идти. Учат там «Отченашу», так тому любая мать дома выучит».

— Борщ хорошо варит, и ладно, — сказал Терешка.

— Колы внук Дионис в школу по грязи ноги таскал, я его спрашиваю: «Ну, чему вас там учили? Шо вы читали?» — «Про лисичку та зайчика». Шо це за диво? — уже полгода, а ни молитвы, ни заповедей не дают, все лисички, та зайчики, та волки. Школу закончит, а «Отченаша» не будет знать. Ще месяц проходит. «Ну, про бога читали шо-нибудь?» — «Не». Я поскорей надеваю кожух та до учителя. Я тебе, думаю, закудкудахтаю! Вылаял я батюшку и его, но потом вызвал меня атаман и матом перед открытым портретом государя кроил. А я в Петербурге и грамоте, и кой-чему поднабрался, и такую ему пулю отлил! Учеба. Знаешь, кто враги внутренние и внешние? Титул государя? И ладно. С какого ты года, Василек?

— С восемьдесят третьего, — бодро ответил Попсуйшапка. — Село Новая Водолага. Я под тем местом родился, где крушение царского поезда было в восемьдесят восьмом году.

— Я ж вместе с тем поездом падал, — сказал Костогрыз и встал. — Во! — пощупал он хрящ на руке. — Батьку-царя везли из Крыма, покойного Александра Третьего, царство ему небесное.

Все двадцать лет колокола звонили 17 октября в честь чудесного спасения царской семьи от гибели. Лука Костогрыз не мог без слез стоять в церкви на молитве: бог спас его.

— Да будет мне бог судьей, — сказал он, крестясь, — если я говорю неправду: я сам видел, как после спасения деревенские бабы лезли из-под кареты целовать царю и царице ноги. Карете не давали с места стронуться. Это я сам видел.

— А то правда, — поинтересовался Терешка, — что царь крышу вагона поднял на плечах и вылез?

— Шо здоровый был, монету сгибал пальцами, то правда. Дай-ка штаны надену. Це царица небесная нас спасла. А то б не давал я сейчас Адамули двадцать копеек на баню. Я в заднем вагоне ехал. Из пятнадцати вагонов уцелело пять. Царский вагон упал на насыпь, колеса отлетели, пол провалился. А крыша на насыпи, уперлась в нижнюю раму и прикрыла царскую семью. А кому я рассказываю? Вы казаки?

Костогрыз с важностью стал надевать штаны, и было понятно, что он больше ничего не скажет.

— То ж царь был. Всех в руках держал.

— Вас, казаков, наградил землею, а нам ничего не дал, — отозвался из угла иногородний.

— Наши батьки заработали. Как перебирались черноморцы с Запорожья на Кубань, моего деда в бочку стоведерную посадили — вот так и доехал он, а вы шо? Голопузые кацапы налетели как саранча. Служить надо.

— Вы служили и туркам дань платили, а когда мы служили, перестали платить дань.

— Вы, ребята, этими речами не ошибайтесь. За язык семь суток дают. Пошли, Василек.

Костогрыз угрожающе посмотрел вокруг и вышел. Мало ли, мол, какие у нас были цари, но он при них служил и медали от них получал. Нечего!

— Ступайте к нему чай пить, — проводили его репликой. — На тот свет.

Отчего-то захотелось троице отведать трактир Баграта.

— О, к чертовой матери, — закричал Баграт, — люблю героев турецкой войны.

— Це ще не герой, — сказал Костогрыз про Попсуйшапку. — Он ще на кордоне заместо гололобого татарина верблюда не стрелял.

— А-ха-ха. У меня тоже новый анекдот. К портному дама пришла на примерку. «Пожалуйста, снымай лыфчик. И эта штука снымай. Все снымай. Зачем крычишь? Абнымаем? Мы нэ тэбэ абнымаем, мы лыныя искаем!» К чертовой матери, вчера городовой Царсацкий рассказал. По гусачку скушайте.

— Давно я не пробовал у тебя. А старый друг лучше новых двух.

— Если она очень старый, то хуже. Охота молоденькую фэфочку. Молодому человеку невесту найду. Персу нашел, почему ему не найду? Баграт все может. Какой цвет волос? Талия узенькая? Прекрасная Елена, владычица сердец, ты будь... и...

— Мне хозяйка нужна, — хмуро сказал Попсуйшапка. — А не та, что карболкой на базаре травится.

— Мы ему такую выберем, — сказал Костогрыз, — шо вымя у коровы помоет, подоит и вытрет чистой тряпочкой.

— Кухарка у наказного атамана. Всегда кости будут, а? К чертовой матери. Выбирай!

— Не, не, — отпирался недовольно Попсуйшапка. — И ваших за ширмой трехрублевых тоже не надо.

Уже смеркалось. От Баграта они вышли по Екатерининской на Красную и у пожарной каланчи поглядели, как господа идут в «Чашку чая», затем пожали руку Терешке.

— Поедем в Пашковку, Василек! — настаивал Костогрыз. — Одарушка нам вареников поставит.

— У меня в бочке шкурки замоченные, Лука Минаевич.

— Ведь если допустить, что весь правый лагерь ошибается... — послышалось сзади, и Костогрыз с Попсуйшапкой оглянулись. Двое господ в шляпах разговаривали. «Шляпы не от Хотмахера», — отметил Попсуйшапка. — То неужели весь левый лагерь прав? Неужели интересы России на этот раз гораздо вернее понимают господа жиды, поляки, латыши, социалисты, русские и заграничные?

— Це пускай брешут, — сказал Костогрыз. — Оно нам не нужно. Поедем. Ну й напились мы с тобой. Один так же напился и заснул в канаве. А его, сонного, зачем-то из чебот вынули. Проспал чеботы. Мои на мне ще? Ще тут.

— Это у вас называется напиться? По стакану воды.

— Поедем. Подарю тебе оту старую люльку, шо у меня на стене висит.

В Пашковской у воротец хаты, сложив руки на животе, стояла в ожидании сухая, остроплечая бабка, жена Костогрыза.

— Фу! — сказал Костогрыз ей. — Слава тебе, господи, и тебе, Одарушка, шо по погоде до хаты дошел. Наша ж станица?

— Где ж вы были, шо ты так упарился?

По воспитанной в казачьей среде осторожности она не смела браниться открыто, а может, была малодушна, добра; в ее голосе было больше любопытства, чем строгости. Себе бы в жены мечтал найти Попсуйшапка такую же понятливую казачку.

— У Баграта задержались... — Костогрыз пошел по длинному двору.

— Лучше б пошел с внуками у концерт.

— У концерт? А чего я там позабыл? Один водит смычком, а все пораззявляются, как бараны на воду. Как бы он у меня в хате играл, а я бы лежал

та слушал, то оно б так. Той музыкой только кур скликать. Я лучше войсковой хор послушаю. Поднимусь наверх, казакам дам на водку.

— А це кто? — шепотом спросила жена в хате.

— А це шапошный мастер. А ну давай нам адамовых слезок та чего-нибудь на закуску мяконького.

Одарушка покорно захлопотала; достала из печурки серник, ткнула его в пепел припечки и, когда он зажегся, перенесла огонек к каганцу. Костогрыз, подняв крышку огромного ковнойского сундука, обитого жестяными полосками, провалился туда по пояс и что-то искал.

— Чего оно там лазит, чего оно там ищет? — запричитала Одарушка. — То оно не видит, шо там мука!

Костогрыз с громом бросил крышку.

— Медали мои мукой засыпали, ружья на вас нет!

— Они у тебя там лежали когда, медали те?

— Ты ж моя козочка, ты моя ясочка, не бурчи, неси нам скорей на стол.

Через полчаса Одарушка принесла на стол две мисочки сметаны, положила ложки. Не успели оглянуться — она выловила плетенкой из котелка вареники и так же в двух мисках поставила перед Лукой и гостем. Попсуйшапка следил за ее руками. Бросив по ложке масла и творогу, она прикрыла поочередно миски кружком, встряхнула несколько раз; затем взяла глечик, перевернула его донышком вверх и на него устроила каганец. Василий сидел как у себя дома в деревне, когда мать их кормила вечерами. Костогрыз заправил оселедец за ухо, крепко потер лысину ладонью, перекрестился и сказал:

— Просим! Нехай, как говорили паны-отцы, сам господь благословит на ядение и питие. Добре ты, стара́, сотворила, шо огонек близко подсунула, а то как мимо рота не пронесешь, то, может, заместо вареника какого другого зверя потянешь.

Красивая барышня-казачка с подобранной под шелковый платок темной косой спала в углу другой комнаты.

— Засватаем Василя! Тут один приглядывается к ней, но она на него и плюнуть не схочет. Так же, перепелочка моя? Ты спишь? А то я сам пойду по дворам жениться! Чего? Чем не казак? — Костогрыз встал и завертелся. — Хоть сбоку. Хоть сзаду. Кругом бравый казак. На вечерницах увижу какую бравую дивчину, то й моя!

— Ой и поднесу я тебе печеного кабака! — Одарушка взмахнула перед стариком чистой тряпочкой. — Расходился.

— А шо нам делать в чистой отставке? Засватаем внучку. Перекидай чарку, Василь. Чернобровая, свежая та полная, как луна. Где ни посей, там вродится. Перекидай чарку.

— Замуж идти, — сказала Одарушка, — надо коленкой сундук придавить.

— За приданым не станет. Пчелы есть. Она сиротка у нас. Дед, бабка, сестра та брат Дионис. Батько на японской голову сложил. Ой, к Дионису надо в лагеря. Ты ж пирожков спеки, Одарушка. Чего она там лежит? Вкупе почивать — оно теплее. И как мы с бабкой колысь: сама на дрожках, бисова душа, приехала.

— Боже! — Жена опять взмахнула тряпочкой. — Та ты, Лука, пришел как хомяк, глаза б не видели.

— Чего ж хомяком не быть, як такие штаны на меня надели. Батько весной отвез на степь, я там жил и ночевал. Приезжают осенью: «Лука, будем тебя женить. Пошили штаны и сорочку». А я, Василь, ходил в полотняной рубахе до пяток, штанов не было. И «тебя женить будем»! Ну-ну! За руку — и в станицу. Нарядили. Кого ж брать будем? «Та есть там Одарушка, она моторна дивчина, коров подоит, поприбирает, помажет все. И мастерица строчить воротнички на бешмете». — «Я ж ее не видел!» Едут дядько с батьком, и меня посадили на гарбу. Привели. Выходит она: худенькая, трошки рябенькая, известку колупает на печке.

— Понравилась? — выкрикнула из угла внучка. Голос приятный.

— А! До черта я там знал, понравилась, нет. Батько ж сказал: добра дивчина. Главное — штаны на меня надели.

— Привезли его, — перебила жена, стараясь в игре воспоминаний попуще унизить своего бывшего жениха, — я как глянула: а он толстый, морда потрепанная, сам недотепный. Штаны широкие, полотняные, очкуром подвязаны, а вот тут одна пуговица великая-великая, о бо-оже, не пойду за него. Не пойду, не нравится. Брат сзади толкает: «Иди, подлюка!» Посадили, повезли. А у них стога сена, коровы рачком стоят, в сене копаются. «Ой, боже, как тут хозяйствовать?» Гарба на трех колесах, коняка на трех ногах та хата, шо перекидается. И мать под церковью пряниками торговала — це ж позор для казачки! А под венцом кидал задки как жеребец.

— Я, Одарушка, целовал тебя потихоньку, шоб не напугать, а ты хватила меня как ужака лягушку. И положила на душистое сено, под образа. Глянул утром на старые иконы та вспомнил, шо надо ж завешивать. Ой, говорю, болит рука! Она: «Меньше ото будешь за пазуху хвататься». Ну, думаю, эта дивчина не будет плодовитей пчелиной матки.

— Забрали на службу, я сама в поле, оставил меня с двумя хлопцами.

— Сижу та думаю в секрете: лежит моя жинка на гарбе. Та не лежит ли с нею ще кто? Может, кто выкатил гарбу за станицу.

— Чтоб с тебя дух выперло. И тебе не стыдно, Лука?

— Мы, молодые, шо делали. Заснул казак с чужой бабой, — она на дворе спала, а мужик в хате. Мы выкатили гарбу на улицу, а они спят и не чуют. Да потом на добрую версту откатили — спят. Мужик утром глянул: а где ж гарба? Пришла баба: «Вон твоя гарба, выкатилась с моим мужиком и твоей жинкой, а ты сидишь!»

— Ох и проклятые казаки. А вредные! Казак лежит на возу, песни поет, а молодуха волов хворостиной погоняет.

— Штаны ж надели, чего ж. Отгуляли мы свадьбу три дня, я и говорю батьке: «А штаны ж надо снимать?» — «Будешь носить». — «Та как же — одни штаны». — «Раз женился — надо штаны носить». Так же, Одарушка? Ну, я спать, а вы сватайтесь. Соединяйтесь любовью и духом.

Наконец и внучка поднялась с койки, вышла какая-то хмурая, но сквозь недовольную улыбку поздоровалась с Василием и села у окна, вперлась глазами в темноту. Василий мигом обозрел ее всю, оценил: «Лицо круглое, чистое. Волосы каштановые, брови редкие. Росту умеренного. Ушки ласковые. И голос чистый».

Костогрыз на топчане бурчал во сне, смеялся, вздергивал порою руку.

— Шо с тобою? — подходила жена.

— Та це я заплющил очи и поехал до хаты, где батько с матерью свадьбу гуляли. Перед филипповскими заговеньями была та свадьба. Их посадили за стол, когда входит приятель Турукало и подает знак рукою: «На минутку!» Батько встал: «Зараз вернусь». И пришел аж на третий день. Щека разрублена, в левой ноге засела черкесская горошина, и трясла его лихорадка. «Я думал, шо скоро вернусь, не так вышло. Ну, ничего, зато две ружницы та шаблюка добра в очерети захованы». И мать моя видела своего Миная на масленую да на Велик день. Их никого уже, деточки, нема, черноморцев. Ось я ще живой. Никого нема. Та ще три моих друга, ну они помоложе: один в Каневской, один в Кущевской, один в Васюринской. В лагеря до Диониса-внука поеду, так проведаю по дороге и их. Никого больше. Если не веришь, Василь, то сними мою люльку и носи в кармане. Никого. То кресты носили на черкесках, а теперь сами под крестами лежат. Сватайтесь, дети, — закончил Костогрыз и опять задремал.

А Василий еще целый час сидел со старухой и внучкой, гордился секретами шапочного дела.

— За бараньими смушками надо следить... Мы храним в бочках, пересыпаем табаком, чтоб моль не поела. А все равно где плохо промыл, моль попадается. Это уже скандал. Генерал Бабыч приехал заказывать папаху, подают ему с десяток, он: «Попсуйшапку позовите». — «Какого?» — «Обоих братьев». Я вынес ему из шкурки тибетского козла, брат выкурил — слеза потечет. Бабыч остался доволен. А иначе как же? Когда родится бухарский барашек, его сейчас же заворачивают, оставляют только головку, чтоб матка полизала. Волос тогда вьется. Все надо знать... Дамского портного Рожкова знаете? У нас три шапки шил. Дом его стоит — угол Базарной и Насыпной, напротив кузнеца Вырвикишки.

Внучка наконец-то улыбнулась. Попсуйшапка твердил свое:

— В бильярд не играем. Некогда. Не тот товар, что лежит, а тот, что бежит, правильно? Приезжаю в Москву в магазин головных уборов Василия Егоровича Александрова и Макара Егоровича. Захожу. «Мне нужны донушки, — говорю, — для подкладки, и налобник сафьяновый, а на донушке чтоб печать — клише фирмы». А как же. У Макара Егоровича двуглавый орел, а у Василия Егоровича одноглавый. Адрес укажешь: Красная улица, семьдесят четыре, под гостиницей «Лондон». Сами отправляют. Хотмахер только меня посылает. — Василий выпрямился от гордости, по-хозяйски разгладил усы. — Ну...

— Запрягай, запрягай волов! — разговаривал во сне Костогрыз. — В Каневскую до Скибы... акафисты читать...

— Хороший у вас дедушка, — сказал Василий. — И ему папаху сошьем.

— Дорогая та папаха?

— Молдавского курпея до семи и десяти рублей. А до двадцати — каракулевая. А мерлушка, знаете, почему так называется? Мерлушка из того барашка, что умирает в утробе матери и родится неживым.

— Старый Бурсак прибыл с Запорожья с братом на бурых конях, — бормотал Костогрыз.

— А дом есть или на квартире? — спрашивала старуха.

— Еду я на ярмарку — у меня в каждой станице дом. И угощают, и спать положат, и будут приглашать еще. Важно человеку понравиться. С какого благополучия будут пускать кого попало? Вон Донченко или Горлач продадут лошадь, — она еле ноги волочит, еще и смеются: «А ты думал, я рысаками торгую. Я калеками и торгую». Хорошее далеко слышно, а плохое еще дальше, это ж верно? Мать мне наказывала: «Так живи, дорогой сынок, чтоб в каждой деревне у тебя был свой дом». В деревянной бочке никогда жить не буду. Как Чуприна.

— Какой?

— Где Рашпиля дом, — опять заговорил Костогрыз, — там мы уток стреляли, было болото. Потом там наказные атаманы жили...

Старуха укрыла его и опять села. Она же души не чаяла в Попсуйшапке. Такой молодой и такой здравый. И лицом удался: умные любознательные глаза, черные усы. Осанка уверенная. Двадцать пять лет от роду.

— Чуприну вызвали в суд свидетелем, а повестку не вручили. Аристотелиха, что солеными огурцами из бочки торгует на Новом рынке, подралась с Бонрепихой, хозяйкой электробиографа «Бонрепо» на Гоголя, возле дома Акритаса, помните? А Чуприна видел. «На какой же ты улице живешь?» — спрашивает судья. «Я, господин судья, живу на Новом рынке, под Бондаренковой лавкой, в сахарной бочке». Соломы наносил, стружки мелкой — яблоки распечатают, лимоны, апельсины, он заберет бумагу, вот его постель. А снег выпал в пол-аршина. Он в бочку — и спит. «Где твоя квартира?» — «Да моя квартира на Новом рынке под Бондаренковой лавкой в сахарной бочке». Хохот! Семьи не было, ни осей, ни колесей. Меня это не ждет.

— У них после обеда и чая руку целуют... — мешал им беседовать Костогрыз.

— Дела мои идут хорошо, — продолжал Попсуйшапка. — Косович всегда из своей экономии за мной тачанку присылает. Сам, если в городе окажет-

ся, ночует в гостинице Губкиной, где барышню Шкуропатскую офицер Толстопят держал, слыхали? Косович любит соус с почками. И меня угощает. Ему дома надоедает баранина, голубятина, у него голубей тысячи две. Приезжаю к нему за шкурками, так он всегда: «Скажите кухарке, что вы будете кушать, коровинку или голубятинку. Нет, нет, не пообедаете с дороги, товар не покажем. И водочки выпейте. Ничего, душа меру знает». Деревянный чан, в нем ведро с кипяченым молоком. Пей кто хочет. Жить можно, если люди уважают.

— Где ни хорошо, а надо жениться, — сказала Одарушка.

— Ну, ясно, — поднял в согласии голову Василий. — У нас в деревне, где я родился, поют: «Первая полюбила — кольцо подарила. Вторая любила — белу постель стлала. Третья полюбила — хозяйкою стала». Хозяйку и возьму. Чтоб не глядела по сторонам, а дома жила. В двенадцать лет у меня была барышня. А вторая — уже костюм мне купила. Ее мать бубликами торговала. Дите такое же, как и я. Она мне вышила двенадцать платочков голландского полотна. — Он полез в карман и достал один. — Видите, расшит разноцветным шелком. «Люблю сердечно, дарю навечно». Брат десять штук выносил.

Старуха глядела на него во все глаза. Внучка отвернулась к окну, так и сидела — спиной.

— Взять такую, шоб родителей почитала, — сказала Одарушка.

— Ну. Мне было восемь лет, гадала моей матери хиромантка. Я рядом был. «Смотри, — на меня, — в глаза мне, деточка. Вот, Мария Андреевна (поворачивается к матери), ты будешь у него жить, он будет тебя хлебом кормить. И заберется жить далеко». Брату Моисею сказал: «Если пойдешь в солдаты, то вернешься в золотых погонах». Офицером, значит. А если не пойдет в солдаты, станет калекой. Все сбылось. Он не пошел. Попал тут в Екатеринодаре в движение революции в пятом году...

— ...А чи не пора нам, матушка, везти до линейцев та ставропольцев тарань? — Косогрыз перекинулся на левый бок. Старуха укрыла его еще раз.

— ...его встрелило вот в это место, в ямочку под горлом, и повредило нерв, и усушило ему эту сторону, нога трюкает. А мне сказала, что, если будет жить, заимеет в два этажа дом. Ну посмотрим, — сказал он скромно, скрывая уверенность в том, что своего добьется. — Продавцу казенной винной лавки дали серебряную медаль, на андреевской ленте, а я жив буду и святую Анну на шею получу. Пора мне вставать...

Его не отпускали. Из уважения, уже стоя у порога, он побеседовал еще, рассказал про вдову на Садах: кладет любовнику-приказчику деньги в сундук. Про Швыдкую: на Новом рынке хочет во искупление грехов уборную ставить. Про Фосса: в балагане показывали страуса; взял яйцо весом в шесть фунтов, щелчком разбил и скушал. Рассказал, как убили братьев Скиба и что помощника полицмейстера защищают «союзники». Про то еще сказал, почему Бурсаковские скачки так называются. Все знает, и утешил старуху новостями вдоволь. Поклонился на стороны и вышел.

«Женюсь, — думал он, бодро шагая на ночь по Ставропольскому шляху, — поеду в Петербург и куплю жене мыло английской королевы Александры за двадцать пять рублей. Запечатана упаковка гербовой пломбой на шелковом шнурке. И скажу: «Вот, видишь, дорогая, твоя родня в Петербурге у царя служит, а я за три копейки у дьякона учился, ну такого они подарка не сделают».

Возле «Чашки чая» нашел он в ту ночь бриллиантовую брошь и передал ее в полицейский участок. Так его воспитали: чужим добром не разживешься.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ САМОВАР

Тетушка Елизавета не хотела, чтобы Дема, когда подступит срок, женился на казачке. Она упрямо отучала его от всего местного и в родную станицу Каневскую возила в юности редко.

Сама русская, «проклятая кацапка» из Тамбовского поместья, красавица с водяными глазами, невинными даже в ссоре, тетушка переменила в какой-то странный день свою девичью фамилию Гамбурцева на запорожское прозвище предков мужа — Бурсак; переменить переменила, но ничем русским не поступилась: казачьих свычаев и замашек так и не приняла, родню мужа, всех его товарищей по полку недолюбливала уже за то, что они б а л а к а л и и задавались заслугами отцов. «Кубанский душок» (неприветливость, какая-то противность в характере) оттолкнул тетушку в первые же дни, и она в Екатеринодаре выбрала себе общество в кругу иногородних. К счастью, была Елизавета Александровна не только светская, правильная и манерная, не терявшаяся даже в Париже, но частенько показывалась в интимном собрании удалой, забубенной. В Екатеринодаре ей было неуютно и скучно.

Это от нее зароилось в племяннике мнение о замшелой непросвещенной Кубани, о том убожестве, которое якобы ничем не вытравишь, и Дема стал мало-помалу отрекаться от своего детского гонора: я казак! Если на то пошло, внушала тетушка, то не было на Кубани и настоящей истории, а складывались на закусках одни байки о том, как отец нынешнего наказного атамана Бабыча гонял шапсугов и абадзехов. Может, потому Дема, любивший Древнюю Грецию, Рим, совсем не интересовался историей Кубани и как-то о прапрадеде, войсковом атамане с 1799 по 1816 год, позволил отозваться так: «Вся и слава, что оселедец за левое ухо закручивал и писал словами величиною с воробья».

Но слава была.

Сто пятнадцать лет назад расставил «кош верных казаков» курени по Кубани, и уже сорок четыре года тому, как примирилась кавказская война.

Где, в каких бумагах искать теперь тех рыцарей степи?

Спасибо Луке Костогрызу: он принес мягкий, как тряпка, номер «Кубанских войсковых ведомостей» с началом «Записок кавказского офицера», то есть деда Петра. Продолжения записок не было, Дема перерыл у архивариуса все газеты за последнее десятилетие прошлого века, и напрасно. Приезд государя Александра II на Лабинскую линию, наказание прадеда Толстопята за нарушение порядка заявления претензий, появление в Варениковском укреплении великого князя Михаила Николавича в 61 году, стычка Адагумского отряда с абадзехами и выручка из плена того же Толстопята, плакавшего и стонавшего перед товарищами: «Братцы, братцы мои! Наконец-то...» — вот и всё, а дальше?

Костогрыз давал советы поехать в Каневскую и перебрать на хуторе Бурсаков все мешки и покопаться в скрыне.

«Вы знаете, паныч, — кричал в тот раз Костогрыз, тыкая в Бурсака люлькой, — кто в Кубань бросился с лошадью, знаете, шо то место называется Бурсаковы скачки?»

«Знаю. То мой дед Петр».

«А чи вы знаете, куда делся кувшин с золотыми монетами, который обещали тому, кто найдет Бурсака? А где тот кувшин и до се?»

«Не знаю».

«А вы видели ту женщину, которую ваш дед полюбил и из-за нее страдал?»

«Впервые слышу».

«Ну шо ж вы знаете? И чи тетя ваша не сказала вам? А на могиле первого черноморского атамана Бурсака были? И где она? Вот то-то и оно».

Было немножко стыдно.

В либеральной газете «Кубанский край» с издевкой писали, будто в те баснословные времена кто-то из Бурсаков купил маленькую карету, запряг ее огромным волом с вызолоченными рогами и катался по Екатеринодару. Засорили писаки большие листы российскими сплетнями, рекламой торговцев, скандалами на Старом базаре и отчетами городской думы, а в строгих «Кубанских областных ведомостях» намозолили глаза циркуляры генерала Бабыча.

«Я богато кой-чего знаю, — не замолкал Лука Костогрыз, — я, может, теперь самый последний, а тех, кто мало видел красных дней, никого нема. Они жили, диточка, так трудно, шо посеют мешок пшеницы и меру овса — и того некогда убрать: хвать за серп, а тут с орудия: гу-гу-у... Сам на коня, а жинка в терен ховаться».

«Ну а атаман Бурсак-первый?»

«Самый старый Бурсак ваш молодец был, а адъютантом у него служил казак ще луч-че, то мой дед. И была раз комедия. — Лука сворачивал на колене папироску, вставлял ее в камышовый мундштук и, потрогав висячие усы, взглядом предупреждал тетушку, что сейчас «отольет пулю», так лучше, мол, выйти. — Баба его, Бурсачка, любила певческий хор и взяла, чертяка, привычку ходить к обедне в собор. Старикам це не понравилось. «Надо ее выгнать с церкви за ухи, як свинью... Чего она ходит? Нам в церкви богу молиться, а не на нее моргать...» Мой дед подслушал та шепчет старикам: «Ось, не трожьте, а то атаман Бурсак будет сердиться. Я сам выживу ее».

Тетушка стояла, не уходила.

«На другую неделю приготовился, распорол сзади мотню, набрал свечек и ну ставить иконам. Дошел против Бурсачки, свечки кончились, начал поклоны бить. Шо ударит поклон, то Бурсачке видно его задницу. Она чует, шо с нее смеются, вышла с собора, села в коляску, поехала до дому, нажаловалась своему Бурсаку, шо вытворял Костогрыз. Бурсак ждет Костогрыза, деда моего, из церкви. Пришел. «Ты, матери твоей сто чертей, ты на шо жинке моей сраку показывал в церкви?» Та к нему! А Костогрыз к нему: «Тю-тю, сдурел ты, батько, чи шо. Чего ты на весь рот лаешься? Ты мне спасибо скажи. Старики надумали вывести ее с церкви за ухи, як свинью. Ты знаешь, шо нельзя жинкам ходить к запорожцам в церкву?» — «Она певчих любит». — «Мало шо она любит. Пошли в Екатерининский двадцать человек, нехай там спевают. А в наш храм нехай не ходит».

— Моего деда Петра в каких бумагах искать?

— В Каневской стариков поспрашивай, а может, в Петербурге какая строка есть, — те ж Завадовские, Шереметьевы, Сумароковы-Эльстоны, Дондуковы-Корсаковы писали родным; может, там слово про твоего деда попало.

«Много меж черноморцев было веселых Гоголей, — сказал дед Петр в «Записках», — ничего не писавших, но не было Нестора! А он так нужен! Хоть с запозданием, но поможем ему, нашему будущему Нестору. Будем же вспоминать! Всякое время пройдет, и всякому человеку придется оглядываться назад, где уже нет никого...»

Вскоре тетушка надумала ехать в станицу Каневскую. Была причина: старый табунщик Скиба прислал письмо.

— Вот и поищешь в скрыне бумаги деда, — сказала тетушка Деме. — Они были завернуты в мешок. Да если не сожгли! А я погляжу: как старый Скиба жеребцам косяки исправляет. Пишет, продает табун по сорок рублей за одну. Ну и то!

— Падает хозяйство дядюшки. А ведь когда-то бурсаковские кони славились в Европе. В Венгрии и Австрии, вы сами когда-то видели, лошади с клеймом «Б» запрягались в фаэтоны.

— От Тамани до Усть-Лабы выстраивались на встречу государя Александра Второго только бурсаковской породы. Когда-то!

— Жалко табуны. Зря распродаете.

— Я не виновата, что дядя твой состарился раньше меня и бог раздавил его, да простится мне, как жабу камнем. Я вам не казачка.

— Какая вы злая, тетя Лиза.

— Да ну? Скажи на милость. Есть ли кто злее казаков?

Видно, поздние потомки Бурсаков унаследовали по женской линии слабость. Постаревший дядя, когда было невыносимо раздражение супруги, давно

ему изменявшей, шел побеседовать за чайком к матери нынешнего наказного атамана Бабыча.

— Куркули, — обзывала тетушка кубанцев. — Иногороднего и за калитку не пустят. «Шо?», «Чого?», «Оно твое, бисова душа?» — одно и слышу везде.

Но Дему она любила, забрала его после смерти родителей из Каневской, воспитала и отдала ему в своем дворе флигель под вековым бурсаковским дубом.

— Так ты едешь со мной? — спрашивала она племянника несколько раз.

— С удовольствием, но дела в суде. Подождите еще недельку.

— Я опоздаю в Москву.

— Надо же защитить казака. Оскорбил в лавке государя матерной бранью. И наказного атамана заодно: «Ездит по области, нанимает казаков за сто рублей, шоб они убивали бунтовщиков».

Между тем он еще дважды пытал Луку Костогрыза.

«На Челбасах Бурсаки земли имели, помните?» «На Кирпилях, Бейсуге, на Челбасах не только офицер, но и рядовой казак имел тысячу овец, табун лошадей... Никого нема. Говорили ще, колы я в Петербурге за царем как нянька ходил, так: никто их не знал, не знает и знать не будет — Бурсака, Головатого, Чепигу, Котляревского, кошевых наших. Время убило».

Ехал Дема в Каневскую и вспоминал с нежностью детство.

В царине[1] на коше постоянно жили у них два старых работника. Вокруг копанки прыгали кулички с мокренькими хвостиками. Сперва напьются в ней воды лошади, а потом и детишки. А кругом мреет ровная степь.

Далеко-далеко горбились три кургана; за теми курганами край света...

Неужели пройдет и его время? Детства уже нет. «А чи правда, — спросит работник Скиба, приезжавший на кош от дяди по какому-то делу, — чи правда, паныч, шо у вас петухи, як у нас казаки, люльки с тютюном курят та табак нюхают?» — «Где?» — «И свиньи ходят не задом наперед, а передом назад?»

Скиба и встретил их с тетушкой у ворот большой хаты за церковной площадью, окнами на палочки камыша в речке Челбаске.

Тетушка несколько раз переспросила, нет ли мышей в кладовой. Пока тетушка кушала на кухне баранину, робкий костлявый Скиба докладывал о табуне:

— Табун пропадает, паныч... Барыня дала телеграмму, шоб я продал... Я и продал по сорок рублей. Я больше служить не буду, с барыней мне не сделать грошей. Не выпросишь, под расписку не дают. Все хвалят лошадей, барыне хоть бы шо. А худоба страдает. Ветер воду гонит, а она, несчастна, по брюхо в воду и пьет ту же грязь...

[1] Царина — пахотная степь, выгон, околица.

Ему, любившему, чтобы хорошо были откормлены волы, вовремя исправлен воз, ему, млевшему оттого, как легко пашет плуг, какая острая коса, как спеют большие тыквы, дыни, кавуны, было тошно застать с возрастом разорение там, где отцы и деды Бурсаков дорожили добром.

— Деда моего помните, Петра?

— Немножко. На Лебяжью пустынь шесть тысяч рублей давал.

— А где та скрыня с мешком?

— Тут гдесь.

— Найди мне мешок и принеси.

— Та це можно. Его не любили в роду.

— За что?

— Земли пораздавал. Та Анисью крепостную схотел за себя взять.

— Как?!

— Так, шо полюбил и взять хотел. Батько мой вам бы сказал, но его нема. А Анисья по монастырям ходит. Атаман самовар забрал.

— Какой самовар?

— Великого князя Михаила Николаевича подарок. Наместника, шо в Тифлисе сидел. Ее взяли к его детям кормилицей, там года три-четыре она побыла, а когда отправляли на Кубань, князь ей серебряный самовар дал.

— Ну и что?

— Шо, шо: атаман за долги забрал и продал с аукциона!

— А дед мой?

— Та после деда вашего. То в девяностом году было, деда уже похоронили. Она долго в Керчи жила.

— А дети у нее были?

Скиба взглянул на Дему так, словно обдумывал, не станет ли его паныч бить.

— А на шо вы меня пытаете? Барыня, тетя, вам не рассказывала?

— Ничего.

— Ну, я найду вам мешок. Только как бы на хутор не пришлось ехать. То ж его туда, наверно, спрятали. Как мыши не погрызли, то найду. Я не дуже письменный, а там, помню, листочки перевязаны.

Какая-то тайна уколола вдруг Дему.

На третий день Скиба привез мешок с бумагами деда.

О господи, как ветхо пахнет александрийская бумага! Большими буквами, и впрямь величиной с воробья, дед Петр криво измарал три десятка страниц, еще несколько листов занимали письма и телеграммы из Петербурга; еще немного — свидетельства о наградах всех Бурсаков, рисунки родового герба (на темном фоне звезда и скачет на белом коне всадник с булавой — знак атаманства предков), карты земельных наделов, стоимость плановых мест.

— Читай, читай, — говорила тетушка, — может, напишешь историю рода.

Он лежал на диване лицом к большому зеркалу, а тетушка раскладывала пасьянс у окна. Добрый час тишина сторожила их занятия, наконец Дема нарушил ее:

— Дед мой был очень религиозен: всюду у него: «Помилуй, меня, Боже, слава, Боже, тебе». Стихи о боге.

— Его бог только и любил, — сказала тетушка, не отвлекаясь от карт.

— В Санкт-Петербурге, пишет, во время экзамена в артиллерийское училище, не надеясь на познания, молился в домике Петра Великого и почувствовал способность отвечать на все вопросы.

— Не пишет ли он, как перепугал охрану Зимнего дворца?

— Каким образом?

— Когда у него отобрали крепостную Анисью, он заболел психическим расстройством. Дядя твой повез его в Петербург в лечебницу, он оттуда ускользнул, и нашли его уже в Петропавловской крепости. По заступничеству великого князя Михаила Николаевича его освободили, — великий князь знал его лично.

— За что его посадили в крепость?

— Он отправился в Зимний дворец. Его, как полковника в форме, часовые пропустили. Он в приемную. И не то на лестнице, не то не доходя приемной он встретился с императором Александром Вторым и вступил с ним в разговор. Положил, по обыкновению, правую руку на рукоятку кинжала, левую на конец ножен и начал вычитывать императору: почему притесняете казаков, почему запретили украинский язык (вышел указ в семьдесят шестом году), почему притесняете поляков? Придворные не знали, что на Кавказе все, кто носит кинжалы, при разговоре кладут на него правую руку. И деда твоего схватили, голубчика.

— Какая у них судьба! Не вылазили из болот. Будете слушать?

— Я потом сама.

Дема обиделся.

«...Был адъютантом наказного атамана. Отряд собирался в Варениковское укрепление, чтобы идти на Гостагай. На обратной дороге, верстах в десяти от Варениковской, мы попали в болото, где вода была до колен. Целую ночь дождь лил как из ведра, к утру был мороз. Обоз и артиллерия загрузли в болоте. Один казак Лука Костогрыз из станицы Пашковской до того озяб, что не мог расправить пальцы. Другой казак, Толстопят, тоже пашковский, пропал без вести, и я не получил разрешения от начальника отряда найти его. Голос с неба повелел мне написать об этом, я не выполнил христианского долга: бросить стадо и спасать погибающую овцу. Мне жаль стало почти замерзшего казака. Я клал кучи терна так, чтобы они поверхность воды значительно превышали, потом сверх терна клал я бывшее на возах сено и зажигал. Так я обогревал полузамерзшего казака. Спал я на мерзлой земле. Трубный звук и барабаны разбудили меня, и мы пошли в Варениковское укрепление. За этот поход мне дали Станислава 3-й степени...»

Дема вздыхал, переворачивался на бок, лежал распростертый в молчании, снова брал листы.

Тетушка Елизавета, поставив локти на неудачный пасьянс, глядела в окно на снег. Было заметно, что ей очень тоскливо в степной глуши.

— Ну, что скажешь? — каким-то шестым чувством уловила она, что племянник обратил взгляд в ее сторону, и спросила не шелохнувшись:

— О чем задумались?

— Думаю: поживешь и умрешь, а зачем же душа болит? Поживешь, и нет тебя. Как будто не было вовсе. Гляжу на снег и вспоминаю: как-то так же по белу снегу приехала в полк к твоему дяде. Шла перекличка. Казак погиб, но его вызывают: «Савоцкий!» — «Есть!» — кричат в один голос. До слез прямо. Но ведь его уже н е т, и в пустоту кричат. В пустоту поют вечернюю молитву. Звонят вечером колокола. А куда несется звон? В пустоту, в пустоту.

— Но что же делать?

— Наверное, чтобы жизнь казалась полной и долгой, надо впустить в душу еще ту жизнь, которая была до нас. Тогда и умирать будешь не раньше и не позже тех, кто сейчас с нами, а вслед за теми, кого давно нет.

— А те, кто будут?

— Ну, они будут думать о нас. Я тебя отвлекла? Дема опять уткнулся в листы.

«...И возвратит ту, которая назначена мне в спутницы жизни, чтобы показать торжество истинной любви над ничтожеством врага, разлучившего нас...»

— Пойду прилягу, — сказала тетушка.

«...Я претерпел все невзгоды военной жизни, но то, что произошло в мирное время, надорвало мне душу. Я остался вдовцом и тяготился одиночеством. Я понимал чувство любви в том высоком смысле, в каком завещал ее сам Господь. Я боялся связать себя с личностью, увлеченной современным вольнодумством и телесными удовольствиями, а искал душу прямую и спокойную. У меня жила шестнадцатилетняя дворовая девушка Анисья, дочь моего управляющего. Я, знавши ее с семи лет, решился ее сватать, но меня удерживало то, что, может быть, она любит крестьянина Зота Скибу, и еще то, что не кончился год после смерти моей жены и отца. Родственники мне не советовали и сказали, что Скиба сватает Анисью. Предполагая между Анисьей и Скибой любовь, я боялся даже и говорить с Анисьей о м о е й любви. Я дал Анисье законное свидетельство, но мною овладела грусть и какое-то непонятное опасение за участь девушки. Я позвал ее и сказал: «Так я боюсь, чтобы ты, поехавши от меня, не погибла. У тебя есть отец и мать, ты должна спросить их благословения. Если ты действительно любишь и надеешься быть счастливой, то езжай, я свидетельство выдам, но если ты не уверена, то я тебя здесь отдам за того, кого ты полюбишь, а хочешь — я на тебе женюсь?»

— Я пожил для себя довольно, — говорил я Анисье. — Господь Бог ко мне милостив, я тебя люблю, как он велел.

— Я не поеду, — сказала Анисья.

В тот день, когда я признался в моей любви к Анисье, я понял святость таинства брака, и она отдалась мне всей душой. Это было в ком-

нате в городском доме, где из мебели была одна кушетка.

— Не поедешь в Керчь?

— Не поеду.

— Не поедешь?

— Нет.

— Ляг на кушетку и не думай ни о чем, кроме как о Господе и нашей будущей жизни.

Она послушала меня, легла. Я сел возле нее, лицом к ней, а спиной к двери. Внезапно раздался стук. Я увидел своего родственника. Едва наши взоры встретились, он сказал:

— Ничего, ничего.

Он подозревал меня в такие святые минуты в плотской связи.

— Как... ничего? Что это значит? Уходи!

Родственники хотели лишить Анисью данной ей доли, отнять у нее человека, ее истинно любившего, и не дать мне возможности иметь детей, чтобы завладеть моим имением.

Я поехал в хутор к родителям Анисьи, желая узнать, согласны ли были они иметь Скибу своим зятем. Они ответили, что за него свою дочь отдавать не желают. Я уехал в Екатеринодар в полной уверенности, что проведу зиму с родными и что Анисья будет моей женой.

Когда я приехал из Екатеринодара, то узнал, что родственники мои уже увезли Анисью с собой, не написав даже письма.

Браки, где нет любви, должно расторгать, потому что они служат для людей, случайно, а не по закону связавших себя, препятствием любить тех, которых души могли бы любить их как самих себя, служат для душ несчастных как бы темницей, из которой может освободить лишь смерть».

Дема опустил на одеяло слабые руки с листами. Ему было жалко своего деда. Он восхищался его кроткой душой и благородством. Как видно, одинока была его душа среди этих стяжателей и эгоистов!

— Хотите послушать? — спросил Дема тетушку, найдя ее в другой комнате лежащей с французской книгой в руках. Он прочел ей слова о значении брака.

— Это очень мило, — заметила тетушка, — но в ту пору дед твой был уже немного помешанный... в ту пору, когда писал...

Дема повернулся и вышел.

«...И навели ум мой, сердце и душу на сознание обязанности, — возвратить в данную Богом долю ту, которую назначили мне женою. Голос с неба повелел мне объяснить и вам, Ваше Преосвященство...»

«Так это уже письмо-о, — разобрался Дема, — письмо отчаяния...» «...чтобы вы помогли мне и вознаградили меня за все муки, какие я терпел от моих врагов, желавших оторвать меня от веры православной, спасти от иезуитов, допускающих правило, будто бы цель оправдывает средства. Родственник мой по сестре, немец Сталь, прикрывая себя тем, что будто бы простая девушка мне не партия, несмотря на то, что она имеет душу чище и добрее, чем он, увез ту, которую я любил, в мое отсутствие, вопреки всем правилам порядка, чести, благородства, ибо он сам, будучи чиновником, жившим одним жалованьем, взял за женою большое приданое, а между тем бедную девушку, которой деды, родители и она служили отцу, матери его жены и ему с его женой, для того чтобы я не имел детей и чтобы овладеть моим имением, дерзнул лишить Анисью доли, которую Господь Бог по справедливости решил дать... Несмотря на то, девушка была раба моя, а я ее помещик, я, ценя в ней чистоту души и доброе сердце, пренебрег всеми суждениями людей — предложил ей имение, честным образом перешедшее ко мне от отца, нажитое дедом Бурсаком трудом рук своих, — и чувство истинной любви, как к самому себе: прося ее любить Бога более всего, а меня — как себя.

Привыкнув безусловно себя смирять, я всегда считал себя самым грешным человеком, а потому думал, что за грехи мои я недостоин знать мысли людей; относительно же людей, меня окружавших и мучивших, я был чист и всегда для них желал добра, и на месте их я бы помог человеку, так страдавшему, как я страдал, и никогда бы не осудил: я не должен роптать и судить людей, — должен любить их и жалеть, как Он меня жалеет... Я еду в Ставрополь хлопотать о деле за Анисью. Еду верхом, ибо мне нельзя жить без нее. Еду к архиерею. И скорблю оттого, что я не думал никого бранить, а говорить придется как бы в самом деле виноват...

Что писал я, разберите
Да к добру делу примените...»

Листы кончились, а было так интересно, что хоть поезжай в Ставропольскую епархию и там проси архивариуса порыться и найти еще несколько листиков, — быть может, дед Петр писал много раз?

«Значит, я внук Анисьи, — рассуждал Дема, — значит, они еще раз встречались, и отец мой от этой связи. Недаром слухи ходили, но мне никто не сказал точно. И Скиба не скажет. Выходит, бабка у нас с ним одна. Моя кровь оздоровлена крестьянской. То-то все родичи шпыняли меня в детстве, кликали Демкой. Попытаю тетушку...»

Но тетушка Елизавета пожалела его:

— Деточка, я не любила слушать их разговоры. — «Их» — это значило разговоры казачьи. — Если вспомню...

Табунщик Скиба тоже ни в чем не сознался. Бурсак и не настаивал. Может, есть надежда на Луку Костогрыза, которого дед отогревал в воде? Поехать на хутор Бурсак, что в степи на речке Челбаске? Но кто же там остался, да и кого могли подпустить в те годы к господской тайне?

— Когда он прыгнул с лошадью в Кубань, — сказала тетушка вечером за чаем, — твой дядя (она никогда не говорила «мой муж» и никогда не называла его по имени) назначил тому, кто его выловит, кувшин с золотыми монетами. Если тебе нужны реликвии, то кувшин, разумеется без монет, можно найти в Елизаветинской.

— Меня больше интересует история с самоваром. Что же это был за негодяй, атаман, — отобрал

великокняжеский самовар у бедной женщины и продал с аукциона?! И таких мерзавцев выбирают в атаманы. Самовар, вероятно, с гравировкой. Займусь. Кому бы заказать историю нашего рода? Впрочем, сначала я найду жалобу Анисьи в канцелярии наказного атамана, узнаю имя станичного атамана и расспрошу, кто купил самовар...

— Уж лучше собери все бумаги о Бурсаках..

Через день они выехали домой. Скиба провожал их до Брюховецкой. Тетушка торопилась.

Ее присутствие мешало его чувствам. Теперь на что бы он в степи ни глядел — на криницу ли с явленною иконою (так по легенде), на остатки заезжего двора, где за постой при деде платили десять копеек с подводы, а за ночлег в хате по пять, на Вшивые могилки (одни старики знали, почему они так назывались при первых еще черноморцах), на речку Бейсужку в семи верстах от Переяславки, думал ли о самой дороге, — все сводило его к мыслям, что много-много раз за свою жизнь ехал тут дед Петр. Глухо и одиноко было вокруг тогда. Никто не дерзнул бы без страха отправиться не по столбовой дороге. На несколько верст слышался скрип чумацких фур с запряженными волами. Тогда ездили потихонечку-полегонечку: «Гей, волики, тпру-у, волики, пора попастись...» Ах, он понимает теперь, что то была другая, другая, совершенно дикая жизнь. В двенадцати верстах от Екатеринодара, у хутора какого-то Чадного, давно умершего, Дема еще раз вспомнил деда. Долго, говорят, с опаской проезжали это место: слева, где терны и лес, всегда стреляли горцы.

«Другая жизнь... самовар отыскать... и написать о роде Бурсаков...»

Вот и поднебесное царство дубов, вот и Екатеринодар. Так и дед выезжал.

— Ну, — подала голос тетушка и зашевелилась, — скоро там этот маленький Париж?..

В СТЕПИ

На их простенькой даче под Динской вода была вкуснее, чем в городе, и летом они ездили туда пить чай. Но в жару родители забирали Калерию далеко в степь, под станицу Роговскую, на Хуторок, выделенный матери по наследству. «У меня только одна думка, — говорила мать в дни болезни, — чтобы ты, доченька, любила Хуторок, как мы с отцом любим, и поселилась бы там жить. Я бы тогда и умерла спокойно». Еще год назад Калерия боготворила Хуторок. Но нынче ей было там скучно! Вроде бы недавно, в великий четверток, приговаривала она: «Весна, весна красна, приди, весна, с милостью...» А уже и август. Проскочили еще три месяца ее пустого девичества. Сердце, задетое в феврале дерзкою вольностью Толстопята, дразнили мечты, и она чахнет без красивого благородного обожателя. Он есть где-то, он ей назначен. Но кто-о? Тот ли, о ком она в девятнадцать лет прочитала в газете?

Детство, кажется, протекло в Хуторке. Кое-что уже вспоминалось как потеря, но в ожидании счастья нежного потеря не была горькой. Было одно удивление: неужели она могла жить только этим? Раньше она ждала рождества, обсуждала, закармливались ли в Хуторке гуси, готово ли белое как сахар сало, купили ли к сочельнику свечей на стол. Усядутся вокруг, и отец скажет: «Ну, кто за ужином чихнет, получит в подарок славную телку». Теперь ее шутливо сватали и, рассматривая картинки в модном журнале, предсказывали ей штатского: «У него часы с золотой цепочкой и несколько перстней на пальцах».

Без милого дружка нет больше очарования в долгом пути. А кто же он?

И все же, когда ехали по степи два дня, она забывалась и переставала дуться на матушку. Все опять повторялось. Накануне пекли в дорогу пирожки, отваривали уток; в комнату внесли сундук, он стоял открытый, и матушка два-три раза в день подходила к нему и укладывала туда что-нибудь. Во дворе без конца смазывали и осматривали экипаж. Вечером установили в экипаж сундук, чемодан, корзины, свертки, картонки с шляпами, зонтики. Ну как всегда! Всегда грозно сверкала глазами запряженная тройка. Раненько утром, еще станичные возы не скрипели по Базарной улице, крестились на дальний путь и выезжали. Ночевали где-нибудь в балке под Тимашевской под звездным небом. Калерия спала лицом к небу или лежала молча, ловя падающие звезды, разгадывая, на что похожи облака. Сзади телеги моталось ведро. Вдруг отец назначал привал. Калерия садилась в траву, и на руку ей вползала божья коровка.

Степь, степь! В балках среди закрученного ветром камыша голубеет талая вода; темные терны, рощи шиповника, огороды в простор, куры на дворе. Стада, стада, стада. О пыли, покрывающей теперь избытые дороги, не было и помину; коврики трилистника, муравы чередовались под колесами экипажа; и вокруг до самого края, где уже небо никнет к земле, ровно стелется зелень. Пахло чебрецом. За станицей Брюховецкой слышался гул! То мчался от калмыцких кибиток к дороге конский табун! С испугом глядела Калерия, как он приближался, потом стройно замирал неподалеку, фыркал и бил копытами в землю. Как будто они были рады, эти красавцы, что прибыли горожане. Круглый год, в зной и в стужу, гуляли они под открытым небом, копытами выбивали корм из-под снега; стойкая эта черноморская порода славилась до самой Австрии. Но кончается их время; там, где еще в молодости отца можно было на десятки верст не встретить ни жилья, ни человека, а только табуны, стада да отары овец, вырубили терны и горбатятся копны хлеба. Вот и последний поворот, уже видны дубы и вышка в саду. О Хуторок! Оттого ли, что в станице с тобой наперечет здороваются, слышится уже только малороссийская молва, что месяц целый мать сама доит корову, варит борщ, стряпает, отец ходит в кучерской суконной поддевке или в кафтане с поясом из кашемира, чаще поет песни, оттого ли, что крепче спалось на вольном воздухе и желаннее были гости из станицы, Калерии ка-

залось, что нет большего счастья, как приезжать с родителями к старой казачьей хате у кургана. Она и родилась в Хуторке майским вечером и когда-нибудь тоже будет возить сюда своих деточек. «Оце такие девчата вырастают в наших бурьянах!» — похвастался прошлым летом отец перед гостями из Роговской.

По приезде до сверчков и крика лягушек сидели в темном саду за столом с белой скатертью, расспрашивали жену конюха о новостях в окрестности. Наконец-то поймали в прогнившем стогу сена старого и злого волка. В копанке утонула трехлетняя девочка молочницы. Монахини Магдалинского монастыря предлагали по дворам иконы и книжку «Житие Иоанна Кронштадтского». Отец тут же припомнил байку про кубанских монахов: когда, мол, в женском монастыре колокола вызванивали «к нам, к нам, сиротам!», в мужском Лебяжьем монастыре колокола, отлитые из пушек, подаренных черноморцами, густым басом отвечали: «Будем, будем, не забудем!» Ну, а коли отец соизволил зацепить монахов, то жена конюха призналась, что заезжал в Хуторок некто в рясе, назвался священником из Иерусалима и попросил денег на гроб господень. Уже третий месяц они ждут письма от самого патриарха, и тогда, может, паны прибавят рублей сто на покупку священных сосудов. Все поверили, и одна Анисья сообразила: то были проходимцы!

— Ну, самовар тебе отдали? — спрашивал отец.

— Отдали, как и им вон письмо от патриарха шлют. По свету шатаюсь с сумой, зачем мне самовар?

Анисья была та самая крепостная девушка, которую любил дед Бурсака, но нынче уже старая, полуюродивая, совсем не жившая дома в Каневской. Третьего дня завернула она в Хуторок не случайно: года два-три она была нянечкой Калерии, да вскоре ушла в святые земли и, видно, с тех пор мало сидела на месте.

Скучно, скучно стало Калерии со стариками! В первую ночь она долго не могла уснуть. В открытое окно комнаты в флигельке, где она спала, влетали ночные бабочки и светила на золоченый оклад иконы, на глаза Пантелеймона-исцелителя луна. Как будто впервые слышался лай собак на выгоне, хотя в Екатеринодаре они тоже не вывелись. Только извозчики не хокали на вороных мимо окон. Утром она босиком шла по росной траве сада. Вспоминались чужие истории, и ее совесть успокаивало то, что в своем приключении с Толстопятом она, слава богу, не так уж одинока. «И во грехах роди меня мати», — слышала она от старших; она с ужасом ловила себя на нетерпении, на фривольных грезах в потемках. Да что! — ее бабушка убежала к деду прямо с любительского концерта. В одном платье. За ней числился пока один неслыханно порочный поступок: с подругами-мариинками она сидела в вагоне великого князя на кожаных черных креслах. В зале с портретом царицы Екатерины и здравствующего государя Николая срамила их перед всеми начальница, княгиня Апухтина, а мама с трудом отпускала по окончании института на вечерние прогулки. «Смотри мне, — говорила грозно, — я узнаю. Может, тебе корзинку дать?»

Бывает, что спишь по двенадцать часов в сутки оттого, что ждешь любви и никто не идет. Так спала она теперь в Хуторке.

— Уж солнышко окна прожгло, — приставала Анисья, — а ты бока пролеживаешь...

Ничьи слова не милы. Отец во дворе таскал воду, мыл кожаный верх экипажа, выбивал мягкие, на конском волосе, подушки.

— Дай-ка умою тебя, — упрашивала Анисья, — водица у меня такая, из-под стопочки богородицы, из лавры Почаевской. Этой водичкой сбрызну, вздоровеешь. Скорбящую тоску разгонит. Глядь-ка, камушки какие чудные. Это слезки богородицы, сподобил меня десяточком монах горы Афонской. А это стружечка из Назарета, кипарисового дерева, что стругал господь на храм нерукотворный. В чаю отваривать, действует от женских. А вот еще от яселек, где батюшка царь небесный родился. Возьми на ладонь да помажь головку, она болеть не будет и волос сечься.

— И сколько ж ты ходишь...

— Иду себе помаленьку да иду, а земелька-то позади остается, а глянешь вперед — и впереди еще много. Как будто нет никого, а ты беседуешь. С душой беседуешь. Вот и ты тоже. Я твое чувство понимаю.

— Что, что? Что понимаешь?

— Давно б ты уж сама приворожила, если мне не позволяешь.

— А ты можешь?

— Дай только поглядеть на него.

— Нету у меня никого, Анисья, матушка моя.

— У меня внук в Екатеринодаре, но мне не велено говорить, что он мой внук. Он тебе пара.

— Кто?

— Прости меня, господи, не скажу. А скажу, когда помирать стану, да ведь где смерть застанет — не знаю. Шатунья я. Пойду-ка к Серафиму Саровскому в обитель. Завтра у Марии Магдалины панихиды по умерших братьях и сестрах.

Мать уже отправила в монастырь сало, крупу, птицу. Отец повез ее помолиться. Калерия выходила на дорогу и раздавала нищим, калекам серебряные монеты. Со всех сторон брели, ехали паломники. В ограде монастыря всю ночь варили борщ в огромных котлах, жарили мясо и рыбу. Подаянием в сиротские дни люди вымаливают прощения, вспоминают свое горе: у кого немая дочка, у кого калека хозяин, кто-то прожил век без детей.

Еще через день родители снарядились в гости в Роговскую. Анисья с монастырской панихиды не вернулась; наверное, заночевала там или ушла с божьими старушками дальше. Утром Калерия со скукой наблюдала, как закладывали лошадей. Экипаж выкатили и поставили посредине двора. Кучер заложил коренника, подводил пристяжную, потом взобрался на козлы и подобрал вожжи. Кони взвились и вынесли экипаж за ворота в степь, через версту успокоились, экипаж вернулся, и тогда заложили вторую

пристяжную. У матери все, как нарочно, не ладилось: потеряла ручной платочек. Отец сердился и ходил с папиросой по комнате. «Я в феврале родился, — говорил он о себе, — ветры дуют, оттого я и такой бешеный...» Окрестные казаки уважали и боялись его. Не дай бог застанет у кабака пьяных — высрамит на всю станицу. «Уже до церкви звонят, а вы рачки около кабака лазите! Детей полну хату понаплодили, жинка в поле, а вы последних волов пропиваете. Вон! Шоб все шли в церковь!» Ехал сейчас к однополчанину послушать скрипку и поиграть в карты. А Калерии опять листать альбом с картинками и гадать?

Ночью она видела нежный сон. Она лежала в комнате одна и вся истомилась. И в окошко раздался стук! Это он. Калерия, еще полусонная, вскочила и мелкими скорыми шажками подошла к окну. В листьях шумел ветер. Не открывая глаз, Калерия протянула руку. Вот я, вот я, — безвольно отдавала она руку тому, кто был там, под окном. Мокрым лягушачьим холодом обожгли ее чьи-то губы.

— Ой, кто это?!

— Это я... ваш великий князь... Умоляю вас, не кричите..

После обеда за карточным столом в офицерском клубе станицы Уманской наскучила Толстопяту мужская компания, и он вышел в буфет. Через полчаса не было для него на земле места, куда бы он не доскакал на своем Лорде. В пятом часу вечера Толстопят гнал Лорда в Каневскую.

Утром, по случаю отдыха, к нижним чинам прибыли из станиц жены и родственники. Еще за версту слышны были песни, стук колес. Счастье казаку, когда приезжает баба. Холостые после завтрака наярились в станицу на базар, в духан — полузгать семечек, выпить араки, да, может, прицепиться к некапризной казачке. Хорунжий Толстопят знал заранее, как проведут день нижние чины. Станичные телеги, одна от другой поодаль, расставятся по царинной степи. Бабы понавезут сала, хлеба, овощей, горилочки. Телегу кто-нибудь завешает бурками, мешками, чтобы никто не подглядывал, как отдыхает казак с жинкой после сытной домашней закуски. Только несмышленые птички будут скакать у колес в поисках крошек. То там, то тут вознесутся в просторы казачьи голоса, споют что-нибудь старинное. Поэтому утром он был особенно строг с казаками:

— Пустить лошадей в табун! — кричал он. — А там чего крик подняли?

— Та то мы в шутку, — отозвался извинительно казак, сидевший среди товарищей на бурке, внук Луки Костогрыза Дионис, и такой же весельчак. — Вспоминаем, как шкуринские казаки корову заместо холеры убили. А вы разве не слыхали? Как была в старовыну холера, по станицам много людей поумирало, а в станице Шкуринской застряла под мостом чьясь черна корова. Вот шкуринцы и додумались с великого разума, шо то не корова, а сама холера. Взяли дрючки та, вместо того чтобы ее вытащить, под мостом ту сердешну корову и убили! Задарма. От так шкуринцы!

— Ваши пашковцы, — сказал казак из Шкуринской, — вместо матки навозного жука до пчел посадили.

— Брехали твоего батьки свиньи, так и ты с ними. Нас дразнят сметанниками.

— Довольно, — сказал Толстопят.

В двенадцать часов дня пристала к казачьим телегам и повозка Луки Костогрыза. Казаки растянули в ухмылке рты: это ж сколько дней считал кочки от Пашковской дед с оселедцем? Оделся так, будто хотел напугать молодых казаков своими заслугами: чистая черкеска, на груди медали и кресты, на поясе кинжал. «Слава героям, слава Кубани!» — поприветствовал он всех. Через час у его маленького бочонка с вином побывали не только нижние чины, но и урядники, сотники, и всякого он чем-нибудь да насмешил.

— Это моя Одарушка замещает наказного атамана и прислала вам на поднятие воинского духа. Вареники привезу в другой раз. Так наказывала, шоб внуку не наливал и чарки. А хорунжему Толстопяту — письмо от батька. Чистенькое, и ни один уголок не загнулся.

— Долго ехали, дидусь? — спросил внук Дионис.

— Дороги до вас прямой с Екатеринодара нету, так я взял на Петербург, а уже с Петербурга на Тифлис — и к вам.

Отец писал Толстопяту о екатеринодарских новостях и наказывал, чтоб его сотня на инспекторском смотре обошлась без замечаний. Мать снова начала худеть, на днях взвешивалась, еще легче стала, чем в прошлом году: всего три пуда и шестнадцать фунтов. С генералом Бабычем так и не хочет мириться. Увидишь, мол, атамана Ейского отдела К., передай: чувствительнейше честь имею благодарить за привет через шкуринского однополчанина. Дожди прошли, на Рашпилевской плавают на лодке. В скетинг-ринке пела недавно какая-то Варя Панина, весь вечер не вставала с венского стула. Приглашали Шаляпина (бас), но он якобы дал телеграмму: «Шаляпин в конюшнях не поет». Тогда скорей пусть приезжает с Кавказа граф Воронцов-Дашков, казаки войскового хора споют не хуже. Такие новости. «А что до меня, — то, слава богу, здравствую ровно».

— Дай вам боже, — благословлял Костогрыз пропустить чарку, — дай боже благополучно кончить лагерную службу та в добром здоровье пристать к жинкам. У кого она есть. — шоб грела ваши бока, как печка.

— Так можно? — спросил внук Дионис.

— При мне можно. А потом как узнаю, шо ты хоть языком лизнул где каплю, то так чуба намну, шо семь лет не вырастет шерсть на том месте, где рука моя доторкнется. Перекидай чарку в рот!

— Жалко, шо не вчера, дедусь, приехали, — мы и лозу рубали, и на скаку шапки схватывали.

— А на вечере при начальнике штаба танцевал «пьяного казака»?

— К офицерскому ужину не подпускают.

— Меня колысь пускали. И тут, в Уманской, как я танцевал! Кончил, то начальник штаба подошел, вынул четвертную, дает при всем панстве. Не брешу. А где ж ваши паны? О, догадываюсь. Они в станице спят на подушках, откинули ноги, бо целисиньку ночь, известно, в клубе картами ляпали. Какие бы они были паны, если б не умели добре погулять. Так же? Москали, те гордые, высоко себя ставят, великие хвастуны, а в службе, особливо на смотру, один за другого прячутся или поделаются хворыми. А шо, не так? Ну, будем здоровы — у кого черные брови, а у кого черный усок — тому сала кусок. На! — ткнул он сало березанскому казаку. — Перекидай чарку в рот!

Толстопят слушал, улыбался, а душа к долгой брехне не лежала. Все сегодня были как будто счастливее его. Дразнили его воображение голые руки казачек, угождающих мужьям, игриво стыдившихся шуток; завидовал офицерам, приладившимся в станице к дамочкам; мысленно гулял по бульвару Гудовича с Бурсаком — ошалел молодец от какой-то чаровницы. Бурсак же сообщил ему и о Калерии: она в Хуторке. Ха! И он, с его ростом, выправкой, светящимися глазами, ничего не придумает себе в утешение? Или он не казак?

Перед офицерской палаткой играл плохонький духовой оркестр. В палатке за длинным столом сидели офицеры, шутили, рассказывали анекдоты. Потом пели песни. Завтра им в пять утра на конное учение. А Толстопят может спать.

Какой ветер свистел в ушах, когда он низами станицы вывел своего Лорда в лихой намет! После нескольких чарок в буфете самая дальняя дорога была нипочем. Еще хватит у Лорда сил перемахнуть и во двор над огорожей.

В Каневской он застрял у дружка до самого темна. Все же побоялся и переменил Лорда. В Хуторок к Калерии погнал косой дорогой, минуя Брюховецкую. Шайку «степных дьяволов» еще не добили, но коли уж встренут — погуляет по ним старая шашка. За речкой Челбаской взмахнула ему рукой богомолка с сумой. Толстопят придержался, Анисью он не знал.

— На Хуторок через балку не заблужусь?

— Занозил тебе кто сердце небось?

— А тебе-то что?

— Ну, век тебе наслаждаться, с крикливою жить. Против жара и камень лопнет. А я в своем образе. Я поняла, куда ты. А душа в тебе есть? Или поцелуй дороже «спасибо»?

— В таком деле, говорят, и неправда дороже золота, бабушка.

— Смотри, костей на страшный суд не соберешь.

— Так и не соберешь. Рано мне в покойники.

— Я сколько лет свет копчу, знаю. Повадится кобель толстопсовый на зеленую ягодку, — ни в чем запрету нет. А, господь с тобой, не буду тебе дорогу переходить. Кипи в смоле. Я через день в Москву престольную. Пошли, царица небесная, мне путь легкий, — сказала она и стала удаляться.

Оттого ли, что Толстопят был всегда самоуверен или это лунная ночь ворожила над ним, но скакал он в Хуторок к Калерии точно по ее зову. Ему бы только ухватить ее за руку и не дать ей вскрикнуть в первую минуту, а там он найдется.

Под тремя высокими дубами стояла длинная казачья хата с двумя выходами, за нею шелестел необозримый густой сад. Луна пробивалась сквозь ветви на камышовую крышу. Одно окно во флигельке было открыто. Вдруг не на шутку забилось сердце. Да для чего же и вырос этот сад, купается в небе луна, прикрывают от чужого глаза кусточки, вяжет ноги густая мягкая трава, если не для молодых утех? Для чего прячет людей ночь? Он возвратился к лошади, достал в сакве фляжечку и выпил ради смелости. Вздыхая, ладонью обтер губы, подергал усы. Луна была как голенькая! Ах и деды так же когда-то крались к чужим окнам. Все было. И даже со стрельбой вдогонку. Толстопяту представилось, как шла бы эта маленькая шалунья к условленному месту, еле дышала от страха и чувства, шла бы к лавочке у акации или подальше, где он привязал лошадь. Но она спит.

Нет, то не любовь, когда отцы засылают сватов, дарят шишки, венчают и миром провожают спать. То любовь по-семейному и навек. До женитьбы чью-то любовь хочется выкрасть, окутать секретом. Отец перевез его в город в пятнадцать лет, и он не ходил с табуном одногодков ночевать с девками в хату, где прядут или вяжут коноплю, и на возу сена в чужом дворе спал с казачкой всего неделю, перед отъездом в кадетский корпус. Скорее Хеопсова пирамида перевернется верхушкой книзу, чем он отступится от жажды влезть в окно. Калерию согласился бы целовать и через шелковый платочек. Ти-ихо. И собак не слышно. Надейся на бога и стучи.

Настырен был Толстопят и в настырности тупел. На заре, не достучавшись на окраине Каневской в харчевню, он трезво и с удивлением думал: зачем она мне? Он ли это был там, под окном? Он ли набил коленку о красное колесо экипажа и дурно шутил: «Это я... ваш великий князь...»? Взбесилась кровь от нескольких чарок, помутнела и вот затихла, и вот никто ему не нужен. В степи он дал передохнуть Лорду, глядел вдаль и перебирал в уме этот курккульский ночной переговор с перепуганной Калерией.

— Зачем это нужно? — не кричала, а отговаривалась она. — О, уезжайте, прошу вас. Христом богом».

«Не красть же мне монашек... Выходите в сад».

«Отпустите руку...»

«Я сорок верст скакал к вам».

«Да кто же так делает? Вы опять издеваетесь...»

«Я только погляжу на вас. Послушайте, что я скажу. Т-с!»

Она вырвала руку, отошла, села на койку. Толстопят навалился на подоконник и шептал:

«Я на лагерных сборах в Уманской. Выбирайте: кричать или слушаться меня? У меня там за садом трубачи стоят, прикажу — заиграют. Грех вам прогонять меня к монашкам. Проводите меня, чтоб собаки не покусали».

«Они далеко».

«Можно на вас поглядеть?»

«На девушек глядят днем. Идите отсюда, пока я отца не позвала. Мне жалко вашей службы».

«Вы не скажете. Что вы за казачка?»

И в пожилые годы вспоминал он не скачку в Хуторок, а это утро в степи, когда он один-одинешенек. какой-то грустный, хороший, любовался безлюдным пространством, потом ехал мимо кошары и безотчетно думал: «Овцы на запад головой лежат — зима сырая будет... Послезавтра строевые занятия. Диониса за фуражом послать».

Он знать не знал еще, что то степное счастье можно потерять на долгие годы. Ему тогда почему-то подумалось, что идет где-то по степи, далеко за станицей Уманской, в престольную Москву богомолка, которой уже ничего не надо, кроме молитв. Может, она-то счастливее всех?

1909 ГОД

Наступил и прошел обычный 1909 год.

Приказом по войску поздравил всех с новолетием наказный атаман Бабыч и пожелал пахарю — плодородия земли, воину — свято блюсти присягу, родителям — взрастить в своих питомцах полезных граждан. Он просил также забыть все пережитые скорби и обиды.

До начала февраля в Екатеринодаре стояла крепкая снежная зима. Из Тамани в Керчь рогатый скот перегоняли по льду; была, верно, такая же стужа, как в 1068 году, когда князь Глеб мерил расстояние от берега до берега.

Пасха в этом году передвинулась к 29 марта; по случаю праздника Бабыч освободил от наказания пятьдесят человек, и Терешка, не подавший фаэтон наказному атаману, вышел из кордегардии на сутки раньше. И опять Бабыч призывал: забудем горе и обиды; Лука Костогрыз слушал его приказ на станичном сборе.

30 апреля Калерия Шкуропатская хлопала на концерте Анастасии Вяльцевой. На другой день владелец картинной галереи Ф. А. Коваленко, которого город забудет навсегда, получил письмо от Л. Н. Толстого, а от государя — золотую медаль на станиславской ленте.

В 1909 году по-прежнему ни на день не стихала человеческая речь на базаре, в кофейнях, на улицах, в частных домах: кричали, уговаривали друг друга; мирно, изумленно, вспыльчиво, тайно беседовали; объяснялись в любви; клялись, искали сочувствия, шептались и проч. и проч. Но голоса те до нас не долетели — не было еще чудесных магнитных лент. которые увековечат голоса наши.

В мае в Царском Селе происходил высочайший смотр казакам лейб-гвардии собственного его величества конвоя, уходящим на льготу. Перед Александровским дворцом государь раздал знаки за службу, а мать его, вдовствующая императрица Мария Федоровна, вручила из своих рук каждому портреты царской семьи. Петр Толстопят читал газеты и уже видел себя отбывающим в конвой со станции Кисляковская.

В том году хлеб стоил пять копеек, говядина четырнадцать копеек фунт, четверть пшеницы (пять пудов) — десять рублей — это уж Попсуйшапка не мог позабыть никак.

Тоскуя «не о хлебе едином», шли на Курщину на стопятидесятилетие Серафима Саровского толпы, и там среди калек и юродивых была наша Анисья, бабка Бурсака.

26 июня на празднике 200-летия Полтавской битвы царь говорил о любви к старине, и в эти же дни открыл Бабыч на Тамани Тузлянскую грязелечебницу. Что было важно тогда, история перевернула по-своему и кое-что схоронила навеки. Петербург преподнес екатеринодарскому отделу «Союза Михаила Архангела» царский портрет.

В июне в Лебяжьем мужском монастыре на берегу Бейсугского лимана снова развели лебедей. Осенью природа одарила Россию невиданным урожаем. И наконец, в августе за рекою Кубанью в атаманской ставке казаки пили за дерновыми столами в честь 50-летия покорения Восточного Кавказа. В суматохе тех праздников и будничных дней еще жили люди, которых спишут со скрижалей истории, и жили те, кто прославится на будущие времена.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИЧНОМУ СЧАСТЬЮ

На полугодовщину смерти отца Иоанна Кронштадтского скорчила болезнь Олимпиаду Швыдкую. Лежала она на Пластуновской в дальней комнате своего бывшего «Красного фонаря» с чугунной плитою Гусника на крыльце, стонала, заброшенная, одинокая, промочила всю постель, умирала. Терешка привозил к ней свою жену — ухаживать, кормить да выносить за ней. Кто еще смилостивится, кто поймет, что она такая же, как все, и теперь, на смертном одре, еще, может, несчастней других? Жалостливо, благодарно глядели на супругов ее красивые глаза да чернели ее густые брови. В головах на большой подушке сидели сытые огромные кошки.

— Я ж вас и на том свете вспомню, — говорила она тоненьким голоском, — милые вы мои... А поправлюсь, господи спаси, уйду в монастырь, а вам весь двор откажу...

И спасла ее какая-то, право, божья воля. Выкарабкалась Швыдкая с помощью молитв и знахарки Чайчихи, отсиделась на крылечке, потом пошла в церковь и поставила свечку св. Пантелеймону-исцелителю. И сказала себе: теперь закроюсь в монастыре Марии Магдалины на речке Кочеты.

Да так и поступила.

Через месяц заколотила дом на улице Пластуновской, но фонарь с красными стеклами над воротами снимать поленилась. Вещи кое-какие и часть мебели раздала в Убежище нищих; в большой комнате койка с толстыми матрацами завалена была подушками, граммофонами; сундуки покрыла азиатскими ков-

рами. На Новом рынке копали уже яму в углу, под уборную, на которую Швыдкая выделила денег.

В монастыре, наслушавшись рассказов о грехах и благочестии, Швыдкая вовсе опростилась и в смятении добрых чувств, после молитвы в храме, написала извозчику Терешке, чтобы забрал остатки ее мебели, койки с пружинами, а весь хлам сдал утильщику. И добавила: все ценное, что найдется в закоулках, под полом ли и еще где, пусть заберет себе, — она же пойдет тесным путем, скорбями и лишениями к славе небесной, питаясь хлебом, оттуда сшедшим... Ничего не жалко было. По какой-то случайности Терешка, прежде чем везти матрац на пружинах утильщику Лапенко, распорол его. И ахнул: по всему замоченному нутру его были уложены пачки денег! Те, что лежали на средине, отсырели во время болезни хозяйки. Вскорости Терешка купил свадебный экипаж — ему рано еще было засевать сердце семенами бесстрастия. Швыдкой же написал: «Будем за тебя молиться, спасибо тебе, ты помогла мне подняться на ноги. Рассчитывай на нас всегда...»

«Оно, конечно, чужое, — рассуждал Попсуйшапка, — но с другой стороны, не возьми Терентий обмоченные деньги, взял бы Лапенко! Ы-ы! — еще как взял бы. Такая жизнь кругом. Один Тихон Задонский ходил в лаптях. Горько плоды грехов вкушать, а как не впасть в искушение? Не зевай. Сыну царя, Алексею, отпускают в год сто пятьдесят тысяч — ну так то ж наследник! Повезло Терешке — ну и молчи, так бабы все равно ж проболтаются. А я за три копейки у дьякона учился и живу ж. Хозяйку надо. Породнюсь с Костогрызом...»

Но пока надо стараться работать. Пусть Бурсачка и господа досыпают в чаду вчерашних разговоров, — работники их перегнали уже табуны на свежую траву. Светает, а казаки из станиц расставили вокруг базара возы. Уже покрикивали у ворот женщины: «Кому баранины? кому баранины?» Водовоз Редька тихо вылил в гончарную макитру три ведра воды и начертил на дверях три палочки. В банях Адамули, Лихацкого затопили печи. Хочешь перед людьми гордиться — торопись угнаться за ними. Попсуйшапка и на улице не любил идти сзади когонибудь, всегда опережал, а знакомым приветственно кивал головой. Утренняя дорога в мастерскую была каким-то праздником. Попадался зажиточного хозяина сынок — Попсуйшапка подбадривал себя: ничего, будем и мы на лихачах ездить. Вон сын прачки Харитоненко. Отдали его свиней кормить. Он лучше всех знал свое дело. И оттуда на выставку в Париж попал. Учись, Василь... Глаз хватал по сторонам все полезное. Персы из Тегерана тюки получили — эк! Будут бумажки на золото в банке менять. Наши шабаи-скотопромышленники наоборот: дай бумажку вместо золота. Купец Гасан ковры постлал, чтобы прохожие чистили их ногами, ценнее ковер станет. Самый первый ковер — персидский, за ним — текинский. Содержателю Славянского подворья крикнул Василий: «Происшествий за ночь не было?» Сгружают с возов корзины елизаветинские, пашковские, новотитаровские казаки. Кое у кого невесты хорошие подрастали. «Бог за товаром!» — пожелал он казакам удачной торговли. Лавочники хлопали ставнями, у всех вывески. У Асмолова медведь держал на вывеске шапку в руках. А вот и вывеска Хотмахера: шапки разбрасывают с саней.

Тридцать — сорок раз надо взять в руки каждую шапку. С мочкой, с чисткой, с наведением лоска маслом. А сколько работы до этого! Черный курпей еще надо покрасить; некрашеный, он за одну зиму переменится в рыжий. Щетку умочаешь в краску и чешешь по волосу сюда-туда, сюда-туда. Лучше всех красит в Ростове чембарь Освадур. Василий придумал свой способ. Для покраски молдавского курпея сделал барабан и, когда собиралась большая партия товара, нанимал лошадь у дрогаля, засыпал барабан сухим конским пометом, и лошадь крутила барабан, пока не чернели опилки, — так счищалась краска с волос. Шапка блестела!

Братья нигде не зевали. У купца Варшавского залежалось курпея на шестьдесят пудов; сторговались, купили часть и выточили шестьсот шапок, повезли на ярмарку в станицу Платнировскую. В Ростове подкупили сто штук курпеек, поставили хороший ассортимент черных шапок на ярмарку в станицу Березанскую. В Харькове приметили каракуль (матка украинская, производитель бухарский) и на Благовещенской ярмарке в станице Пашковской расторговали все папахи. «Надо уметь купить», — учил их купец Квасов. И они наметали глаз.

— А ведь был ты приказчиком, — посмеивался довольный брат.

— Ну! Если муж с женой пришел — это горе. Подберешь черную, а она: «А может, тебе больше серая подходит?» На́ серую. «А может, тебе каштановая?» Разозлюсь и говорю: «Вы в поезде ехали? Или на постоялом ночевали? Вошка залезла к вам». И снимаю с ее шубки. Э-эх она с магазина! А эти шепотницы. Сколько товару покрали. Или кишковорот зайдет, пероет весь товар, а купить ничего не купит. Хватит. Сами себе хозяева будем...

У него часто бывали беседы со стариком Костогрызом.

От Костогрыза уходил Попсуйшапка взбодренный.

Внучка шила на зингеровской машинке и, откусывая нитку, взглядывала несколько раз на Василия.

Пора жениться!

И по дороге на улицу Динскую Попсуйшапка думал о невесте и замоченных шкурках. Рано утром надо выложить все пятьсот штук, расправить скребком, высушить, потом отмерить семь вершков и скроить, вырезать пах, лапки, хвост, перерезать пополам. Туркменская овца досталась хорошая! Он с какой-то сладостью спешил домой — поглядеть в бочки на шкурки. Все, все ладилось у него. Свое дело должно процветать. Без зависти, скорее как о чуде думал он о неожиданном счастье извозчика Терешки. А виной всему о. Иоанн Кронштадтский: не ездила бы к нему Швыдкая, не покаялась, то и от добра своего не отказалась бы. «Деньги, нажитые

нечисто, на богоугодное дело не годятся», — это точно.

Перед женитьбой зашел Василий последний раз к Баграту в трактир.

— Даю твоей невесте совет, — сказал Баграт. — Когда хочешь, чтоб муж тебя любил, утром трава кушай, а вечером дегтем ворота мазай его любовницы. Очень помогает, ха-ха, к чертовой матери!..

— Мы уже не дети с тобою, — рассуждал по-стариковски Василий накануне свадьбы. — В семье не так живут, как на свадьбе ляпают. Будет и тяжело, и нужна супружеская верность. Если что тебе не понравится или кошка сундук поцарапает, не ругайся и не таи, а скажи как другу. А найдешь, что жить со мной нельзя, скажи мне тоже. На веку чего не бывает! Есть у меня мать, так ей тоже надо уделить внимание. За мною водилось много всяких встреч, напишем на них крест. Извини. И сейчас разреши поцеловать тебя уже как свою жену.

Он ее поцеловал и почувствовал, что отвечает она без души.

В тот день мясоеда, в феврале, когда обвозил молодых три раза вокруг Дмитриевской церкви Терешка, в Петропавловском соборе молился со своей семьей государь у гробницы Александра III. Это уж потом, после переворота, вспомнил Василий, с чем совпало его венчание.

Близ церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
На лицах их радость цвела, —

читал он стихи, наряжаясь к невесте.

Купил Василий три розы — красную, белую и чайную. «Вот, — говорил, — и все мои старосты». За ним приехал на извозчике брат Моисей. Брата перевязали большим персидским шелковым платком с махрами, он сказал «круглое словечко, как обруч», выпили, закусили и срядились, на какой день будет свадьба.

В церкви наблюдал Василий за своей невестой, меняется ли у нее под венцом лицо. Если, говорили в Новой Водолаге, меняется, то невеста с пороком.

«Благослови-и!» — пропел дьякон.

— Разреши, — попросил Костогрыз пристава на Дубинке, — пострелять в воздух до Пашковки?

— Та дуй, это ж наш участок.

Дал Василий на свадебный стол пятьдесят рублей, бабке подарил черный платок и калоши, деду чеботы, невесте все к свадьбе, козью шаль, большую, с ковер, и ботинки с калошами. Да к столу по мелочи: пуд муки, пуд говядины, три ведра водки, вина. И был пир несколько дней. В первый вечер подавали Василию квас, чтоб ребенок зачался нормальный. Чьи-то руки завязали в большие узлы подарки, узлы относили под орех-великан. Каждый приговаривал словечком: «А шоб це у вас была думка одна и шоб далеко ночью не раскатывались»; «це шоб утиралась и не стерла свою красу до старости».

И сняла с него невеста в спальне сапоги, вынула оттуда деньги... Кричал за огорожей местный дурачок Приступа:

Ой сорока-белобока,
Научи меня летать!
Невысоко, недалеко —
Прямо к милой на кровать.

Музыканты играли на возу сена.

— Живите, детки, проще, — сказал пьяный Лука Костогрыз, — и бог веку вам прибавит... Теперь я скажу тебе, Василь: внучку нашу весь кут сватал. «Отдайте мне, отдайте, — приставал один, — я вам лакированные чеботы сошью и родне вашей всей чебот нашью». Ходил за мной по току без шапки: отдайте. За сапоги внучку не отдам.

— Спасибо, Лука Минаевич...

— Но ты, Василь, смотри, не приди до меня так, как на первый день пасхи зятья приходили до моего деда в гости. Сказать? Пришли, а дед мой, колы постарел, позволял гостям пить только по три чарки горилки. А колы ошибется та поднесет по четвертой, то зятья и сыны малые имели право пить горилки кто сколько схочет. Ну, ото ж дед ошибся и поднес по четвертой. И пошла балачка. Зятья были с гонором, стали хвалиться, у кого какие кони та хаты да какие они разумные. И вздумали над моим батьком Минаем насмехаться. А батько мой того не стерпел, мацнул кулаком самого богатого зятя и в другого кинул миску с холодцом. И загудела битва злее, чем с горцами. Батько как стрибанул на стол! А стол тот был долгий, на тридцать персон. Зятья похватали рогачи. Батько как заорет. Голос у него труба иерихонская. Бывало, в хате скажет матери: «Ульяна, вари борщ с индюком!» — то полстаницы слышит. Шибку выбил в оконце и в сад. Так еле помирились с моим дедом за ту шибку. То ж и ты, придешь до меня, смотри, шоб я по четвертой не поднес... Ну, хлопцы-запорожцы, урежьте мне вашего гопака, а я станцую.

Через неделю после свадьбы Василий выкуривал с молодой женой шкурки.

— И как Василь спит с тобой? Ты ж горячая, как конь.

— А мы раскатываемся.

— И в меня колысь Одарушка влюбилась как черт в сухую грушу...

Костогрыз доглядывал за ними; для виду, чтоб не догадывались, ехал на базар, а оттуда заворачивал на Динскую улицу. По глазам ловил, мирно ли почивали, не надоели ли друг дружке. И долго он сидел с ними, балакал, учил уму-разуму.

— А мне пора «Ниву» читать... Чи я хуже пишу стишки, как этот великий князь? Ач!

Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...
Мы все вокруг стола в столовой собрались...

ВСТРЕЧА У БУРСАКОВСКИХ СКАЧЕК

Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...
Мы все вокруг стола в столовой собрались...
Смыкаются глаза, но лень нам разойтись,
А сонный пес в углу старательно зевает.
В окно открытое повеяла из сада
Ночная нежная к нам в комнату прохлада.
Колода новых карт лежит передо мною,

Шипит таинственно горячий самовар,
И вверх седой, прозрачною волною
Ползет и вьется теплый пар.
Баюкает меня рой милых впечатлений,
И сон навеяла тень сонной старины,
И вспомнился мне пушкинский Евгений
В усадьбе Лариных средь той же тишины.
Такой же точно дом, такая же каморка,
Портреты на стенах, шкапы во всех углах,
Диваны, зеркала, фарфор, игрушки, горки
И мухи сонныя на белых потолках...

— Великий князь... — сказала вслух Калерия, бросила «Ниву» на диван и кокетливо задумалась перед зеркалом. — Вот дурочка, — сказала себе. — Пиши лучше письмо Бурсаку. Насмелься, насмелься, дорогая.

Она закрывала журнал с стихотворением великого князя, который угощал их конфетками в вагоне на Черноморской станции, открывала снова, перечитывала, там было еще два — про грозу и одно заклинание: князь просил у бога вдохновения. Она ложилась на диван, рукою заслонялась от света в окне, мечтала: вот она стоит на конце улицы к Кубани у забора и целуется, — с кем? С князем? С Толстопятом? С Бурсаком?

— Нехорошо целоваться у забора, где лают собаки, — опять произнесла вслух и, зачумленная видением, встала, положила на стол чистый лист бумаги и написала несколько строчек: «Вы мне очень нужны... Прошу вас прийти сегодня в пять на угол Гимназической и Медвёдовской...»

В безумии, налетевшем на нее в тоске, она осмелилась просить при встрече Бурсака быть посредником между ею и Толстопятом.

Бурсак копался дома в бумагах деда, когда тетушкина прислуга положила перед ним петербургские газеты и записку. На конверте не было штампа. Не еще ли одно письмо с требованием передать крупную сумму денег в указанное место? Бурсак не спешил вскрывать письмо, почитал в «Новом времени», как сброшенный турецкий султан Абдул-Гамид умолял из Салоник брата пополнить его гарем свежими одалисками. В Екатеринодаре, между прочим, прозябает на Посполитакинской принц Рахим-хан, и на базарах каждый день обсуждают романические приключения его свиты. Власть вроде бы есть, вроде бы и нет. Россия к чужим добрая!

— Тебе привет из Варшавы, — сказала тетушка. — Получила письмо. Наверное, она протягивает к тебе ручку, но мне не признается. Ее мужа переводят в Петербург.

— На здоровье.

Записка Калерии дразнила его каким-то неясным призывом.

«Вы мне очень нужны». Зачем?

Он вызвал Терешку и поехал. Времени хватало, повернули к городскому саду, потом прокатились по Красной до памятника казачеству, воротились назад. Окна дворца наказного атамана, бронзовые знамена под Екатериной II, крыши мокро блестели после дождя. Вчера казаки подносили на станции наместнику Кавказа графу Воронцову-Дашкову хлеб-соль на серебряном блюде, сегодня днем был молебен в Александро-Невском соборе и шествие с регалиями до Крепостной площади. У дворца во время обеда стояли при трех войсковых знаменах старики и пел войсковой хор. Сейчас, когда проезжал Бурсак мимо, трапезовали в саду под крышей 1-го общественного собрания депутации и гости за столами и славили графа песней «Тебя мы ждали круглый год». Толстопят, видно, тоже там с отцом.

В городе все известно. Накануне по офицерским домам говорили о высоком госте разное: последний русский барин, мягкий политик; подшучивали: старый граф засыпает с леденцом во рту. Тетушка Елизавета где-то вычитала такую новость: графу по наследству передан секрет о старце Кузьмиче, то есть об уходе в Сибирь царя Александра I. Тайна о том, что царь не умер в Таганроге, а скрылся неизвестным в глуши, предпочел трону чистую праведную жизнь, береглась властями до самой японской войны, и вдруг сам дядя царя Николай занялся ею. Но граф молчал. Тайн много и на Кубани. И одна из них — уход из жизни его деда Петра. На то место, где прыгнул дед с лошадью в Кубань, Бурсак и заставил Терешку везти его с Калерией Шкуропатской.

Улицы в сторону к реке Кубани тонули в воде.

Под зонтиком стояла на углу Калерия. Бурсак соскочил, поздоровался и пригласил Калерию в фаэтон. Терешка сидел на козлах как неживой.

— Я познакомлю вас с нашим городом, — пошутил Бурсак. — Ведь вы нездешняя.

— Да-а, я из Таганрога, — подыгрывала Калерия.

— Не застрянем, если попробуем до Бурсаковских скачек? — крикнул Бурсак Терешке.

— Грязно, но для вас чего не сделаешь!

— Вороти! Возраст меняет отношения: мы с вами в детстве прыгали на рождественской елке, пили кофе у греков в Анапе, а потом вы подросли и мы даже здороваться перестали. Почему это?

— Девушка хочет и боится понравиться друзьям детства.

— Что ж, будем знакомы еще раз.

За Сенным рынком встречались на пустых мажарах казаки из станицы Елизаветинской.

— И грязный же у нас город, — сказала Калерия. — Только что не выезжают на лошадях закрывать ставни, а так все то же: если дождь, не пролезешь. Мне бабушка рассказывала: идешь по улице, а в руках по кирпичу. «Голубочка моя, ты же утопысся!» Вы любите Екатеринодар?

— Куда же денешься.

— Зато на месте гостиниц были ковры цветов, пчелы жужжали. На Дубинку переплывали на лодках за фиалками. Брали с собой ковры, подушки, самовары.

— А вас няня не водила на Карасун?

— У меня, я считаю, была только одна няня; имя другой я не могу произнести, она опозорилась... — Калерия подумала о Швыдкой. — Но она как раз и водила меня к Карасуну.

— Я приучу вас к Бурсаковским скачкам.

Он давненько не бывал там, где у Кубани с вы-

сокой кручи опять близко виднелись городские дома, Троицкая церковь, пристань Дицмана. В станице Марьянской прозвонили к вечерне; говорили, что звон в город долетает по воде. На закате золотилась за рекой сочная степь. Сколько казачьих костей лежит на илистом дне реки? В Елизаветинской да на Хомутовском посту стояло по поганенькой пушке, а из-за кустов с низины чиркали тысячи черкесских стрел. В темные дождливые ночи легкие черкесы прокрадывались в Елизаветинскую. Так было. А теперь разве что вор или насильник напугает подчас какую бабу. Почему дед для смерти выбрал эту кручу?

— Те казаки и представить себе не могли, что мы будем здесь стоять без всякой боязни, — сказал Бурсак.

Он вдруг разговорился.

— Где-то тут бросился мой дед в Кубань. Тут он разгонялся. Накинул на глаза лошади башлык, перекрестился и с криком: «Ну, господи, прости меня!» — погнал лошадь к обрыву... Дворового мальчика брал с собой. Мальчик растерялся, с испугу побежал в Елизаветинскую. Его потом допрашивали, но бумаг я никак не найду.

Калерия как-то напряженно молчала.

— Тому, кто найдет его тело, обещали кувшин с золотыми монетами.

— Я прочитала недавно, как выбирали того еще, старого Бурсака, черноморским атаманом. В войске было восемь подполковников. На восьми бланках написали имена, свернули и положили на образ. Жребий пал на Бурсака.

— Демократия, — пошутил Бурсак.

— А вон домик... Там кто-нибудь живет или это так?

Домик в три окна, поставленный на ферме немцем Гначбау, станет через десять лет последним приютом генерала Корнилова, но в тот вечер такое не могло даже присниться.

— Так что же? — спросил Бурсак после молчания, намекая на записку. Калерия повинно взглянула, склонила головку и молчала. Именно в эти минуты Калерия раздумала искать в Бурсаке посредника.

— Вы меня не понимаете? — спросила Калерия отдаляясь.

— Не совсем. — Бурсак тронулся за ней вслед. Она обернулась и пошла навстречу. В двух шагах от него она стала, сцепила руки и поднесла их к губам.

— Вам странно это?

— Довольно смело с вашей стороны.

Если бы не то похищение, не Толстопят, Дема нашел бы несколько дразнящих словечек. В его сознании она все еще была пассией Толстопята — как же ее трогать своим вниманием?

— Вы еще не были влюблены?

— Была. В Евгения Онегина. И в Ленского тоже.

— Они вам отвечали взаимностью?

— Ленский. А Евгений Онегин как ваш дружок Толстопят: слово скажет и забудет. Но вот правда: няня моя говорила, мне будет девятнадцать лет, и я прочитаю о человеке (так и сказала — прочитаю), которого потом полюблю. «Остерегайся, — говорила, — глядеть на него нежнее, чем на других».

— Вы на меня совсем не глядите, что я должен думать?

— Я вам напишу, — сказала Калерия и покраснела.

— Что же это за няня такая, пророчица?

— Я вам напишу.

— А история с великим князем?

— О господи, да что за история! Ну девочки же, глупенькие, из глухого города. Приехала царственная особа, они и побежали на станцию поглядеть. Он нас пригласил в вагон, угощал конфектами. Я даже в черном кресле посидела — скользко! Если бы с нами не была дочь Бабыча, нас бы начальница исключила из института.

— Надо было! Ишь! Нашли в князе Евгения Онегина?

— Почему над храмами всегда кружат птицы?

Бурсак обернулся, заметил птиц над Троицким собором вдали и ничего не сказал. Калерия опять затаилась.

Бурсак с улыбкой наблюдал за ней. Она тоже улыбалась и тем выдавала себя. Не слишком ловкой была ее маленькая хитрость! Толстопят разбил бы ее одним словом; Бурсак манерничал. Калерия между тем кружила возле, будто дразнила загадкой.

— Так что же? — спросил Бурсак и про себя продолжил: «Зачем я вам нужен?»

Калерия тихо подняла голову и проколола его мучительным взглядом любви. Казалось, она еле сдерживалась, с ней творилось то, что бывает с барышнями, когда они долго мечтают о какой-нибудь встрече, а месяцы текут в одиночестве.

Бурсак рукой подозвал фаэтон Терешки.

— Я приглашаю вас на дачу моей тетушки.

К даче они ехали молча, и это связывало их неловкостью еще больше.

Белый домик с двумя окнами на город стоял у реки. Хранительница дачных ключей Федосья, высокая грубоватая казачка, сбегала в станицу за молоком. Ее знакомый Аким Скиба рассказывал в сторонке Терешке о скором суде над убийцами его троюродных братьев.

— Наверно, зима будет великая: свинья одно носит солому в хлев, — сказал Терешка погромче, чтобы услышал Бурсак и не заподозрил в опасном разговоре.

— Да, зима будет такая, как в тот год, когда старый Бурсак с этой кручи прыгал.

— А какая тогда была? — издали спросил Дема. Скиба подошел к нему с почтением, снял фуражку, тайно обглядел Бурсака, не подозревающего, какими узами их соединил Петр Бурсак.

— Сорок дней стояли морозы. Карасун и Кубань подо льдом на аршин. А старый Бурсак прыгнул на четыре месяца раньше.

— Тебе кто рассказывал?

— Батько. — Скиба помолчал. — А и я прыгал с лошадью в Кубань, только туда подальше.

— Чего ж ты прыгал?

— Я с дому ушел рано. Был маленький, сказал матери: «Я буду привыкать жить не евши». И ушел. Меня как-то удивило раз: соседи готовились к гулянке, и хозяйка сдирала кожуру с селедки. А мы дома ели селедку с кожей. И я ушел. Бурсаковских буйволов сторожил. И как-то они пропали на четыре дня. Меня послали найти. Я сел на кобылицу, у нее по спине от гривы до хвоста темная полоса, сама легкая. Выдернул из кучи хорошую хлудину. Нигде нет буйволиц! Еду по-над берегом. Когда за дубами вижу их, отощавшие. Лежат на земле. Кобылицу завидели, начали подниматься, в глазах ужас. Я пускаю повод, наклонился вперед. Они и кинулись лавиной по косогору, а там с двухметровой высоты в Кубань, так и полетели, и я сам, не помню как, упал с кобылицей вниз, а буйволицы мои черными бочками плывут посередине. Вот я и прыгнул, как старый Бурсак.

— А где ты родился?

— В Марьянской, а батько из Каневской. Переехали.

Бурсак хотел спросить о фамилии батька, но что-то его удержало. Само время, видно, решило, что лучше не знать Деме о своем родстве со Скибой. Анисья обоим была родной бабкой, потому что их разным отцам была она матерью. И опять же одному времени дано было хранить тайну: как и когда суждено свидеться этим людям.

— Не к сглазу будь сказано: вы что лебедь белая, — хитро благословила Калерию на счастье с Бурсаком Федосья и ушла с Акимом в угол голого сада.

Смеркалось. В комнате они только постояли скованно, Бурсак поговорил о тетушке, любившей пить чай из самовара. Выходило так, что не он зазвал ее к берегу Кубани, а она, — да ведь она послала ему записку. Калерия полистала номера «Нивы», и в одном опять выпала ей страница со стихотворением великого князя. «Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...» Все счастливее ее, даже Федосья с этим тонколиким мужиком. Бурсак поднес ей стакан молока. Она выпила и уже хотела было присесть на диван с пружинами, но вообразила, что Бурсак подойдет к ней, и...

— Пора! — сказал Бурсак и пригласил к фаэтону.

Терешка быстро привез их в город. Вот уже и салон дамских нарядов мадам Фани, вот и белые боги наверху музыкального магазина братьев Сарантиди, кафе де Пари.

— Наш маленький Париж... И никто о нем стихов не пишет. Почему?

— Нет поэтов, — сказал Бурсак.

— Копят золото. И он... — ткнула она пальчиком на Терешку.

— Он свое богатство нашел в обыкновенном матраце, — сказал ей Бурсак на ухо.

— Вы не ответили: почему над храмами кружат птицы?

— Их там бережет... — он взмахнул рукой в небо.

— А у наказного атамана свет во всех окнах.

— Да разве вы не знаете? — там Воронцов-Дашков.

— Когда-то девочками мы пели во дворце другому наместнику. Мешочки с гостинцами в руках.

Они проезжали мимо дворца в ту минуту, когда граф Воронцов-Дашков, кончив игру в винт, переходил с графиней в столовую попить чайку. Два казака переминались в наряде у подъезда.

— Я здесь сойду, — сказала Калерия. — Вы были любезны, благодарю вас.

«Зачем она меня вызывала? — думал Бурсак. — Она мне нравится».

Калерия пошла по тротуару к своему дому такой гордой походкой, будто освободилась она наконец от навязчивого воздыхателя.

Через два дня от Калерии принесли еще один конверт без штампа. «Я хочу вам рассказать тайну. Мне было девять лет, и даже тогда моя няня не казалась мне старой. Она была русская, но ворожила, как цыганка. Я удивлялась, если видела ее за каким-нибудь обычным делом. Дом пропах травами. В темноте она своими травками мыла мне голову, приговаривая. Потом я сидела у печки в шерстяных носках — поставлю ноги на голову собаки и сижу, сушу волосы, щепки подбрасываю. Сколько я себя помню, всегда наша жизнь была тесно связана с Хуторком. Там, и только там, была для нас вся радость. Тихие и жаркие летние вечера; от речки аромат водяной мяты; в зеленых камышах звон да свист; млеет уставший от долгого дня сад. Даже пчелы наморились за день. Мы направляемся в степь. Кое-где синеют курганы, а вдали они не то плавают на прозрачной воде, не то качаются в воздухе. А дальше, еще дальше — там, кажется, спустилось небо на землю, и если поднять руки, то можно свободно взойти на него. Няня мне объясняла: «Ще кажуть старые люди: есть такая дробина, так по той только дробине можно взлезть на небо...» По дороге к нам приближается большое стадо, все благородная тонкорунная порода. Крик молодых ягнят, зов маток, посвист чабанов в мохнатых бараньих шапках — все как в далекие времена. Пастух и теперь, как во времена Авраама, часами стоит в степи, опираясь на свой длинный посох. Мы идем к калмыцким кибиткам. Там вырастает хорошенькая калмычка, ее скоро украдут, она знает об этом; темной ночью подъедут верхами сваты, и, будто не ведая о том, выйдет калмычка из кибитки, ей подведут коня... Так я жила. Все прошло... прошла и юность, и ея радости. Я была до 1900 года единственной дочерью. Валялась в саду на траве и воображала себя бог знает какой принцессой. Мне с детства отец внушал, что я некрасива, а няня сказала, что я чудо как хороша. Она всегда добавляла, что я всегда буду самой красивой, быстро выйду замуж и проживу долгую жизнь, но, когда мне будет девятнадцать лет, я прочитаю (так она и сказала — п р о ч и т а ю) о человеке, которого буду любить. «Ты вспомнишь, — сказала няня, — когда встретишь его». Я действительно почти все забыла. Где я прочитала о вас? В семейной хронике рода Бурсаков, недавно в газете. Я вспомнила один случай! Помню, любила я по лестничке-доске, что позади старого дома, взбираться на крышу с книгой и читать. Вид такой чуд-

ный... весь хутор, и сад, и речка передо мной. Раз приехал в Хуторок Бурсак, ваш покойный дядя, и, когда я слезла вниз к вечернему чаю, отец, представляя меня, с некоторой гордостью сказал: «Оце такие девчата вырастают в наших бурьянах!» Теперь он их повторяет часто. По отъезде пана Бурсака няня рассказала мне одну историю. Помните ли вы эту женщину? Она была дворовой вашего деда Петра. Знаете ли, что она его любила и их разлучили его родственники? Она бросила нелюбимого мужа Скибу и вернулась из Керчи на Кубань, хотела пойти в монастырь, но отец мой случайно уговорил ее и взял в няни на пять лет. Она прожила у нас семь. Она-то мне все и рассказала. Знаете? Но я потом забыла. Вы не поверите! Я знала вас давно. В 1907 году вы шли по улице с Толстопятом. Я запомнила ваши удивленные глаза. Няня говорила: «В тот день ты даже руки свои вспомнишь». У вас вообще такой взгляд — удивленный. Я шла от улицы Дмитриевской и повторяла: «Как же так? Я все это знаю, а он нет». И когда вы ехали со мной к Бурсаковским скачкам и сказали, что для вас это неожиданно, я только тогда поняла, что вы действительно ничего не знаете. Я была поражена ничуть не меньше, чем своим «знанием». Но я ничего не скажу о словах няни Анисьи о в а с. Вы понимаете теперь, как я была потрясена, когда меня собирался похитить Толстопят? И была потрясена, когда вы на берегу рассказывали, как погиб ваш дед Петр. Я думала, вы нарочно рассказываете...»

Дней через десять он случайно встретил ее на своей улице. Он вышел в десятом часу вечера и увидел ее под высокой акацией, неподалеку от своего дома. Она, верно, давно тут стояла или ходила туда-сюда мимо окна. Окно было растворено, Бурсак играл в темноте на фортепьяно.

— Здравствуйте, — сказал Дема. — Что вы здесь делаете? Колдуете? Спасибо за письмо. — Она молчала. — Я ценю тонкие чувства. Мне нравится также, когда ими пренебрегают. Ну? Что молчите? Жить, говорят, надо легко, а говорить быстро.

— Бог с вами, — сказала Калерия туманно и простилась.

И еще одно письмо прислала она ему.

«Я пишу вам, живя в одном городе, — не странно ли? Вы, наверное, читаете и улыбаетесь, если можете улыбаться по-хорошему. Я больше не назначаю вам свиданий. Я в а м н а р о д у н а п и с а н а».

Первые письма... От каждой строки, буковки, восклицания, вопроса, намека горит сердце. Неожиданная близость соединяет тебя с той, которая адресует слова тебе. За словами и знаками чувствуешь все скрытое, самое главное, и кажется, твоя рука уже берет ее безвольную руку.

Ночью ему казалось, что он полюбил Калерию. Но что будет, если узнать Толстопят?

Бурсак мысленно пробирался к ее постели, целовал ее руки, шейку и, обволакиваемый туманом нежности, вдруг холодел: нет! переступить через друга неблагородно!

НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ

Осенью в Екатеринодаре бывало так тихо, словно все выехали в степь на коши, и мадам Елизавета Бурсак, пройдясь по запущенному саду, говорила племяннику Деме: «Живем, а ничего не происходит...» Она каждый вечер объезжала на фаэтоне знакомых, щебетала несколько минут в одном доме, в другом, и ей от новостей казалось, что со всеми что-то случается, у каждого какие-то прибыли и убыли и только у нее все одинаково день ото дня. Конечно, ей дела не было до того, что на Ростовской улице в ночлежке носили сейчас, пока она грустила, железные койки, что у отставного писаря, продавшего сад за пятьсот рублей, родная дочь, когда он уходил в ресторан «Орел», вытащила четыре сотни, что пекарь Кёр-оглы писал в городскую управу прошение на право устроить в Чистяковской роще пивную с буфетом и горячими закусками, что Лука Костогрыз, этот допотопный казачина с оселедцем за ухом, листал в книжном магазине Запорожца брошюру о старых атаманах и умилялся их образом жизни: «Всегда рано или поздно я заставал атамана в его флигеле-канцелярии с кисетом в руках, с черепяной люлькой в зубах», что, наконец, в тот час, когда она изливалась перед племянником в тоске, назрело событие, которое потом войдет в летопись борьбы за власть в этом сонном городе Екатеринодаре, — начинался процесс над убийцами братьев Скиба.

Генерал Бабыч так и не разобрался в том, что произошло год назад в ночь на 3 мая 1908 года.

В пятом часу ночи его разбудил полицмейстер и доложил об аресте и убийстве трех членов группы социал-революционеров. Бабыч приказал начать расследование.

В ночь на 3 мая, в ту самую ночь, когда Бурсак перечитывал записки своего деда, жандармский полковник Засыпкин вызвал помощника полицмейстера Г. и уведомил, что нынче по городу состоятся обыски и аресты социал-революционеров и ему, помощнику полицмейстера, поручено взять с собой городовых, агента-офицера и нескольких казаков 1-го Екатеринодарского полка. Ожидалось сопротивление.

В три часа ночи в доме № 164 по Ярмарочной улице все спали. На крик «полиция!» хозяин открыл дверь. Наставив на него два револьвера, вошли помощник полицмейстера, полковник Засыпкин и низенький полицейский с черными усиками — Цитович. Целый час обыскивали дом, разрыли постели, в мешок покидали нелегальную литературу, а двух сыновей хозяина и квартиранта повели в участок. Через несколько минут мать с отцом услыхали выстрелы и, неодетые, босиком, выскочили на улицу. Детей вели к углу Ростовской улицы.

По одной версии — арестованные побежали, и полиция стала стрелять. По другой — первым без всякой причины выпустил патроны помощник полицмейстера.

Кому верить? Бабыч полагался на суд. Олимпиада Швыдкая шла в пятом часу из Круглика от товарки и видела, как вели троих парней во второй участок. «Сто-ой!» — перепугал ее крик, и она под залпы ре-

вольверов зажмурила глаза и прибилась спиною к стене дома. За одиночными выстрелами последовали выстрелы с мостовой.

На крики и какой-то частый гром открыл окно Василий Попсуйшапка. Странное дело! — под его окном лежали молодые парни, один из них, еще живой, спрашивал со стоном: «За что вы нас убиваете?» Помощник полицмейстера (с белой повязкой на голове) подошел и добил его выстрелом в щеку. Попсуйшапка закрыл окно, оделся и вскоре выглядывал в щель ворот. Помощник полицмейстера остановил проезжавший фаэтон. Без пассажира лихач Терешка.

— Почему задержали? — вопил жирный голос. — Я Фо-осс! Знаете?

— Ну и что, что Хвост, — сказал пристав. — Если хвост длинный, отрубим. Слушать приказание!

С полицией лучше не спорить: Терешка согласился отдать фаэтон для перевозки трупов на кладбище. Цитович выгреб из кармана убитого шестьдесят две копейки и передал их извозчику. Терешка не взял. Когда грузили убитых, в одном из них узнал Попсуйшапка клиента, которому Хотмахер в прошлом году сшил шляпу рафаэлевского фасона.

— Ох мои дети! Ох мои дети! — кричал отец.

Швыдкая постращилась стоять дольше, перекрестила издалека фаэтон и пошла домой на Пластуновскую.

Бабычу на вершине власти в Кубанской области некогда было сочувствовать единицам; надо было управлять массами по тому же принципу, что и царь. Что власти до одной какой-то человеческой судьбы, если она, власть, хочет продержаться подольше? Всех не запомнишь, на всех не разорвешься. Царь и двор не простят генералу, если он от усталости или по либерализму спустит массам нарушение самодержавных традиций. Там ошибок не любят. Отец с матерью потеряли своих сыновей, но точно так же потеряет родных детей он, Бабыч, коли дать волю максималистам. Жестокая схватка. На покое, после того как сломил и прикокошил он революцию в Новороссийске, жить ему опасно. Записки подбрасывались во дворец каждую неделю. Что делать? Сомневаться в полковнике Засыпкине? Другой тайной стражи в городе нет. Анонимки разоблачали Засыпкина. Милый рассказчик неприличных анекдотов, Засыпкин старался доказать Бабычу за назначение на пост, что верой и правдой служит отечеству и в первую очередь оберегает жизнь самого генерала. Идея угрожающих писем принадлежала ему, его агенты подбрасывали их за подписью «коммунистов». Надо было запутать все на свете и вину за свою государственную нерадивость перевернуть в бдительность. Все сведения о подозрительных личностях в его руках — почему бы иной раз не воспользоваться охранкой в своих целях? Держать старого генерала в страхе, выдумывать виновных, хватать первых попавшихся, если нет ума найти истинных подпольщиков. Внушить Бабычу, что анонимщики покушаются на его верного слугу. Жизнь — служба, а на службе — сплошные подсиживания. Люди завистливы, тщеславны, обидчивы. Полковник Засыпкин назвал в жалобе имя анонимщика, которого он не повысил по службе. Писал даже не он сам, а его дочь. Кому же верить? Все могло быть: мог кто-то по злости направить донос, мог и полковник создавать дела, которых нет, кутить в темных углах с девицами на казенные секретные деньги. Но зачем ему убивать наказного атамана во время молебна или посылать к нему женщину с прошением, зачесав ей на голове маленькую бомбу? Убийство получило огласку, и, когда началось следствие, свидетели облили полицию грязью, и только помощник полицмейстера молчал о роли Засыпкина. Почему братьев расстреляли? Точно ли они побежали? Правда ли, что помощник полицмейстера, по одной версии, унес мешок нелегальной литературы с места обыска, а по другой — спешно набивал мешок подозрительными книгами уже в полицейской части из шкафов? От смертной казни Бабыч спасти его не мог — на то гласный суд, и лишь государь имел волю помиловать. Власть на стороне ее защитников. Даже если они превышают закон, она им сочувствует.

Но всех ли выловили? В ночь на 3 мая, когда громили семью Скиба, арестовали в Екатеринодаре шестьдесят восемь человек, и только пятеро из них оказались заговорщиками. Вот над чем приходится ломать голову, а убитых никто не считает.

Странно! — с того майского погрома по области и по всей России наметился спад недовольства, и с каждым днем становилось тише, спокойнее, и слова премьера Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» — как будто разом прикончили всех, кто думал иначе.

Зато члены союза св. Михаила Архангела никого не миловали:

— Не верьте прельщениям! Волков в овечьей шкуре подослали на гибель всего русского. В нашей горсти — будущее России. Мы смоем с ее лица черное пятно, наложенное мнимыми освободителями.

«Что творится, — думал Попсуйшапка. — Это они так всем ноги переломают».

Накануне судебного процесса Попсуйшапка подслушал разговор союзников в ресторане Старокоммерческой гостиницы. Неделю назад на Старом базаре смотритель местной больницы хвастался, что скоро в Екатеринодаре будут жечь и громить инородцев, а полиция якобы будет помогать в этом. Теперь за соседним столом речи продолжались на ту же тему. Союзники не умели держать язык за зубами даже в тех случаях, когда что-то надо было хранить в секрете. Уж вроде бы высказались они до дна, нет — все было мало: едва сходились, повторяли вчерашнее. И сейчас толстенький говорил сыну помощника полицмейстера, который кидал в него как-то канделябр, тем же указательным тоном, что и на улице Рашпилевской в отделе:

— Пока мы не изобьем всех ёных, не вырвем их с корнем, у нас не будет ничего хорошего. Они мутят народ. Сместить нашего государя? Не будет их здесь, мы их доконаем, мерзавцев. Полиция на нашей стороне. Это им не Баку, где они бомбы прячут в алтарь. До сих пор нас держали как волков на цепи, а теперь мы им покажем.

— Доберемся, посчитаемся. — Товарищ погладил рукой жирный затылок. — Ни одного в Екатеринодаре не останется. В Армавире некоторые умники бежали на станцию, на товарняк лезли, лишь бы скрыться. В девятьсот пятом году хомут на Екатерину Вторую повесили, это им не забудется. На флагах что писали?

— А? — толстенький, умевший слушать только себя, не понял вопроса. — За батюшку царя разрежем их подушки, — сказал он свое. — Пятьдесят человек хватит? Я на Старом базаре поработал, хорошо-о позвенели стаканами у Баграта. А им что! — они быстро керосин на этаж втащат.

— Пожарникам воли не давать.

Попсуйшапка, притворно опустив глаза в тарелку, ловил каждое слово. Неизвестно почему, но он ненавидел их. И боялся. Ему казалось, что эта братия у него порежет подушки ни за что ни про что. Так ведь и было в Армавире: больше всего пострадали тихие русские люди, добрейшие врачи и благотворители.

«А чем Богарсуковы, Демержиевы, Тарасовы не хозяева? Или Черачев Борис Власович? Придет к нему кто-нибудь: «Помогите. Лошадь и фаэтон хочу купить». — «А ты не пьешь? Нет?» Пошлет на Сенной базар, чтоб дали сбрую, хомут, туда— чтоб дали коней, туда — возьмешь фаэтон. Садись и езжай. И оплачивает. «Потом рассчитаешься». Умей сам так жить и ворочаться. Хотмахер родному брату не доверит товар, а мне доверял. Может, я чего-то не понимаю, но так нельзя. Мы, русские, всякую нацию ценим. У нас тут сколько их: греки, персы, турки, болгары! И везде друзья у меня есть. Не по кулачному бою, а по де-елу. А ты жирный затылок наел и еще лезешь царя спасать... Когда погромы в Одессе были, отец Иван Кронштадтский писал вам что? Люди православные, — писал, не губите душу кровопролитием. Я так же думаю, хоть и за три копейки у дьякона учился».

— Завтра суд над вашим отцом, — сказал толстенький, — и надо показать им кулак. Они все социалисты.

У себя в мастерской Попсуйшапка кроил шкурки и поглядывал в окно: нет ли где толпы? Никто не бежит?

В два часа дня он пошел к шапошникам в магазин Хотмахера и на углу улицы Красной и Гоголя попал прямо в толпу. Попсуйшапка принял сборище за союзников, но ошибся: то стояла интеллигентная публика, желавшая перед зданием окружного суда призвать к наказанию помощника полицмейстера по всей строгости. Но шествие их к Крепостной площади было остановлено шумной оравой союзников. Они приближались от улицы Гимназической с портретами императора и национальными флагами. Попсуйшапка расслышал, что они пели. Они пели «Спаси, господи, люди твоя». Обыватели прирастали к ним. Попсуйшапка бочком стал выбираться из гущи к дому грека Акритаса. Толпы сошлись: несколько союзников с царскими портретами рвались вперед. Полетели камни.

— Бей социалистов!

— Гимназиста убили!

На тротуаре уже кого-то били палками. Высокий учитель бросился к союзникам с револьвером, но Попсуйшапка схватил его за руку, обцепил и упал вместе с ним. «Не вздумайте, не вздумайте!» — кричал он учителю. Раздался выстрел. Пуля попала в портрет государя. И тут с ревом погнали манифестантов к Рашпилевской.

— Жечь врагов России! До основания!

«Куда ж Бабыч с полицмейстером смотрят? — спрашивал Попсуйшапка. — Мы так сами себя перебьем». Он уже позабыл, куда и зачем вышел полчаса назад. Воспаленный выстрелом учителя, напуганный безумием, иенавистью екатеринодарцев, которые еще вчера, еще утром сегодня тихо ходили по этим улицам друг мимо друга, Попсуйшапка решил убираться поскорее домой, но любопытство поманило его на Рашпилевскую. Он с детства боялся драк, страдал, если на него повышали голос, обходил стороной хулиганов. Когда Дубинка и Покровка шли стенка на стенку, когда в станичных кутках бились за девок молодые казаки или когда читал о самосудах над ворами, с ужасом думал о злобе людской. Ненависть, разрастаясь, не знает конца.

У двухэтажного дома доктора Лейбовича царила суматоха. В доме напротив испуганные хозяева выставили в окна иконы. С докторского балкона торговец готовым платьем уже кричал: «Нашли гектограф и семь брошюр «Идеи марксизма».

Толпа осмелела вовсе. Несколько человек побежали к подъезду и скрылись в доме. «Убьют доктора», — проскочило в голове Попсуйшапки.

— Ты-ы, Лейбович! — кричали из толпы, кажется толстенький. — Ты думаешь, мы не знаем, что вы надумали сделать с Россией? Не будет вам республики! Земский собор будет. Смеетесь над нашей религией, в Одессе бросали вонючие яйца на нашу святыню. Нас мужиков сто тридцать миллионов. Помни! Будет вам хорошая закуска.

— Пока еще наш царь не висит на гнилом дереве, — сказал кто-то другой, потише, — выезжайте отсюда, иначе к хвосту лошади привяжем за волосы и так пустим.

— Керосин где?

Из дверей вынесли кучу белья и бросили на тротуар. Босяк Пашка-косой вытащил оттуда дорогое пальто, свернул и зажал под мышкой. Несли керосин.

Сверху бросали стулья, диваны, кувшины; наконец выкатили рояль, туго подняли его и отцепили руки: беккеровское лаковое дерево раскрошилось в куски. Загорелись комнаты.

Высокий, плотный полицмейстер в белой папахе невинно стоял на мостовой в окружении улыбающихся городовых. «Будут грабить, а полиция поможет», — вспомнились Попсуйшапке слова толстенького. Пух из распоротых подушек летел по Рашпилевской.

— Пожарных не подпускать, — сказал полицмейстер. — Пусть жид погорит. За дело. Не будет на революционных обедах призывать к суду моего помощника.

— Едут тушить! — увидели пожарный обоз. — Не сме-ей! Пусть горит!

«Где ж генерал Бабыч? — думал Попсуйшапка. — Надо молебен устроить и увести толпу. И Анапского батальона не видно».

Бабыча привез в фаэтоне Терешка. В эти минуты с громом упал с балкона кованый сундук. Бабыч приказал толпе отойти от дома на тридцать шагов. Без наряда казаков власти его не чувствовалось. Казаки 1-го Екатеринодарского полка прибыли на лошадях из Самурских казарм через десять минут.

— Почему в громил не стреляют? — подскочил к Толстопяту Попсуйшапка.

— Не приказано.

И тут кто-то завопил: «Пойдемте возьмем музыку! В войсковой хор! В войсковой хор!» Попсуйшапку спихнули к забору, и обыватели сперва с ревом, ничего не соображая (лишь бы куда-то направить свой растерзанный дух), потом с пением «Спаси, господи, люди твоя» повалили в сторону Карасунской улицы. Дом все горел, и брандмейстер с большими усами матерно ругался на пожарных.

Отчитав полицмейстера, приказав казакам на всякий случай оцепить синагогу, Бабыч уехал во дворец.

Попсуйшапка поехал в Пашковскую рассказывать о погроме Луке Костогрызу.

Утром на Старом базаре Пашка-косой продал пальто Лейбовича за десять рублей.

Тетушка Елизавета спала до обеда и за чаем спокойно слушала рассказ мадам Камянской о том, что вчера был в городе какой-то шумок.

1910 ГОД

В начале года хоронили в столице бывшего наместника Кавказа великого князя Михаила Николаевича; детей его нянчила Анисья, и Бурсак опять запылал желанием найти дарственный самовар.

Государь торжественно заявил кубанскому духовенству во время приема: «Успокойтесь, все останется по-прежнему».

Все так еще и было. Восемнадцать православных екатеринодарских храмов отворяли свои двери верующим. Хвостатая комета на небе, такая же, что и в 1812 году, перепугала на мгновение, но уже через неделю уполномоченные обносили подписные листы на памятник Николаю I в Геленджике. Возле Ненасытецкого порога, посредине Днепра, намечали высечь в скале барельеф киевского князя Святослава; наследнику послали снимки древнейших церквей, построенных еще запорожцами. 18 февраля незаметно проехала из Новороссийска царская сестра, великая княгиня Ольга Александровна; в этот же день на обеде «земно кланялись и слезно прощались» с атаманом Ейского отдела А. Я. Кухаренко, известным еще тем, что в старости сиживал на кургане под станицей Медведовской в полной генеральской форме и курил люльку.

160 000 заключенных ждали воли.

Читали в «Новом времени» откровенные «Письма к ближним» М. О. Меньшикова, а на бане Лихацкого — объявление: «Пятница — день, когда купаются женщины».

За участие русских плотников на Всемирной выставке в Париже один из них получил орден Почетного легиона.

Ложа на концерте Шаляпина стоила сорок рублей.

24 мая, в день гулянья в пользу «Яслей» в саду Ирзы, Попсуйшапка выиграл чайный сервиз, но ему недодали шесть блюдец и молочник, и он после извещения в газете ходил за ними к мадам Бурсак. Вечером кто-то нарочно забыл в фаэтоне Терешки чемодан с прокламациями. По дворам с тюками шелка расхаживали сыны Небесной империи, китайцы; против городского сада рабочие штукатурили дом Ждан-Пушкина.

Пока Бурсак искал бабку Анисью по области, она в Полоцке молилась при внесении мощей преподобной Ефросинии. От кадетского корпуса нес знамя великий князь, которым дразнили в Екатеринодаре Калерию Шкуропатскую.

Премьер-министра Столыпина возвели в графское достоинство, 15 сентября пел в Екатеринодаре Шаляпин, а поздно осенью умер Л. Н. Толстой.

В 1910 году литературными идеалами екатеринодарских гимназисток были княжна Джаваха, Елена Робинзон, Онегин, Лиза из «Дворянского гнезда» и Татьяна Ларина.

На войсковом кладбище выбитые на камнях надписи напоминали о бесконечной печали: «О люди! Что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь мы, то и вы скоро будете...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРАЗДНИКИ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

> — Сожалею, что не смог лично присутствовать на торжествах. Надо же найти время и для того, чтобы подать руку счастью...
>
> *(Из разговора)*

СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЙ

В Петербурге никого Толстопят не вспоминал так часто, как сестру Манечку.

Издалека он разговаривал с ней, но сесть за стол и приложить руку к бумаге ему было некогда. Манечка строчила ему на листах екатеринодарские и домашние новости. Толстопят успокаивал свою

совесть тем, что без конца отвечал ей шутливо-ласковыми устными посланиями.

Они были такого рода.

В то время, мол, как вы ленитесь, спите в мягких постелях, отмыкаете ключами счастья двери ситцевых вечеров и Чашек с чаем, ездите верхом на Терешке в магазин мадам Фани или полотенцами гоняете мух по комнатам, мы тянем лямку службы вблизи самой власти. Изо дня в день наши казаки при царе и его августейшем семействе. Камер-фурьерский журнал толстеет от расписаний: высочайшие выходы по случаю Нового года, крещенского водосвятия, пасхальной заутрени, дней рождений, бракосочетаний, коронования и т. п., встречи иностранных премьеров, королей и проч. То надо проводить вдовствующую императрицу до границы (и получить, между прочим, из ее белых ручек серебряные часы с гербом), то великокняжеский выезд в Мариинский театр, то вот сейчас готовимся в Ливадию. Когда портить бумагу? В малахитовом зале Зимнего дворца нижние чины сперва разевают рты, отдают сами себе честь перед зеркалами, ну точь-в-точь как наш батько в молодости, когда ходил к «аблакату» в суд и в приемной наткнулся вдруг на своего покойного брата Ивана, с испугу спросил: «А ты тут чего, Иван?» — а потом разобрался, что то ж он сам отражается в зеркале. Что наш казачок видел? Бахчу в степи, скотину во дворе и в царине, скачки, армянскую лавку на базаре. Тут вокруг него сиятельные особы, дамы, камер-пажи и царская родня. В Петербурге у подъездов семечки не лузгают. На второй год службы казак привыкает к царской особе как к станичному атаману и может заслужить от него улыбку и вопрос: «У вас есть сестра? брат?» Я, конечно, ответил: «Есть, ваше величество, ангелочек, сестричка Манечка». Мы, слава богу, не конные жандармы, гонять демострации. Мы конвойцы, телохранители. Сидит казак на запятках экипажа и смотрит одним глазом на шляпку великой княжны Ольги, другим — в сторону. Мы не блестящие кавалергарды на гнедых конях, не золотистые кирасиры и не синие уланы; мы усатые казаки в черкесках из лодзинского сукна, без гусарских ментиков на дорогом меху, в папахах вместо черных доломанов. Наши нижние чины больше всех гвардейцев напоминают царю народ, от которого он отгорожен дворцами и полками. Эти нижние чины всегда у него за спиной. Обо мне на следующий год можешь прочитать в справочнике «Весь Петербург». Но я все равно твой братец и навеки кубанский казак.

По всем дням занят. Живем по царским часам. Государь еще не завтракал, а мы уже почистили и накормили коней, распределили дежурство, проверили снаряжения. С десяти до одиннадцати утра у государя прогулка, наши чины стоят по всем аллеям и уголкам и, если он проходит мимо с наследником, вытягиваются в струнку и перед ним и перед шотландскими лайками. В одиннадцать часов (через день) я посылаю во дворец вахмистра с судками, запертыми на ключ, — государь собственноручно пробует пищу конвойцев и всегда изволит отмечать свое впечатление. Когда он в час дня плотно завтракает в семье (любит, говорят, кубанские борщи, кашу, блины, монастырский квас по рецепту Саровской пустыни), мы все равно в делах и в бегах: везде посты и наблюдения. Не думай, что это легко. Будет казак вспоминать о доме или о прачке из ближайшей деревни — проскочит какая-нибудь тварь с бомбой. После неудачного покушения в 1906 году, когда через нашего казака хотели проникнуть с бомбой во дворец, караул стал еще строже. Казак тогда принес командиру конвоя десять тысяч рублей и заграничный паспорт, которым его снабдили заговорщики. Ему тут же дали звание урядника. Каждый из нас в любую минуту может заплатить головой за царскую жизнь. Господи, сохрани и помилуй! Едет он в пятом часу по кружной дороге Боболовского парка, а ты только и думаешь, как бы не сосчитал всех ворон казак твоей сотни, не закурил тишком или не разговорился с молочницей-чухонкой, которой по парку позволено ходить свободно.

По обезьяньей привычке подражать пишу тебе огрызком карандаша, наговаривал Толстопят слова, в твердой уверенности, что он их вечером вправду запишет. Мне сказали как-то, что государь довольно бережлив и карандаш обыкновенно исписывает до конца, а последние кусочки отдает на забаву своему ненаглядному сыну Алексею. Ну, у меня-то сынка еще нет и даже нет на примете чудной головки, возле которой бы я спал на подушке в своей квартире, как спят мои товарищи-офицеры. Вместо хозяйки у меня денщик на кухне, я его недавно три раза ударил по щеке. Послал его купить кружку сметаны, прихожу домой и, представляешь, вижу: в кружке половина съедена. Он мне, морда, говорит, что не трогал. Еще и кричит. «Бью тебя, — говорю, — не за сметану, которую ты поел или отдал щенятам, а за повышение голоса и за сделанный тобою шаг ко мне!» И — восемь суток усиленного ареста. Думаю, переставил бы кто каким-то чудом нас местами — он бы меня задрал как курицу, так что я еще добрый. Денщик мой, кстати, играет на гармони лучше всякого босяка. И вот он торчит у меня. Внук Костогрыза счастливее! К нему прибыла из Пашковской баба, детей привезла. А мне не с кем на ночь прощаться, как это заведено в царской семье; не осенить на сон грядущий малютку крестным знамением. Нету! Но женюсь! И, как все, получу на свадьбу благословение самого государя и попрошу его быть восприемником моего сына при крестинах. Моя нареченная положит в шкатулку царский подарок: какую-нибудь брошь, украшенную бриллиантами, и удостоверение. А подросший сынок где-нибудь напьется, взмахнет шапкой и закричит: «Меня сам царь крестил!» Так уже было в станице Шкуринской.

Приехала бы, не раз заключал Толстопят в конце своего воображаемого письма, я тебе сниму комнату в Царском Селе. Тебе с твоей душою в самый раз гулять по его паркам.

— Будем живы и богу милы, — всегда вслух говорил сестре Толстопят напоследок.

Собственный его величества конвой в мае 1911 года праздновал свое столетие.

В марте Костогрыз написал в Царское Село внуку Дионису: если не вычеркнет его из списка генерал Бабыч да не отнимет господь здоровья, то приедет к нему в казарму с кубанским салом. С начала мая казаки по сотне так и шутили: «Ну, Дионис, наверно, дед твой уже поклал сало в сакву. Ты ж нас не забудь. Сто лет когда еще будет!»

Кому, как не кубанскому войску, было воспрянуть в гордости на юбилее конвоя! Потомков запорожцев призывали сторожить царских особ издавна. Боевая слава конвоя родилась в дни Лейпцигского сражения, когда из кубанцев сформировали лейб-гвардии Черноморскую сотню. Во главе ее стал полковник Бурсак. Силу казачьей шашки познали французы под Витебском и на Бородинском поле; древние города Европы видели всадников с копьями; топтали казачьи кони мостовые оскорбленного Парижа. Слава была! Обязанность погордиться ею возлагалась на мудрость войскового начальства: подобрать от рядового состава стариков, которые бы показали двору крепость казачьего духа.

Власть использует юбилеи для торжества государственности; простые люди взывают к ее праздничной совести: гордые ждут наград и повышений, обиженные и сиротливые — милости. Кое-кто злится; большинство живет, ничего не замечая.

Кучи писем завалили войсковой штаб и канцелярию наказного атамана. Беззубые старики, бывшие конвойцы, словно взбодрились надеждами. Многие обласканные в свое время мимолетным царском словом, в которое уже никто, кроме них, не мог уверовать, поспешили вставить то слово в строку рукою местного писаря и разориться на гербовую марку. Всяк из них доживал нынче в станицах по милости судьбы: у кого завалилась хата; кто-то потерял детей на японской войне; иной не мог забыть позора, павшего на его голову за проступок, и все еще стыдился станичников. Письма содержали одни просьбы.

Войсковая казна сроду жалась с денежками на именинные прогулки в Петербург. К весне набрались желающие поехать козырять Георгиевскими крестами за свой счет. Не наточило войско суммы с мирских сборов. Отобрали на даровое путешествие «на стальном вороном» (то есть на поезде) всего шесть урядников, не считая начальства.

— Ну, едешь с нами, Лука? — спрашивал Бабыч Костогрыза.

— Та если волов куплю, то поеду к внуку Дионису.

— Без тебя какой праздник. Или ты не чуял, что конвою сто лет? Я тебя еще перед великим постом записал. Только оселедец придется сбрить...

— На шо? Меня не то шо царь, а и Одарушка моя не признает.

— Не до шуток, Лука.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! — одернулся Костогрыз, испугавшись. Но упрямство родилось раньше Луки. — Там же форму за сто лет наденут? Ач! А у меня на голове оселедец, ему сто пятнадцать лет и больше. Его мне прадед привез в бочке. Вот и будет как та история. Надо за старые обычаи держаться руками и зубами.

— Что чуприны казаки перестали носить — невелика беда. И без чуприны они хоть кому могут носа втереть. А вот как полезет к нам в станицы всякая нечисть и начнет в них мудровать, то это будет кара египетская.

— Мы будем в свою дудку играть, своим разумом жить и за свои порядки стоять. Оцей оселедец надо носить и на голове за ухом, и в самой голове.

— Тебе, Лука, кажется, будто ты в Красный лес на охоту едешь. Во дворце прием, и будут они оглядываться на твой хвост на голове.

— А зачем же мы от запорожцев?

— Времена меняются. Ты вот женился, а запорожцы без баб чумаковали. Чего ж ты женился?

— Та природа требует! — сказал Костогрыз и приложил руку к сердцу. — Бабе цена грош, да дух от нее хорош.

— Оселедец сбрить...

— Там же все военные — не перепугаются, а дамам даже понравится. Как были наши самые первые казаки у Екатерины, по числу Второй, то водили их по всем царским комнатам, а за ними гурьбою князи та княгини. Морды у казаков бронзовые, штаны широкие и спускаются с халяв. Та чуприну за левое ухо закручивают, а царица на них смотрит, как кошка на солому, шоб не прозевать мышки. Вот это я понимаю! Потому Екатерина нам и землю на Кубани дала. Он же, Антон Головатый, стал перед ней на колени: «У тебя, маты, в хате как на небе. Дай нам хлеба на серебряном блюдце, и соли в позолоченной солонке, и земли, шоб нам вольно жити». И додал голосно: «Тай годи!» И гусиное перо ей в руку. То было времечко.

— То теперь как сказка.

— Какая сказка? Какая сказка? С булавой поедете?

— С насекой, — сказал Бабыч. — А оселедец сбрить...

— Рубля жалко. — Костогрыз попрощался, но спустя минуту приоткрыл дверь и крикнул: — А сала, батько, можно с собой взять? У меня ж там внук, Дионис. А чеботы я македонским дегтем намажу.

Македонским дегтем прозвали кубанцы греческую губную помаду.

Немыслимо теперь представить то уживание народной простоты и казенного долга, которое поминутно сказывалось даже в начальствующих лицах.

Два дня ели нижние чины в вагоне сало, пили чай с медом — это до Москвы; еще день угощали друг друга по дороге в Петербург, а все одно вылезли на Московском вокзале столицы с припасами. Свое — оно вкуснее. Лука Костогрыз побеспокоился о внуке: отрезал самый лучший кусок баранины, да с полпуда завязала бабка в тряпицу сала. Благо — расположили депутацию в Царском Селе, прямо в казармах конвоя. К вечеру 1-я сотня попробовала кубанского яствия. Да захватил Лука еще и винца, но уж так таил, что

ни одна душа не сдогадалась. А чего ж ездить бедным! Старые запорожцы тоже везли когда-то с собой угощения — не столько, правда, себе, сколько вельможам: наставили на телеги бочоночки с икрой, живой рыбой, лимонным соком. Под Орлом, кажется, передал Лука кусок сала в вагон 1-го класса генералу Бабычу, на что тот ответил через казака: «Все равно накажу, если оселедец не сбрил!» Замиренное, как горцы, ехало начальство на праздник. Казаки-урядники позволяли в своей компании баловаться на его счет шуточками. Ведь они были не какие-нибудь малолетки, а старые вояки, уцелевшие от пуль, холеры, малярии и прочих напастей. Им досталось. Путь-дорога в конвой сократилась колесами стального коня, а раньше даже от Екатеринодара до Ливадии забирало путешествие больше времени.

Трое суток везли казачью славу вместе, а в Петербурге, уже при встрече, все чинно разделилось и напал маленький страх перед самодержавной русской властью.

В Царском Селе придворный фотограф Булла снял Костогрыза с внуком перед казармой. Все знали в сотне, что после гибели отца в японскую войну Дионис с сестрой воспитывался у деда. У Феодоровской церкви пожелала сняться со стариком вся сотня. И Костогрыз, и молодые казаки выставились перед камерой с накинутым черным платком так вызывающе достойно и несокрушимо, будто передавали память о себе на века. (Через пятьдесят лет никто в архиве не мог назвать их фамилий.)

— Ну что, Лука? — спрашивал Бабыч, на сей раз как-то пугая генеральскими эполетами. — Не пропало казачество?

— Как же, ваше превосходительство, не пропало, колы казаки без оселедца.

— А ты не боишься своего атамана. Оставил.

— Нехай для истории.

27 мая молитва в Петропавловском соборе у могил императоров совершалась без нижних чинов. Лука Костогрыз тем часом крестился на Храм на крови, поставленный у Екатерининского канала на том месте, где убили в 1881 году Александра II и где Луку сбросила с лошади взрывная волна и оглушила. За чудо своего спасения он и возжет свечечку пред иконой Николая-угодника. Двух терцев убило бомбой. Уцелевшие казаки получили от великого князя Михаила Николаевича по двадцать пять рублей.

— Тридцать лет ушло, а как вчера, — сказал Костогрыз внуку. — В Петербурге и убили. У нас на Кубани такого не могло. Тогда, как приезжал он в Екатеринодар, поставили его на ночевку в дом отца Бабыча, почетный караул и дворянство разошлись, а он вечером нá тебе: вышел из дома и давай гулять на Крепостной площади. В Атаманском сквере, где теперь Катерина с крестиком. А там казаки у костров сидят, песни поют. Он с ними побалакал. Один конвоец за ним ходил только. Как каланча ростом. Грудь — во, плечи аршина полтора. И никто не стрелял! Его как у атамана накормили борщом, то он больше суток ничего не ел... У нас бы ему жить... А це москали его загубили.

— Сейчас, дедусь, по всему свету так, — сказал Дионис.

— Та какое нам дело до всего света? Мы знаем свою Черноморию и... Ой невесткам хорошего ситцу наберу! Пошли...

— Доедем, дедусь, к памятнику... Вы ще такого памятника не видели.

— А ну! — загорелся старик желанием побыстрее взглянуть на бронзового царя, его некогда выделявшего из всех конвойцев. — Читал, читал, как в позапрошлом году ставили. Как же нас в первый день вели с Московского вокзала, то я и не глянул на царя?

— Вы ж сало несли, — пошутил Дионис.

На памятнике у Московского вокзала Лука царя Александра III не признал. В жизни царь был могучий — да; гнул пальцами монеты, скручивал кочергу, шел так, что загораживал своими широкими плечами свиту, но на мертвой лошади сидел теперь стопудово и не на той лошади, что была под ним всегда, и выражение полновластного лица было какое-то придурковатое, дикое, азиатское. Но это бы бог с ним, а вот почему лошадь с голым задом, без хвоста? Лука закрутил головой. Внук Дионис насмешливо следил за его взглядом.

— Дионис! — закричал Лука. — А где же хвост?!

Лука так спрашивал во дворе только, когда пропадала куда-нибудь уздечка.

— Я не отрезáл, не знаю, — сказал Дионис.

— Семьдесят шесть лет прожил, помню: у коней всегда хвосты были. Или мне уже очки у аптекаря купить? Куда они хвост дели?

— То ж памятник...

— Я помню, на какой лошади он ездил. И хвост был! Та где ж он?

— Бронзы, наверно, не хватило. Тому, кто лепил, виднее.

— Тогда лучше и сраку было не лепить, — сказал Костогрыз и, не желая больше знаться с таким памятником, отвернулся и пошел к Невскому проспекту.

— А меня Бабыч заставлял оселедец сбрить. Ото чудеса-а! Шо це за лошадь? Кто на нее взберется? Не-е, це нарошно. Це сукин сын ставил. Власть без хвоста — це-е... Зад прикрыть нечем, так же?

И махнул рукой.

18 мая погода в Царском Селе была прохладная, но с солнцем. Лука без привычки замерз. Он встал раньше всех, по-петушиному, и сходил в деревню к чухонкам, попил молока.

На параде Лука Костогрыз без конца пускал слезу.

В Царском Селе с балконов длинного Екатерининского дворца и на земле у подъездов белели шляпки высокородных дам, кители и пиджаки сановников, русских офицеров и прочих гостей. Четыре сотни конвоя в красных черкесках выстроились в конном развернутом фронте, тремя фасами огибая площадь. Черные папахи, как гнезда на деревьях, тыкались на фоне светлых служебных помещений. Почти до царского подъезда растянулась пестрая шпалера бывших конвойцев. Командир конвоя невзрачный князь Тру-

бецкой и штабс-офицеры ждали на белых конях государя. Всех распределили по местам, ими добытым в службе; в торжественную минуту зуд гордости и чванства особенно велик.

Черкеска тянула Костогрызу левое плечо. «Хорошо бабка залатала на споде, а крючки пришила, бисова душа, неровно», — поругался он про себя. На ковре в парчовых малиновых ризах с серебряными, вышитыми золотом оплечьями выпирало животы духовенство. Вся самодержавная косточка России сдавилась на площади. Колкий страх перебегал порою по телу: это неприступное радостное общество вершит твоей жизнью!

Кажется, все уже видел и все-все пережил на своем веку Лука Костогрыз, но когда зазвучали трубы, потом протоиерей вознес до верхних окон дворца свое «Спаси, господи, люди твоя», когда каким-то животным чутьем предупредил себя старый служака, что князь Трубецкой развернул коня, чтобы скакать навстречу государю, — трепет и слезы захватили его снова. На белом коне объезжала фронт сама власть. Вытаращив глаза, потеряв на мгновение касание друг дружки, бездыханно вросли в землю казаки, слушая царское поздравление, чужими голосами отвечая на него от имени сотни. С особым почетом поздравлены были старики. Глаза Костогрыза блестели от слез. Это ведь и его годы службы в конвое прибавили к юбилею цифру. Не четыре, не десять, а двадцать пять с хвостиком. Забросил на четверть века родное жилище, богатую землю и скитался как тень за царями. Что хорошего видела его Одарушка?

На высокой красивой лошади царь Николай казался еще меньше, чем на земле. Не было в нем отцовской внушительности, и только глаза! Глаза большие, женские.

Трижды проходили конвойцы церемониальным маршем посотенно на шагу, рысью и наметом. У подъезда махал им крохотной ручкой наследник Алексей. Когда фронт снова выстроился, государь подошел к столику и принял из рук князя Трубецкого чарку вина.

— Сто лет конвой честно и верно служил царям и России как в походах, так и в мирное время. Предки мои ценили беззаветную преданность кубанских и терских казаков конвоя. Благодарю прежде служивших. Уверен, что и грядущие поколения будут служить по примеру своих славных отцов и дедов. За здоровье стариков и за ваше здоровье, казаки! Ура!

— Ура-а-а!

Отрадно было, что при словах «благодарю прежде служивших» государь полуобернулся в ту сторону, где с пышными бородами замерли в строгости старики; Костогрыз еще раз заплакал. Мало нужно простолюдину ласки, чтобы душа облилась еще большею благодарностью. Все вокруг внушало почитание, все говорило подданным: никакого другого порядка в русской истории не было и не может быть. Глядите на нас и знайте: другого никогда не будет!

Один маленький цесаревич Алексей пренебрегал дисциплиной парада: без матери он устал от пустого внимания дам и хныкал.

Фокусы джигитовки, показанные «при всем Петербурге», оживили ряды гостей и старых конвойцев. Ай да казаки! — топал ногою Костогрыз. И чего только они не вытворяли на сытых кабардинских конях! И двое на одном, и трое на двух; и боролись на скаку, и падали вниз, и клали коня на землю, подбирали раненого, и, как в станице Пашковской, хватали с земли монеты. Кто еще так может? Глядите и вы, шляпки и белые пиджаки, это вам не шампанское пить. Лука жмурился на секунду и представлял, как он сам со стариками вылетает на жеребце и кувыркается перед царем. Было, было когда-то такое в молодости. В ту минуту, когда великие княжны Ольга и Татьяна подавали джигитам призы и казачок, сняв шапку, поцеловал им ручки, Костогрыз крякнул и провел пальцем по глазам, — не страшно было умирать, раз есть в войске замена.

Обедали врозь.

Празднество продолжалось налегке. Обид не было: в зале с люстрами и золотыми росписями собрались дамы, генералы, офицеры, чины двора; в особом помещении быстро крестились и брали рюмки нижние чины. Там на спешных столах каждая персона искала карточку со своей фамилией; тут размещались как попало, к кому ближе товарищеское чувство. Там возвышали сами имена: баронесса Фредерикс, графиня Мусина-Пушкина, камер-фрейлина графиня Голенищева-Кутузова, свитские фрейлины — графиня Бенкендорф, княгиня Белосельская-Белозерская, княгиня Долгорукая, княгиня Трубецкая и прочие, все старинных российских родов; здесь звучали запорожские прозвища прадедов: Костогрыз, Рыло, Почекай, Перебейнос, Турукало, Хрящ. Там не ели, а ждали, потом выворачивали шеи к царю, к великим княжнам, министрам; тут не переставая кричали: «А ну, Лука Минаевич, загни! Нехай легонько икнется нашим домашним та всем родичам, помершим душам — царство небесное, а нам пошли, боже, здоровья». — «Я казак чубатый и усатый, а как гляну на кого — не иначе пан офицер!» — «За прежде служивших государю! Сыра земля, расступись!» В зале с уходом царя нависла скука, и хотелось домой; здесь жалко было подниматься от стола.

Вечером конвойцы пригласили депутацию на шашлык. Обмывали подарки, поднесенные от родной земли конвою: серебряную братину, черпак в виде кубанской папахи и адрес в серебряном бюваре. Костогрыз шутил и рассказывал байки.

— Колысь наказный атаман ездил в Петербург, так выбрал себе моего деда, казака из всех, такого, шо как дошла черта нашей кубанской депутации беседу вести с царем, покойным Николаем Павловичем, то все трусились, боясь рот раззявить, а дед мой как приступил, та как взялся переговариваться с самим царем, с царицею, так прямо зачудил всех во дворце... Начал рассказывать царю та царице, шо у нас на Кубани, как живут казаки, а казачки родят по два сына сразу, коровы по двое телят, а свиньи по шестнадцать поросят, то смеялись на все хоромы царь и царица и придворные. Ач! Так отакечки и выболтал казак

себе золотую медаль на шею чи на грудь и чарочку водки...

— Все бы ничего, — сказал он перед сном внуку, — да где я теперь дорогу к властям найду?

— Зачем вам?

— Я ж двенадцать писем привез, а как передать?

— Кому?

— И царю-батьке, и командиру конвоя, и министру двора Фредериксу, а одно великому князю Александру Михайловичу. Кто был наместником Кавказа, колы твой дед в Адагумском отряде бился?

— Воронцов-Дашков?

— Ой, бисова душа, уйди, а то ударю. Дашков сейчас.

— Шереметьев, чи шо?

— Оце деточки выросли, оце казаки.

— Малама?

— Та то был наш наказный. И чему вас учат, за шо кашу дают в котелках? Великий князь Михаил Николаевич! А его сыновей нянчила наша казачка. Анисья.

— Оно мне надо, — сказал Дионис.

— Надо не надо, а поможешь. Она ж, наша доля, не так блестит, как на параде. Кто будет за старых людей хлопотать? Лука и будет. Ты думаешь, я только языком почесать та оселедец крутить приехал? Двенадцать жалоб со мной. Хоть Бабыч и не возьмет больше на охоту, но я добьюсь своего. Тут одни слезы, а не письма. Найдем, как передать. Кормилица Александра Михайловна пишет, шо у нее атаман самовар забрал.

— Постойте... — Дионис поковырял в носу. — Наш пашковский казак Савва Турукало у великого князя конюшни чистит. Его и попросим!

— И пообещай, шо нальешь ему вина с моего бочонка, пускай подступается к князю.

— Может, и сотнику Толстопяту сказать?

— Не вмешивай его, он такой психованный, только напортит. Тут у меня ще от каневского казака письмо, — це ж бы самому государю в руки! Он мой однополчанин по Адагуму.

— Тимофей Рыло понесет государю пищу на пробу и отдаст.

— Та не положено ж, чи ты не знаешь? — сморщился от порядков при дворе старик. — Не положено его особу беспокоить прямым ходом! За это с конвоя выправят и накажут.

— Рыло такой смешной, как вы, царь ему простит. Он на колено станет, отольет пулю, царь ему простит. Царь его всегда спрашивает: «Тебе ничего не нужно от меня?» — «Как бы вы меня сосватали за чухонку, ваше величество, то я бы на Кубани коров развел...» Такой.

— Ну, если так, то давай! Каневской храбрый казак был. Низкое его прошение надо покрыть благодарностью. Тридцать пять лет беспорочной службы, двадцать семь в конвое, без штрафов и замечаний, как и я. Он тут все пишет. На, почитай...

— «...А на другой день встретили горцев в ущелье. Мы, увидев большое войско, возмутились духом. Я решился преследовать одного, имевшего в руках значок, с целью поймать живого и привести в отряд со значком, но план не осуществился, потому что у него подошва перемотана ремнями, он мог быстро бежать, а у меня подошва подбита вся гвоздями, я скользил по камням. Тогда я убил его, а когда оглянулся, то увидел, что нахожусь среди неприятеля, а отряд мой на версту от меня. Я поспешил спуститься вниз. «Ай, ай, урус, урус, джигит!» — горцы в ладони забили. На обратном пути я пятьдесят четыре раза переходил ручей. Я готов подтвердить присягою. Надеюсь на вознаграждение, сослуживцы надо мной смеются, выражаясь, что если такой геройский подвиг остается без вознаграждения, то кто рискнет на подобный подвиг еще, который не принесет никакой славы, кроме позора? И сознаюсь, Ваше Величество, что от одного стыда я должен сойти преждевременно в могилу, если Вы только не примете во мне участие, не наградите знаком отличия ордена св. Георгия 4-й степени...»

— Мы так можем схитрить, — сказал Костогрыз. — Как пустят меня с депутацией к Марии Федоровне, я там сделаю подношение. А не выйдет (Бабыч же и все начальство кудахтать рядом будут), то передадим с казаком.

— Тому сколько лет?

— Мы в ущелье бились в шестьдесят третьем году, считай. Полсотни лет прошло.

— О-ооооо!

— Чего? Чего, бисова душа, «оо-оо»? Мало наших костей там лежит? А кто живой, пускай его успокоят на старости. Марии Федоровне скажу!

Как раз поздно вечером сообщили о соизволении вдовствующей императрицы Марии Федоровны видеть завтра депутацию у себя в Гатчине. Встали в пять часов утра, прибыли в Петербурге на Варшавский вокзал. В Гатчине придворные экипажи доставили их прямо ко дворцу. Покойный государь Александр III забросил Царское Село, жил в Гатчине; Костогрызу был знаком здесь каждый пенек.

Нижних чинов отделили от Бабыча и офицеров и в маленькой комнате подали им чай и кофе. Скороход в чудно́й шляпе с перьями вполголоса объявил, что ее величество удостаивает казаков представиться ей, но только о времени будет дано знать особо. «Помнемся, ничего», — согласился Костогрыз и до одиннадцати размышлял в уголку о внучке и Попсуйшапке, не заладивших между собой. «Разрушится дом, в котором нет мира... — разговаривал он сам с собой, умолкал, потом далеко-далеко, через просторы, обращался к внучке на Кубань, наставлял: — Как проживешь, милая, так и прослывешь. Ласковое теля двух маток сосет, знаешь? Поклонись, голова не отвалится. Василь у тебя на все руки. А ты, Василь, сразу бы сказал: «Если не будешь почитать мою мать, я тебя выгоню!» Моя мать десять лет за слепым свекром ухаживала. Василь не пьет. Мой брат, бывало, как поедет на ярмарку — назад с одним батигом, и волов пропьет. Жинка детей прячет, а сама в сено. Слышит — уже кричит: «Казаки без дыму не гуляют!» Тебе такого?»

В половине двенадцатого тот же скороход повел их по большой и длинной галерее в приемные комнаты. Нижних чинов у дверей придержали. Такое ожидание

утомляло ноги. Через четверть часа скороход дал сигнал: можно!

— Иди вперед ты! — толкнули Луку Костогрыза. Тот перекрестился незаметно и стройно вошел в Белую залу. Двенадцать писем лежали в кармане. Бабыч и офицеры уже поговорили с императрицей и повернулись к двери, готовые представить гордость казачества.

Семнадцать лет не видел императрицу Костогрыз, а все то же, кажется, выражение недовольной жены сохранялось на ее лице. Маленькую, темноглазую, ее хотелось пожалеть: вдова, а без мужа на старости какая доля, хоть и в хоромах? Не такой она въезжала в Петербург на помолвку, датская принцесса Дагмара. Маленькая, а тоже умела строжиться на венценосного супруга; недаром фляжечку с коньяком за голенище пхал. Она сама подошла к казакам и сказала: «Здравствуйте, старики». Казаки ей ответили хором: «Здравия желаем, ваше императорское величество». Бабыч их подучил, в каких выражениях и какой речью приветствовать Марию Федоровну. Тут Костогрыз, к счастью, вспомнил то место в св. Евангелии, где Спаситель, поучая апостолов, заповедал не приготовляться к ответам заранее. Императрица протянула Костогрызу слабую ручку; он снизу коснулся ее своей шершавой ладонью и поцеловал.

— А вы ж, ваше величество, чи помните меня? — проронил он и для острастки взглянул на наказного атамана: можно ли ввязаться в разговор? Натянутый Бабыч, судя по виду, механически подчинялся всему, что происходило как бы по воле двора. Императрица улыбнулась, не раскрывая губ, помолчала.

— Помню...

— Вото ж когда турку прикончили и покойный Александр Николаевич Второй из Болгарии вертался в Петербург, его встречали. И народ, и весь гарнизон военный. Он в санях едет, а меня поставили дорогу расчищать. Люди как кинулись за ним — и военные, и дамы, шапками машут, звали, шоб вышли на балкон. И вижу: карета-возок. Я толкаю всех: «Дайте дорогу, дайте дорогу!» И, хоть мне приказано «с места не сходить», я подбежал и сунул голову в окно кареты. Батюшки! — то ж Мария Федоровна. Чи не помните?

— Помню...

— А потом, — расхрабрился Костогрыз, — Александр Александрович Третий, — я всегда и везде сзади его был, — сказал мне раз: «Ты ж, Лука, как нянечка ходишь за мной. Если что надо, обращайся, а остальное дело — уже мое».

Костогрыз на всякий случай подводил разговор к тому моменту, когда даст бог полезть в карман и вытянуть двенадцать писем. Императрица согласно кивнула головой, что, верно, означало: да, он был очень добр к простому народу.

— И вото ж когда вы к нам в Екатеринодар приезжали, так...

— Я помню. Я с особенным удовольствием вспоминаю путешествие по Кавказу, и ваш Екатеринодар, и скачки. Хотя и сентябрь, погода была летняя, прекрасная, а у нас в столице, видите, май, а какой дождь и холодно.

— И горилки не дают!

— Если бы не склонность к шутке, — сказала императрица, — казакам бы, наверное, в защите границ пришлось тяжелее?

Все важно подняли головы, одобряя тонкое наблюдение ее величества.

— За что у тебя кресты?

— Первый получил в Адагумском отряде, ваше величество; второй за взятие аула под начальством генерала Бабыча, батька нашего наказного атамана. Третий за дело при нападении на станицу Елизаветинскую двенадцатого августа шестьдесят второго года.

— Из какой сам станицы?

— С Пашковского куреня, ваше величество.

— Долго ехали?

— Короче, ваше величество, чем мой дед по матери. Моего деда по матери в сорок втором году побили плетями на ярмарке кущевские казаки. Шо ж. Он до того обиделся, шо решил идти куда глаза глядят. Переправился через речку Ею и наставил чеботы через Ростов прямесенько на Санкт-Петербург. Допхался аж до Царского Села, где в тот час был государь Николай Павлович и весь его дом. Прожил дед семь дней, пожелал видеть государя, но по случаю большой строгости аудиенции... аудиенции не удостоился, а посему пожаловал на высочайшее имя просьбу и явился во дворец.

— Вот как...

— Граф Канкрин повел его к адъютанту Паткулю. Адъютант повел к наследнику Александру Николаевичу, и тот дал моему деду по матери пятьдесят рублей. После этого дед свободно вышел из Царского Села и в тех же чеботах направился к пределам родной Черномории. Но наказный атаман Завадовский сделал такое предписание: «Внушить казаку Гусаку всю неуместность его просьбы...» Господи, пошли нам, шо было в старину.

— Давно не был в Петербурге?

Значит, императрица ничего не помнила. Разве она забыла, как спускали их на льготу, и она белыми своими ручками вручала значки и вензель А II тем, кто пострадал первого марта?

— С тех пор, ваше величество, как с эшелоном привезли мой гвардейский сундук на станцию Кисляковскую и мы выпили с товариством на прощанье горилки, кануло семнадцать лет. Я б еще служил, да дуже любил кавуны и свежие помидоры.

— А что, Петербург лучше Екатеринодара? Какую нашел ты перемену?

Костогрыз потянул пальцы почесать бугорок на затылке, но одумался и перенес руку на грудь.

— Сказать, шо лучше, будет неправда, ваше величество, потому ж у меня хата, пасека, мои атаманы. Сказать «хуже» — так шо я видел? Тогда, ваше величество, служба была... бродить по Петербургу было некогда. — Не теряя своей всегдашней зоркости, Костогрыз замечал, что искренность его понравилась императрице. — У меня ж и внук в конвое. Дионис, а фамилия моя. А поет хлопец, а пляшет! Вот он вчера меня и таскал по городу. Та зашли в один магазин, в другой, и уже, кажись, до дому можно.

— Казак, ваше величество, — оправдал Бабыч Костогрыза. — Впечатлениями объят до глубины души и сердца, а домой хочется. Выслужил богу и государю тридцать лет и двадцать почти лет живет в чистой отставке.

— Спасибо им за верную службу, — отпустила императрица благодарностью Костогрыза и сделала шаг в сторону высших чинов.

— Пошли, господь, шо было в старину, — тихонечко сказал Костогрыз. На Кубани он бы тут же запалил люльку.

Потом один из депутатов, полковник из дворянского казачьего рода, напишет в архив канцелярии наказного атамана: «По окончании аудиенции, продолжавшейся около сорока минут, Ея Величество, сделав общий поклон, удалились во внутренние комнаты. Насколько трепетно было ожидание этой аудиенции, настолько она произвела чарующее впечатление своим простым и высокомилостивым приемом, не поддающимся описанию. Скажем только, что не прошло и десяти минут после появления Императрицы Марии Федоровны, как пишущий эти строки, сознавая всю несоизмеримую разность положений, стал чувствовать себя под ласковым взором добрых глаз Императрицы особенно хорошо и легко. Прежнего томления как не бывало. На прощание мы все удостоились целовать руку у Ея Величества, после чего отправились в прежнее помещение, где для нас (особо офицерам и особо нижним чинам) был накрыт стол. Мы пили горилку, вино и откушали хлеба-соли».

Костогрыз и правда проголодался. Пока высокие чины чувствовали только то, что чувствовала императрица, улыбались тому, чему она улыбалась (и даже со счастливым умилением одобряли свою душу, что она ничего другого не выражает), Лука Костогрыз в этой Белой зале был, может, единственный живой человек. Он думал о том, что уже проголодался и только через несколько дней поставит ему Одарушка чугунок с варениками, что в Пашковском станичном правлении висел такой же портрет Александра III и за ругательства при нем казаки упрятывались в кловник на семь суток, что каневский казак спит и видит, как Лука привезет ему крест св. Георгия, а как передать его письмо, когда вокруг начальство, и как теперь вернуть справедливость, когда самого Александра III посадили на лошадь без хвоста? Пора им уже помирать, старикам. Императрица ни о чем не спросила толком. Поглядела на его оселедец при вторичном целовании ее руки и улыбнулась: «От запорожцев?»

— От самих, — сказал Костогрыз. — Колысь, ваше величество, мы были в Сечи, кишки вытряхали врагам, а как нас в Петербург зазвали, то царица Катерина за стол сажала и бандуру слушала.

— Передайте всем казакам и казачкам мой поклон.

Наконец они вышли. Начальство молчало. Бабыч кхекал, выкашливался и не поворачивал головы. Доволен или дуется — не поймешь.

Был ведь наказ перед отъездом.

— Не всем кубанцам, — говорил Бабыч, — суждено побывать в столице и видеть священных особ. Так давайте! Не мне вас учить, как держаться. Ноги у порога не вытирать как в станичном правлении. Говорить, когда спросят.

«Вот такие порядки, — подумал Костогрыз, вспоминая наказ. — Этикет. Хоть бы один заикнулся, шо конь без хвоста. Все видел на свете, но коня без хвоста? Какое можно письмо составить! «Все, ваше величество, видел, а коня без хвоста — нет». Писать, может, и ухоронюсь, а в казарме у Диониса сала покушать мне никто не запретит. Что за казак без сала? Одни кости...»

Долго было ждать праздника, долго собирались, ехали, и вот уже в царскосельских казармах обычный распорядок, депутация кубанская как бы лишняя, все шутки иссякли, офицеры вели дознания провинившихся, Дионис поехал за фуражом. Миг пролетел.

«По хатам! — думал Костогрыз. — Кобылу до случки надо вести. Атаман узнает, шо жеребец непородистый, будет лаяться — то и до новых свят запомнишь. Та с поезда прямо до внучки, — как они там: чи ужились, чи так и спят врозь? Ще налобники Василю купить и ситцу бабам».

В последний день проведал Костогрыз могилы конвойцев, с которыми был он в 1881 году в марте на мосту в миг покушения на царя. Все были терские казаки.

Двенадцать писем старик рассовал казакам, приставленным к царским особам. И напоследок выпала на него забота отправить с терской депутацией вдову Стефаниду Сагееву, казачку станицы Червленой, приезжавшую поплакать на могилу мужа. Дионис через товарища, возившего на примерку супругу командира конвоя князя Трубецкого, донес о печальном положении женщины: с далекого края прибыла она на могилу конвойца, погибшего в одну минуту с царем, а назад возвращаться не на что. Ее посадили в вагон с терской депутацией.

— Ну шо нового в том Петербурге? — выпытывал у Костогрыза станичный атаман.

— Шо нового. В Царском Селе как кувшин баба разбила, так и сидит над ним.

— Чего ж она сидит? — возмущался атаман, никогда не читавший Пушкина. — Семьи у нее нету, чи шо?

— Она бронзовая. А императрица Мария Федоровна сказала так: если ваш пашковский атаман хоть раз дулю кому скрутит, пиши, Лука, прямо на мой домашний адрес.

В то время были еще кое-где атаманы, которые верили, что почетный старец может донести свою жалобу прямо «на домашний адрес» императрицы.

ПРИЕЗЖАЯ ОСОБА

После праздника Толстопят послал сестре Манечке кипу фотографий о торжествах конвоя. Если судить по письмам, у Манечки и без того было самое картинное представление о царскосельском быте: фотографии могли привести в умиление кого хочешь. Великолепие и порядок во всем. На сытых кабардинских конях лихо улыбаются отборные счастливые казаки, у которых,

кажется, нет иных мыслей, как только о службе. И особенно замечательна была одна фотография: у подъезда Екатерининского дворца все казаки-депутаты и офицеры-конвойцы окружают государя и его дочерей. Эту фотографию она в свое время запрятала по совету Попсуйшапки на самое дно сундука и заклеила сверху газетами. А в 1911 году она висела у нее над столом. Если бы братик Пьер сторожил по ночам магазин братьев Тарасовых или, подобно потомку исторического запорожца, водил поезда, все равно бы она молилась за него каждый вечер. Но он офицер. Она любила его еще за то, что судьба его несла будто вопреки желаниям. Счастье само падало в его руки.

И всем в доме на Гимназической улице казалось, что Толстопят-младший поднимет свой род до генеральской высоты.

Но именно в эти месяцы Толстопят чертил себе судьбу заковыристую. За редкий голос, осанку, глаза и легкий язычок его примечали петербургские особы. Его давно уже наметила себе одна дама, нечаянно завлекла кокетством, и этой даме теперь нужно было передать записку прямо в руки.

С кем?

После утренней уборки конюшен сотник Толстопят послал за казаком Дионисом. Неделю назад Дионис по глупости встрял в историю и от разговора с сотником ждал самого худшего. Еще не было случая, чтобы властолюбивый Толстопят кого-нибудь простил. Оно и понятно: свежий офицер в конвое старался вмиг отличиться. Это было в самом деле так. Место в конвое ценилось слишком высоко. Не все родовитые господа устраивали своих детей в гвардейские полки. Когда Петр Толстопят представлялся в кабинете командира конвоя генерал-майора князя Трубецкого, тот как раз заканчивал писать отказ какой-то графине де Шамборант. «Упираясь на товарищеские узы» (брат Трубецкого служил с ее покойным мужем), графиня вымаливала облегчить ее заботы — приписать ее сына «через посредство одного влиятельного лица на Кавказе» к Петербургскому гарнизону, а затем определить в конвой. Но конвой комплектовался из строевых частей Кубанского и Терского войска «и притом непременно природными казаками» и порою горцами. Перед отправкой в конвой отец надел на Петра родовую дедовскую шашку и прицепил кинжал: «Я служил честно и непорочно. Смотри ж и ты!»

По правилам конвоя достаточно было за четыре года попасть в журнал нарушений всего три раза, и на льготу спускали казака без мундира и без значка. Но бывают грехи из ряда вон, и тогда досрочно выталкивают домой в три шеи. Еще в Пашковской за два месяца до формирования в эшелон дед Лука целый вечер пугал Диониса всякими старыми происшествиями в конвое.

— Избави тебя бог взять в офицерском собрании рюмочку, серебряный нож, пивной бокал или у товарища коробку папирос. А то еще так. Пока я конюшню чищу, напарник мою бурку прачке подарит. Один терец из станицы Ессентукской сделал неправильный доклад о проезде августейших детей. Два наряда не в очередь! И не посмотрят, шо медали на тебе французские, румынские, персидские, часы с гербом. Стрелялись, в станицу не хотели. Это ж стыд! А в другой раз простят, но он: «Не могу остаться в конвое, позорно глядеть в глаза товарищам». Вот, внучек. Как милости будешь просить — не позорить тебя перед войском: «Не губите чести имени». Как домой идти? Совесть-то потерял. Так и напишут: «...как недостойного иметь счастие служить в конвое...»

Провинившийся Дионис ночами не спал. Прощай мундир с белыми пуговицами? Но, может, смилуются? В Ливадии казачка́ плясать перед царем кому-то же надо!

«А если? если вытурят? Дед запорет насмерть. Да что там! — лучше не показывайся. Он не переживет. — Дионис даже услыхал своего деда: — «Это ты так отличился на государевой службе? Тебя зачем туда посылало войско? Дед тебе коня справил за четыреста рублей, ездил за ним на Терек, а ты? С какими глазами я буду на станичном сборе сидеть? Застрелиться тебе из-за совести, если ты казак!»

Дионис уже решил: если выгонят — застрелится в дальней деревне, где живут чухонки-молочницы. Станет на колени, помолится и пустит пулю в висок. Прощальное письмо бросит в сундук. Толстопят с казаками опишет имущество: красный бешмет 1910 года, шаровары и прочее, три рубля денег, часы с гербом, Евангелие, карточки его величества, отца, сестры с Попсуйшапкой (на свадьбе), книжка о Суворове. Повезут ли его тело на Кубань или зароют здесь? Дионис лежал весь в поту и жалел, что не послушался советов деда Луки.

Он теперь ходил как побитый, служил за десятерых. Все удивлялись, куда делись его шутки? С ним просились казаки на пост или в близкую поездку. То он рожу скорчит, то в минуту отдыха передразнит разговор кубанских старух, стоявших на базаре с поросятами, а то походкой перекривит конвойское начальство. Но едва шутники попадают впросак, уже смеются над ними. Приуныл Дионис, и все насмешки, изобретенные им же самим, посыпались на него, и чем он сильнее обижался, злился, тем чаще цеплялись к нему казаки по взводу. Росточку небольшого, с драчливым вопрошающим взглядом, Дионис одним своим присутствием доставлял товарищам удовольствие. Теперь изображали, как он лежит и ковыряется в носу. «Тихо! — кричал кто-нибудь. — Великий князь думает!» Так и прозвали его: Великий князь.

«Я прошу прощения, — написал на всякий случай Дионис на клочке, — и полного счищения с меня прежнего пятна. Это успокоит меня, с т а р и к а, — прибавлял в забывчивости, вспоминая жалобу престарелых, в сладости несчастья сразу добрых пятьдесят лет, — это даст мне возможность, благословляя, с благодарностью умереть».

Записку вложил пока в книжку о Суворове.

Толстопят долго мучил его молчанием, нарочно дулся как жаба. О мере своей вины и угрозы Дионис пробовал догадаться по его глазам, но в глазах сотника было одно казарменное превосходство над ним.

«Небось вчера задержался в офицерском собра-

нии, — подумал Дионис, — рассказывали, шампанского много осталось...»

— Что, казак Костогрыз? Как самочувствие?

Толстопят доставал из ящичка какие-то листочки, выбирал ручку, разглаживал чистую бумагу. Дознание будет записывать? Раньше хлопал его по плечу: станичник, мой батько с твоим дедом много горилки выпили на пасеке. И вот — чужой, хуже москаля.

— Здоровье, слава богу, ничего.

— Не жалуешься? Тэ-эк. Ну и что, царскосельская баня лучше, чем у Лихацкого?

— Так, господин сотник... — Дионис растерялся. — Я ж дома в бочке купался.

Толстопят уже потерял прежний вопрос, ответ пропустил мимо ушей, искал возможности постращать казака крепче, вызвать раскаяние и потом «по-царски» простить.

— Что деду пишешь?

— Одно хорошее. Стоял на часах у решетки, думал, как вы там управились с телятами, завтра учебные занятия.

— Одно хорошее? А про плохое кто — я буду писать? — Он наставил кончик ручки к бумаге. — Напишем: дозна-ание. Обвиняется в том, что возил чужую жену в баню.

— Да как вози-ил? Как вози-ил? — ноющим голосом возмутился Дионис.— Вы же знаете, как было.

— Ну как? — оживился Толстопят. — Как было?

— Я для товарища старался. Пожалел. У него было тяжело на душе.

— Служит в царском конвое, и тяжело на душе? Кто вам поверит? А в лагерях под Уманской, значит, легче? — Толстопят нагонял на себя такого дурака и сатрапа, что Дионис вовсе прижух. — Над самой головой двуглавый орел с крыльями, а вам тяжело-о?

— Это не мне, это Турукалу.

— Тогда давай по порядку.

— С середины можно? Осенью приехала к Турукалу из станицы жена. Он ее не звал. Нанял ей квартиру. И моя жена тут, она подружилась с ней и все рассказывала. Ругалась, что не хочет жить со своим мужем. Она тут у нас завела уже много знакомств с казаками. Муж уйдет на службу, а она с квартиры — и неизвестно где пропадает. Брат ему писал, что она в станице вела себя нехорошо. Соседка принесла ей квочку, открывает дверь, кричит: «Кума! Я квочку принесла». А она с городовиком в постели. Отдала пай своей земли казаку, жена его захватила с ней на степу под арбой, лежали обнявшись. Он также ходил к ней двор чистить. Она и мне делала здесь разные намеки.

— Какие намеки?

— Предлагала поехать со мной куда угодно.

— А ты что?

— Я через товарища не переступлю.

— Молодец! — воскликнул Толстопят. — Турукало хорошо служит.

— Он мне и говорит: «Хочу написать брату еще, проверить, так ли это». — «Это можно проверить и здесь», — говорю. «Как?» — «Да как... Давай я приглашу ее в баню помыться, а ты возьмешь свидетелей, и там нас накроете».

— Нельзя было этого делать! — Толстопят бросил ручку на лист и встал. — Ни в коем случае.

— А если он согласился?

— Он дурак, и ты дурак, и все вы дурношапы. Вы где служите, забыли? Конвойский казак зашел с чужой бабой в номер купаться — это ж все Царское Село знать будет. Вы подумали? За это выгонять! Позор какой! Слишком хорошо живете. Сначала по струнке ходили, а теперь привыкли? Повадились с прачками выпивать. Хотите получать часы с гербом, а кто же будет служить непорочно при царской особе? Это вам не станица с духаном. Царское Село. На вас во все глаза смотрят. Тут лицо России. Деды ваши это понимали. Они чужие кошельки не таскали, из окон казармы голубей не стреляли. На мосту Александра Второго к дамам не цеплялись.

— Не я.

— Ладно, — мигом успокоился Толстопят и сел. — Дальше что было? Зашли в баню, дальше что?

— Дальше ничего. Казаки сказали банщику, что пришли звать товарища по службе, он их пропустил. И нас накрыли, как было задумано.

— Артисты. Задумали.

Толстопят вертел ручкой и смеялся.

— Ты поменьше, Дионис, развлекай их. Ты шутишь, вот они и считают тебя за дурачка. Не клади им палец в рот. Чего ты у них за клоуна? Держи себя. Где завтра дежуришь?

— В Аничковом дворце.

— Великому князю Александру Михайловичу кто письмо возил?

— Тит Турукало.

— Я тебе даю поручение попроще. Послезавтра, в выходной, повезешь вот это письмо. Адрес запомнишь так. Вручишь госпоже. Ли-ично.

— А как сказать госпоже? От кого?

— Молча, молча-а, братец. «Вам письмо», — и достаточно. Понял, банщик? Пребывание твое в конвое зависит от тебя самого. Иди.

Конверт был подписан по-французски.

«В древности, — писал госпоже Толстопят, подражая героям романов, — цари убивали тех, кто приносил им дурные вести. Пощадите моего посыльного. Весть вот какая: я рад, что встретил вас».

Госпожой, которой Толстопят переслал с Дионисом записку, была мадам В., так привязавшая к себе Бурсака в Анапе в августе 1908 года.

В молодости дни без любви считаются пропавшими. Чем дольше бываешь один, тем вернее падаешь в своих глазах. Слова ласковые, сентиментальные, плоские, шутливые, все равно какие свербили Толстопята укором — некому было их сказать. В чужом городе нет пристанища. Только женщина может сблизить с Петербургом. Роднее станут улицы, дома, вокзалы, театры и рестораны. Девицами Невского проспекта брезговали даже нижние чины. «Вам с криком или без крика?» — приставала одна к казаку 1-й сотни. Оказывается, за три-четыре рубля можно купить право высечь девицу хлыстом на полу у «хозяйки», и есть такие, что им не нужно завязывать рот.

«У нас в Екатеринодаре, — думал Толстопят, — ни одной казачки на тротуаре. Отец голову отрубит. Это иногородние...»

Но в Петербурге всего вдоволь. Всегда есть зависть к тому, чем живут другие и чего — знаешь — тебе испытать не положено. К особнякам с розами за решетчатыми заборами подъезжают коляски, соскакивают расфуфыренные господа, и на крыльце их встречает душечка-барынька, обутая в кожаные сапожки. В гостиных своими прошлыми заслугами хвалятся старики: «Я служил России, государю верно и с пользой...» Все эти наряды, мундиры, выезды слепят глаза бедного провинциала, хотя, по совести говоря, прикрывают все тех же людей. И, однако, в этом есть quelque chose [1]. Толстопят знал свое место. Он любовался царскими дочками (особенно Татьяной), вовеки ему недоступными, — и ничего, так определено было свыше. Зато когда приходила к нему жаловаться на казака прачка, очень хорошенькая простушка, заманутая обещанием жениться на ней, Толстопят тайком, мимолетно любил ее и ощущал к ней природную близость. Она по молодости станцует и споет, потом в замужестве будет хорошей хозяйкой, накормит и примет гостей, посинит занавески, вышьет на подушки наволочки и в степи на закате обнимет на соломе горячее госпожи в муаровой шляпе.

Но, пока мужик рассеянно соображает, то да се, женщина в сторонке уже приметила его и втайне завладела им. Когда же он взглянет на нее и захочет понравиться ей, она уже в ту минуту будет знать, что и когда их ждет.

Так в прошлом году присмотрела Толстопята в ресторане Кюба вечно тоскующая мадам В.

Она так никогда ему и не сказала, что похитила его первая в том самом ресторане, где мечтал позавтракать всякий заезжий. В ближайших губерниях не было деревни с извозным промыслом, где бы вам хоть кто-нибудь не растолковал, сколько надо спросить у седока за провоз к Кюба. Там и попался Толстопят и не догадывался, какая встреча ему предстоит через неделю на парфорсной охоте под Красным селом.

Псовая парфорсная охота устраивалась осенью. После ночного морозца велико удовольствие скакать за оленем, лисицей или зайцем под лай английских гончих. Парфорсная охота входила в программу офицерской кавалерийской школы. Толстопят удостоился приглашения в тот день, когда на охоте присутствовали дамы. К одиннадцати часам утра прибыли на станцию Дудергоф, переправились на яликах через озеро и увидели силуэты ожидавших их на конях офицеров и стаю с доезжачими, помощниками и нижними чинами. С дамами больше забавы, чем охоты. Обгонять их нельзя. Они что-нибудь теряют. А где-то в глубоком овраге, потом в березовой роще лают собаки. Но охота как будто и устраивалась для того, чтобы пообедать с дамами в офицерском собрании лейб-гвардии Драгунского полка.

Влюбленному не покажутся глупыми и пустыми слова из романа какой-нибудь неспособной чеховской мещанки в тот час, когда голова его кружится и ему благоговейно хочется думать о красавице, его поразившей. Поздно ночью Толстопят приказал денщику налить ему водки. Он выпил и брякнулся на постель. Впервые за службу в конвое женщина мешала ему уснуть. «Подай мне какую-нибудь книжку», — еще раз кликнул он денщика. Он не много читал романов, и ему представлялось, что пишут все одинаково. «О, зачем ты унесла с собой шелковистые волны твоих волос, красавица моя, и глубокую синеву твоих глаз, моя королева, и жаркий румянец твоих губ, любимая, обожаемая и...» Толстопят поднялся и выпил еще рюмку. Там в романе кто-то страдал, и он тоже. Жеманная белиберда слов нравилась.

У него с дамой разговор был почти такой же.

После обеда с водкой в офицерском собрании Толстопят пел.

— Вы не подарите мне возможность записаться в число поклонниц вашего таланта?

И все завертелось, как во сне.

Беловолосая дама медленно стягивала длинные шведские перчатки без пуговиц. Пальчики ее коснулись клавиш, выбрали начало мелодии. Такой тоненькой цепочки с бриллиантовым крестиком он у екатеринодарских женщин не видел.

— Какое у вас занятное колечко.

— От бабушки. Ему сто лет.

— Я не был бы так храбр носить два опала, — сказал Толстопят.

— О да, опал приносит несчастье. А что вы скажете о кольцах с гербовой печатью?

— У нас в роду нет герба. Я кубанский казак, позвольте, наконец, назваться: сотник конвоя его величества Петр Толстопят.

На руках ее искрились камни браслетов, низко спускавшихся к запястью. Она медленно начала подвигать их к локтю.

— Очень приятно...

Она знала, кто он и откуда. Зря Толстопят боялся опростоволоситься, проявить нечаянно свое куркульство, не суметь поддержать разговор в ее тоне, — женщина прощает все за то, что ее уже дразнит в мужчине. Быть может, эти глаза, длинные губы, кисти рук. Не могла она ему сказать и не скажет после, что сперва слыхала о нем от друга Бурсака, потом видела его на снимке с конвойскими офицерами, а в мае на параде у Екатерининского дворца. Пусть думает, что открыл ее он.

Близость приходит мгновенно — так же, как и неприятие. Они сказали глазами друг другу о том, что встреча их неминуема, но продолжали болтовню знакомства еще бог знает сколько. Когда прощались, сквозь вечную пошлую вежливость проникло в душу обещание взгляда: до скорого, до скорого тайного свидания. Но срок свидания растянулся на месяц.

И вот Дионис подал ему конверт.

У моста на Мойке в воскресенье она пригласит его в фаэтон.

— Я хочу, чтобы вам было хорошо, — сказала она. — Вы не знаете Петербурга, куда вас повезти?

---

[1] Что-то.

— Куда хотите. Я хочу быть с вами. Куда-то, чтобы никто не знал, что вы со мной, а я с вами.

— Та-ак? Вас не пугает, что между нами уже нет никаких препятствий?

— Боюсь надеяться.

— Я не хочу быть вашим капризом.

— Заказать бы фаршированную пулярку, — сказал Толстопят напропалую, — тающих во рту груш, бутылку шабли и сидеть дотемна.

— Не спешите. Чему суждено быть, то придет — хотя бы из Индии.

— Анапа ближе.

— Анапа? — с некоторым испугом спросила мадам В. — Никогда не была там.

Еще через месяц они опять катались по Петербургу.

— Странно! — говорила она. — У меня все важное случается в день рождения. Ребенком я имела обычай дарить себе к дню рождения папиросную бумагу, для рисования, цветные карандаши. И вас сама себе подарила. Надеюсь...

— Когда ваш день рождения?

— На парфорсную охоту...

Еще через неделю они ехали поздним вечером.

— Куда мы едем?

Петербург внезапно сделался каким-то глухим уголком: быть может, ехали по окраине. Толстопят ничего не запомнил. Весь погруженный в неизвестное, в предчувствие чего-то блаженного, что желают уже оба, и нужен только миг, чтобы тайна стала невозвратной, Толстопят все же не верил в счастье, в то, что затеет ради простого казака светская дама с красивым ртом.

— Мы поедем туда, куда вы сами хотели.

Он дурел и соглашался с каждым ее словом. Да ехал ли он так в своей жизни когда-нибудь? Да колотилось ли сердце? Да есть разве в Екатеринодаре такие соблазнительные воркующие дамы? Мадам В. и не глядела на него, казалось, оттого, что чувствовала, как он покоряется ей. И вдруг она сбросила маску игривости, взяла его за руку и так просто, как будто давно привыкла к нему и знает, что он ее поймет, сказала:

— Муж добр ко мне, любит меня, но мы ничего друг для друга не составляем. Он приходит вечером домой, и мы молча сидим за ужином. В свои дела он меня не посвящает, мои заботы его не интересуют подавно. Чего-то не хватает... Нужна та заутреня, когда все мое существо двоилось на мирское и небесное. Поцелуют твою руку — и ты как во сне... М-м?

На какой-то темной улице фаэтон остановился. Кругом мгла и тишина. Ночная глубокая тишина стояла и в доме. Они пошли по лестнице вверх. Комната была в полумраке: блестели корешки книг на полке; на камине под букетом белых цветов стояли фотографии.

Первая обязанность женщины — de bien fermer la porte [1]. Мадам В. это сделала.

[1] Хорошо закрывать дверь.

«Я еще не так могу любить...» — слышал Толстопят ее голос весь следующий день и потом много дней в самые неподходящие минуты службы, и потом осенью в Ливадии, куда 1-я сотня прибыла вслед за царем, и в Тамани на открытии памятника.

С КАКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

В том благословенном 1911 году (без войны, без неурожая и холеры, с затяжной золотой осенью, с освящением и поднятием крестов на главы почти оконченного Екатерининского семипрестольного храма) был на Кубани шумный праздник — открытие памятника запорожцам в Тамани.

Все российские и местные события вспоминал потом Попсуйшапка в связи с личными делами, переменами или горем.

В том 1911 году чувствовал он себя несчастливым. Укрытая за домашними стенами чужая жизнь, фаэтоны с дамами, офицерами, сынками купцов на Красной, вся внешняя уличная оболочка бытия обманывали каждого, в том числе и Василия, спокойным ладом существования людского, и на поверхности этих впечатлений еще тоскливей сжималось сердце от мук, до которых никому нет дела. Они, эти муки, твои собственные, всегда с тобой. Может, мимо идут такие же невезучие, но они молчат.

В ту самую золотую осень разваливалась его молодая семейная жизнь. На все времена, видно, слова писания: враги человека — домашние его. Люди наводят в обществе большие порядки, стреляют друг в друга, выносят указы, подписывают для всеобщего блага циркуляры, в строю на параде одной грудью несут честь и славу, чуть не в почетном карауле ведут на балы своих дам, а что у них дома? Вся разруха жизни выходит из четырех стен.

«И до каких же пор так будет? — меланхолично, успокоившись после бурной недели, рассуждал Попсуйшапка, перекладывая в мастерской смушки с места на место. — Что я ей такого сделал? А мать моя чем ей насолила? Если мать моя не нужна, то и я, — я так понимаю... Ты подумала?! — кричал он жене и оглядывался: не подслушал ли кто его слов? — Я же переживаю как, а у тебя души нет. Когда б хоть маленькое сочувствие, ты б разве допустила такое? Эх, Варюша, Варюша... Мерка из рук падает!» — бросал он на стол клеенчатый сантиметр, брал и бросал ножницы и уныло садился за стол. С кем-то выпить хотелось и посекретничать. А казаки все перлись в мастерскую за папахами, заказывали к таманским торжествам. У них словно весь век тянулся к этому дню — до того возбужденные, громкоголосые были они; лезли руками в штаны, вынимали кошельки, хрустели бумажками... Анекдоты, притчи рассказывали. Каждый звал к себе в гости в станицу и прибавлял: «С семьей приезжай! Места хватит!» Да куда ж с такой семьей поедешь? Ругаться в дороге?

«Кубанский казачий листок» накануне праздника печатал каждый день что-нибудь по истории. Попсуйшапка и тут находил подкрепление своим мыслям, своим понятиям о женщине и супружеском счастье,

— «Ваша верная раба Ульяна Головатая»... Это ж она мужу пишет перед смертью, — вслух говорил Попсуйшапка. — То ему и памятник поставят на Тамани. Я б на том памятнике и ее слепил, и эти слова высек: «Любезный муж Антон Андреевич, я вседушно рада бы к вам приехать, да одолевшая меня болезнь к тому не допускает». Вот как надо любить мужа. И так же он ее любил. Ну конечно. А уж на что запорожцы крутые, но вот между этими покойниками верность была. Царство им небесное. А сейчас что настало? Подушку в руки: «Я пошла! Оставайся». Или то у меня так? Наверно, я слабый...

Но он гражданский, а странно было, когда бабы командовали дома военными, лютыми казаками, такими панами, как покойный полковник Бурсак; жена его Елизавета, не вылезающая теперь из Парижа, держала его в ежовых рукавицах. «Веревки из него вила и лучину щепала». Припоминались Попсуйшапке и разговоры о генерале Бабыче, терпевшем роман жены с офицером по особым поручениям Батыр-Беком Шардановым. То считаются благородные семьи. И в царской семье так?

И все равно чужие страдания не облегчают своих собственных.

— Встанет, возится, возится на кухне, ругается, точно матерится про себя, — говорил он за обедом в ресторане Старокоммерческой гостиницы Папиянца перед Терешкой.

— Это от природы, — успокаивал раздобревший в последние месяцы извозчик. — У меня кума: це-елый день прибирается, и грязно. Она одной рукой метет, другой сорит.

— Да это бы ладно. Хоть я и не люблю грязи. У меня чтоб все на месте лежало. Разбуди меня ночью, и я скажу, где что. Ладно бы, но другого нету. Души нету. И мать ей мешает.

— Старики никому не нужны, — сказал Терешка. Благополучному человеку что-то же надо говорить, иначе покажется обидным, что ему не сочувствуют. — Я тебе не рассказывал? Скворилов, когда его городским головой избрали, приходит и говорит отцу: «Ну, батя, кучера нашего Евтея надо рассчитать. Он старый, дескать, — говорит, — уже лошадей не управит. Лошади жирные. А я теперь городской голова. По улице прокатит если, то не как раньше». — «Евтея рассчитать?! — отец ему. — Так и я старый, ты и меня рассчитаешь? Кто тебя выбирал городским головой?» — «Гласные!» — «Евтей проработал у меня с молодых лет. Если я помру, так Евтей и его семья пускай живут во дворе — не смей выставлять! И плати жалованье, как я платил им и подарки дарил к святым праздникам. Городской голова!» И ногой топнул.

— Ну, — возразил Попсуйшапка всем видом, — моя Варвара не городской голова, и ей не след так стариков гнать. Для чего я женился? С какого благополучия я буду страдать?

Всем в жизни довольный Терешка, мечтая лишь о том, как бы поскорее свернуть разговор и пойти пригласить на обед старосту извозчиков, отделался еще раз общей мудростью:

— Я, Василь Афанасьевич, пришел к такому выводу: человек сам счастья не хочет. А иному в зле легче жить.

Попсуйшапка же видел сейчас в нем единственного друга. От того, как они поговорят, что-то изменится к вечеру. И легче станет.

— Даден мосол — хоть гложи, а хоть на даль бережи. Так мне мать говорила. Я ее не бью, от нее не гуляю. Вон, да ты знаешь его, он, когда идет, у него голова набок, — вот он с женой с ремнем спит. С какого ж благополучия мне зло? Домой явишься — никакой радости. Приеду откуда — никакой у нее радости в глазах. Дверь откроет, молча повернется и уходит спиной. Какое ж у меня старание будет? С какого благополучия?

— Кормит хоть?

— Кормить она кормит, ну все без души, никакой души в ней. Поставила и ушла в другую комнату, села.

— Характер! — попусту бросил Терешка. — Казаки! Их не пересилишь.

— Шкурку вчера запорол: все ж думаешь и думаешь. И как по ярмаркам ездить? На Нижегородской ярмарке какие барышни зазывали, а я ни одну не щипнул. Я нравлюсь женскому полу.

От воспоминаний о тех, кому он нравился и здесь, и по станицам, Попсуйшапка стал как бы еще грустнее. Из Выселок приезжал хозяин маслобойни, уговаривал взять его дочку. В экономии Косовича две дочки росли, красавицы, грамотные, тосковавшие, немного бы подождать, пока зацветут. Или сестры живут напротив. Одну он грешным делом до женитьбы два раза водил в баню Адамули, но колебался брать: она была вдова и малоразговорчивая, торговала на Новом рынке грызовой семечкой. Многие поглядывали в его сторону со вздохом желания и теперь: любовница полицмейстера, ниточница Акилина Ивановна (носила по дворам нитки, чулочки, носки), дочь швейцара женской гимназии (с большой грудью), прислуга братьев Тарасовых с каракулевой муфточкой и даже жена писаря городской управы, который узорил чернилами по бумаге, словно палочкой по песку. Не надо!

— Их ведь везде хватает, — сказал он Терешке. — На Тверском бульваре против Страстного монастыря сколько жриц любви. Заказывай любую музыку, они и Пушкина не стыдятся, там же памятник ему рядом. Проводить с ними время можно, но чтоб насчет женитьбы — ни в коем случае! На ярмарке много всяких, губы помазаны, как говорят наши греки, македонским кремом.

— Ну а что ярмарка в Нижнем — шумная, богатая?

— Я-армарка...

Попсуйшапка от удовольствия закрыл глаза, молчал. Он тотчас увидел гостиный двор, забитый товарами российских городов: сибирские пушные зверьки, романовские овчины, московские и ивановские сукна, тульские самовары, торжковские сапожки, башмаки, углицкое копченое мясо, нежинский листовой табак — птичьего молока только нет! Для него и Пашков-

ская, Каневская ярмарки были праздником, а тут и вовсе.

— Трактиры?

— Ну-у... Не пересчитать. По десять раз на день Москва чай пьет. Чистота исключительная, это не у Баграта. На столе кувшинчик сливок — обя-за-тель-но! К водке даровая закуска. «Уж поуважительнее, — слышишь, — графин приноси, да и рюмочек-то хозяйских подай!» Учусь, мотаю себе на ус. А потом и сам также: «Прошу покорно! Извольте задаточек. Водка меня не разорит».

— Пошел ты в гору.

— Ну жену бы. Хор цыган шесть раз слушал — люблю!

Попсуйшапка опять сожмурил глаза и с усилием оторвался от мгновенного чудесного сна.

— Я, Терентий Гаврилович, не атлет Фосс. Ему лишь бы покушать и стулья переломать, а мне семья нужна. «Я Фо-о-осс! В газетах читали?» А я Попсуйшапка, мне жена нужна. Россия-матушка: нет управы на беспутных людей. А ты страдай.

— Страдай, страдай, — сказал Терешка. — Все мы из-за чего-нибудь да страдаем.

— Ну, мать не брошу. Уйду — перевенчаюсь с другой. Мучиться — с какого благополучия? Или я дурачок Приступа, или под бондаренковой лавкой ночую на Новом рынке? И обедать не пойду. Пускай как хочет. С ней никто жить не сможет. Кому охота такую бешеную себе на шею повязать?

— Подберешь себе друженьку.

— Такого безобразия, как у меня, нету ни у кого. И обедать не пойду!

Ночевал он у брата Моисея.

— Опять врозь спите?

Брат, такой же маленький, черноусый, только костлявее от болезни, сидел у окна и кроил шкурку. «И брата жалко, — подумал Василий. — Нога так и не действует. Голова набок скошенная, а он работает». Жена Моисея, еще красивая, пышная, привыкшая к несчастью мужа, зашла, подобрала обрезки с пола, спросила Василия о Костогрызе и не стала мешать, удалилась. Если бы брат не был калекой, он считал бы его совершенно счастливым, потому что его берегла жена. Ему вообще по душе было смирение человеческое. Пустая гордыня убивает себя самого. «А что, если б со мной так? Прострелило бы меня? Варвара и дня б не стала жить. Если б так случилось тогда, в пятом году, что брата убило (слава богу, что уцелел), но если б так, я бы забрал Мотю. И брата бы детей воспитал, и сам бы с такой женой не знал горя. Доброта не дорогая, но дороже ее ничего нет...»

— Говорил я тебе, не женись на казачке... Будет ковыряться, разделись и возьми вдовушку, оно лучше. Напротив живет. Он в казачьем оркестре играл, ездили к царю в Крым, простудил горло — пива холодного выпил. Я ему сделал две фуражки. Ты ее распустил: «Милочка моя! Милочка моя!»

— И выберу. Не ходить же в «Красный фонарь».

— Там тоже разные бывают. У золотаря вон жена оттуда. Белобрысая и рябенькая, а как хозяйка замечательная. Живут. Она и соус приготовит с барашкой, и обращение очень вежливое. А Горбовша тоже из «фонаря», у той гонору много...

— И нечестная жена перед мужем, — добавил Василий. — Скажу по секрету: был я у них на Велик день. Сидим. И вот ноги мои под столом, вот ее; она мне давит на ногу и моргает. Я ему сказал потом: «Твоя хозяйка конфетки обчищает и в рот кладет твоим гостям, когда ты спишь».

— Господь все видит, — сказал брат, — и строго накажет.

— Таким в Турцию надо ехать. Гаремов много.

— Зачем далеко брать: вон на плантацию к грекам. Они, молоденькие, попадут из станиц на заработки, на табак, лето пройдет, она и...

— А Варвара моя не такая. У нее этого интересу нет. Зовешь, зовешь ее. «Да ладно, потом...»

С этими мыслями, что его жена честная скромная казачка, Попсуйшапка часа два ходил по городу, разговаривал у электробиографа «Бонрепо» с владелицей, сравнивал жену с другими: с горничными в гостиницах, артисткой труппы оперетты Амираго (предметом ухаживаний помощника наказного атамана), торговкой аракой и прочими.

«Кого ж тебе надо, Варюша? — спрашивал он жену издалека. — С кем бы ты жила лучше? С приказчиком братьев Тарасовых? Так он влюблен в учительшу музыки. Или сотник Андрей Шкуро? Он в преферанс играет, и у него нос как у чайника. Только что пашковский казак, ваш. Недавно пригласил музыкантов из духового оркестра и под окном своей барышни заставил их играть. Нет, ты спать любишь. Ну, роз в саду братьев Шик он тебе, конечно, купит. Так и я куплю, если захочешь! — Он садился на скамейку напротив реального училища (там во дворе в двенадцать часов орал осел), за спиной его возвышался Александро-Невский собор, мимо шли и шли екатеринодарцы, каждый третий знакомый, и он кого-нибудь прицеплял к своему мысленному разговору с женой. — «Пусть лишь жарче ласкает и нежит рука, пусть лишь дольше продлится обман». За артистом тебе подавно плохо. Тогда выбирай знаешь кого? Асмолова Митьку, он перевенчается с тобой. Или Тохова Сашку, он да сынок Сахава — самые подходящие кутилы. Терешка возил их в «Яр», так ему дали две кошелки коньяка. Ну чего ж — пожалуйста, если я не тот. Вон еще пошел: торгует известкой, дранкой, рогожей. У него три сына. Жена пристава Цитовича идет! Целый день сидит на крыльце, мух от лица отгоняет... Свекор к ней пришел, стучит. Она: «Еще с церкви не пришли, а вы уже стучите! Садитесь, нате вам кожух, наши вчера в лес ездили, дождь напал, дак вы грязь внизу вымнете». Она ему сразу работу нашла. И ты у меня, Варюша, такая? Я думаю так, что атлета Фосса тебе надо. Он бы стулья разок переломал, и дурь из тебя вышла б. Ругаюсь, а все равно тебя жалко. И ни к кому душа не лежит. Пойду домой; может, ты не спала без меня и передумала? У нас же дети».

У своего дома на Динской улице Василий заметил лошадей.

«Прослышал старик...»

— Я с такой матерью жить не буду...

— А с кем же ты будешь жить? — допрашивал внучку Лука Костогрыз. — Мать есть мать. Чья б она ни была. И ты уже мать. И вот так и тебе скажут, как ты: «С такой матерью жить не буду!» Шо она тебя — каждый день таскает за волосы? Или она у тебя ложку изо рта берет? Какая бы она ни была, она ему мать. И тебе мать.

— Нет, я жить не буду.

— Спасибо тебе, внученька, шо так подтоптала своего деда под ноги.

— Здравствуйте... — робко сказал Попсуйшапка. Он подошел к старику и поцеловал его руку. У того выступили слезы на глазах.

— На колени в угол тебя теперь не поставишь,— не скрывал своего разговора Костогрыз и при Попсуйшапке снова взялся за кнут, с которым, видать, для пущей строгости вошел час назад в комнату. — Бачили очи, шо купували. Это только Василь не знал, шо ты характерная. Скрыла бабушка. Покорись. Чи тебе есть нечего, чи ходить не в чем?

— Ее ничем не возьмешь, — сказал Попсуйшапка. — Смотри, Варюша, я широко тебе ворота отворяю, можешь уезжать. А надумаешь обратно — я их совсем закрою и не пущу.

Жена не отвечала. За скандальные недели она, словно назло всем, расцвела как мак, налилась телом; стянутые приколками волосы блестели, в глазах скопилась грешная ночная тоска, и, если бы она не распускала свой язык, если бы не думать, какая она злая, упрямая, поперечная, можно бы поскорее утихомирить старика, проводить до мажары и потом припасть к круглым женским ногам, ласкаться, жалеть свою Варюшу. Но и жалеть она себя не давалась. Коснись рукой головы, она отпрянет недовольно, будто ее царапают. Толкнись к ней ночью животом — она взбрыкнет и сдвинется к стенке. У холодной стены ей легче. Все она портила, сминала своим характером. «Пропадает баба по своей воле», — не раз говорил Терешка приятелям. Она сидела и долькой глаза даже не взглянула на мужа. Когда ее отчитывали, она ненавидела и деда и всю родню, гнала из хаты и кричала. Ее жизнь не научила тому, что вокруг много несчастья, самое сладостное время своей молодости она потратила на истязание себя и других. Знать бы, чего хочется этому человеку. Не подступишься к его душе. Это сейчас так. А что же будет с ними к старости, когда замрет грешная плоть? Греху уступают в самые лютые дни, мирятся. Попсуйшапка как раз и почувствовал, что уже сдается понемногу день за днем ради того мгновения, которое ночью не оставляет таким одиноким. И в ту минуту, когда Костогрыз еще хмурился и ковырялся в семейных обычаях старины, Попсуйшапка уговаривал себя пожалеть жену.

— Кроткая рука на веревочке слона ведет, — долбил Костогрыз свое. — Это тоже надо знать тебе. Мне Василь руку целует, а ты деду носков не свяжешь. Вздуть бы тебя пару раз.

Жена схватилась с места, уткнулась лицом в дверную занавеску.

— И не заплачет никогда, — продолжал Костогрыз без жалости. — Каменная. — Костогрыз встал. — И ты, Василь, не жалей ее больше. Поехал я в Васюринскую на день пластунской иконы. А тогда на Тамань. До чего я дожил: внучка опозорила казака. Напишу Дионису в конвой, он тебе пику набьет.

Уехал в Пашковскую Костогрыз, и не стало посредника, и как будто все больше был виноват Василий за то нехорошее, что говорил дед. Жена разобрала постель, закуталась с головой и уснула. Казалось, она только спала; спала назло ему. Но она страдала. Казалось, Василий только бродил по улицам от нечего делать. Но и он страдал. «Прощу еще раз, — думал он,— попробую... Хоть и говорится в писании: до семи ли раз прощать?» Все слабое, покорное, тихое гибнет раньше? Где та гадалка, обещавшая матери спокойную судьбу у него, младшего сына?

В «Шато де флёр» верещали певички.

Василь пошел домой.

Во дворе у догорающего костра сидела и плакала мать. Жена без него вынесла в кучу все свои вещи, облила керосином и подожгла. «Что ж ты, Варюша, делаешь?...— сказал он в пустых комнатах жене, неизвестно куда девшейся. — Не могла без позора уйти?»

Это было в тот день, когда в Киеве совершили покушение на премьера Столыпина, — 1 сентября 1911 года.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА

Тогда же, в конце сентября 1911 года, тарахтели по ночной степи в повозке три пожилых казака. На закате несколько раз обгоняли их экипажи с депутациями на праздник в станицу Таманскую. Там в день войскового круга открывался памятник первым запорожцам, высадившимся на пустом берегу в 1792 году. Там намечался пир на весь мир. Но не всем было место на том званом пиру. Не попавшие в почет казаки ехали в Екатеринодар по своей надобности: выпросить хоть на коленях у наказного атамана Бабыча племенных бычков симментальской породы. Все трое были из разных станиц. В Каневской напросился к ним в повозку Попсуйшапка, пообещавший в знак благодарности пошить им кубанские папахи. Ехали с песнями уже полтора дня, обедали у Вшивых могилок, кормили лошадей. Двое были из ближних станиц, но неделю гостили у казака из Кущевской, и оттуда все и двинулись на зорьке. Попсуйшапка наводил их на разговоры о памятнике. Но в Тамань им далеко, почти на край света. Без них поставят на ноги бронзового казака, на отливку которого они тоже жертвовали гроши. Диво дивное, сколько земли захапали когда-то предки: от самого Керченского пролива и до рубежей донских и терских! Всего тридцать тысяч удальцов с грамотой и хлебом-солью от материцарицы Екатерины пришло сюда, и поставили они сорок куреней.

— Она ж, царица Катерина, не дура была, — пискляво говорил казак станицы Васюринской, державший вожжи. — Знала, куда народ затыкать, шоб граница

была невредима. Не все ж ночи засыпала под рукой Потемкина, она ж хозяйка была...

— Я так вздумаю иной раз, — вступал казак Кущевской станицы, — не иначе и наш Антон Головатый или Чепига заночевали с ней разок-другой...

— А то шо ж! То б послала она к его столу десерт! Он казак казак, а заплакал.

— Может, и до се в царской хате бегает какой-нибудь головатенький и не знает, на какой перине лежали его деды,— решался поглумиться над историческими лицами третий, самый насмешливый из них, казак станицы Каневской, моложе обоих на пять месяцев.

— За то тебе и крест не дали, шо так брешешь.

— Не-е, — опять перевел разговор всерьез васюринский. — Она не дура была. Обхитрила запорожцев.

— Землю дала, чего ж? Слава богу. Три ковша золотых червонцев высыпала Головатому. Головатый как царь Соломон уехал. Это он ее обхитрил. Стал на колени: «Повинен, мамо, перед тобою, как перед матерью божией. Ты, мамо, отделяешь сына, даешь хлеб-соль и грамоту. Дай же, мамо, ще грошей!» Она и высыпала ему три ковша червонцев. Давайте и мы Бабыча обдурим, нехай нам бычка за хвост выводит.

— Та хоть бы.

— А ты, — спрашивал каневской казак, — чи был тоже у Катерины, шо все знаешь?

— Та деды ж наши имели память не такую, как у тебя. Ты и атамана Бабыча путаешь.

— Мне с ним жить чи шо? Я в Екатеринодар первый раз еду. В Персии был, на Шипке был, а Екатеринодара не видел. Атаманы! Какие теперь атаманы? Зеркалов понаставили и любуются. Наш станичный атаман, пока осетрового балыка не запхнет в рот с картошкой, хлебного кваса с содой не выпьет, его в правлении не жди. Ни к черту атаманы пошли. Як шо для нас будет добрый — начальству плохой.

— А кто у вас атаман?

— Тю-у! У него и голос не казачий, с писком, как у тебя. — Каневской толкнул локтем васюринского: — И шея с аршин. Послали тебя к Бабычу — это точно нам бычка не выпишут, если первый заговоришь. Войдешь в кабинет, Бабыч обглядит тебя вокруг и подумает: шо це за страшилище передо мною, мощи одни? А коли мощи писку подпустят, то Бабыч скажет; неужели перевелись казаки? Кого командировали? И выпроводит нас троих. Нема атаманов. Сидят по кабинетам при открытом портрете государя. Та шоб у них задницы поотсохли. Под цинковыми крышами живут. А первый кошевой атаман Чепига в такой хаteночке спал, такое окошечко, шо курица станет и закроет свет. Чепигу в гроб положили с одним поясом, а за ним уже клали атаманов в генеральских мундирах...

Потом казаки замолкали, прислушивались к ночной степи. Никто им не откликался. Попсуйшапка на сей раз не встревал со своими речами, его думки мошками вились вокруг дома на улице Динской, дома опустевшего и печального. Спутники его наболтались и про все забыли. Только, может, душа казацкая блукала в отголосках воспоминаний о житье-бытье на Кубани. Еще с отцами выезжали они по всякой надобности вечером в степь и вглядывались испуганно в чащу (хмеречь), то и дело останавливали коней и вслушивались. По густому терновнику вился хмель; в тумане стогами казались груши, яблони и бересты. На курганах сидели огромные орлы. Когда-то пушки стреляли под волчий вой. Вдали маячила высокая жердь со смоляной бочкой и соломой. Те вышки-маяки, с которых кричали: «Черкесы! Бог с вами!» — сопрели и попадали в колючий боярышник. Сколько сил потратилось, сколько жизней пропало! Когда-то перед одинокой могилой на холме у вехи снимал шапку путник, крестился и творил краткую молитву, благословляя чью-то душу на тихое витание в небесах; теперь ничего нет на холмах. Нестрашно запалить в ночи люльку и колыхаться в повозке, и «собственные очи можно поховать в карман». Были знаменитые на Кубани герои — сменили их жалкие разбойники: шайка «факельщиков», «степных дьяволов», «арканщиков».

— Ну, будем промывать кишки? Уже время и коней подкормить...

— У меня по животу кошки лазят,— сказал каневской. — Может, из пляшечки наточим?

— Гляди, шоб в канаву не заехал. Ты ж у нас рулевой. В городе выпьем. Вино доброе. Голову потянет вниз.

У вековой версты казаки наши все же остановились. Попсуйшапка пошел с ведром на речку, зачерпнул там и принес линя, три карпа и судачка. В тишине перекусили.

В десятом часу утра въехали в Екатеринодар со стороны Свинячьего хутора, свернули сразу на Котляревскую; по Полицейской, мимо болгарских подвалов и пекарни Кёр-оглы побили колесами все кочки, миновали Новый базар и по подсказке безрукого почтальона нашли «Славянское подворье». Попсуйшапка спрыгнул еще раньше на Кузнечной, по-приказчичьи кланялся, но пошел от телеги гордой деловой походкой. Пообедали салом.

— Попытать, где начальник области и где та Красная улица?

На улице Екатерининской обступили дылду-городового: на, мол, двадцать копеек, только скажи, где живет начальство. Городовой с бляхой № 56 сказал им, что все начальство грузится сейчас на пароход на пристани Дицмана, отбывает к открытию памятника в Тамани.

К пристани товарищества Дицмана извозчики катили разномастную публику, военных, чиновников, священников и дам. Оберегая порядок, городовые покрикивали и свистели беспрерывно. Малолетки сыпались вниз по улице как горох. Проклиная Бабыча и еще не поставленного в Тамани бронзового казака, наша троица поволоклась следом.

На пристани мягко покачивались у причала два парохода: «Удобный» и «Полезный».

— Артистов, артистов забыли! — вспохватился кто-то.

Сквозь тесные ряды набившейся публики еле пролазили носильщики. Все в торопливости перепута-

лось. Артистов с «Удобного» переселяли на «Полезный», и кто-то в давке пищал. Сверху по улице прибывали запоздавшие, впопыхах не соображали, куда им взлезть. Уже нигде не было места. Всех, кто попроще званием, подталкивали на «Полезный». Наши казаки разглядывали по погонам генералов, искали Бабыча, допрашивали, хватали за рукав кого-нибудь рядом. Никто ничего не знал. Когда же дали команду к отправлению, выяснилось, что «Полезный» сподом сидит на мели. Казаков-депутатов попросили сойти и подождать впереди на берегу, у глубокой воды. Через полчаса, а может, больше, после третьего вымученного свистка, под марш военного оркестра, крики малолеток, лай собачек «Полезный» покосился к середине реки и поплыл со счастливцами к Темрюку. «Удобный» чинно отчалил за ним.

— Тут дело за горло давит, а у них праздники! — сказал кущевский.— Они Бабыча в каюту запрятали.

— Да нет, — поправил его с козел Терешка.— Он, наверно, еще в городе. Где дворец, знаете? Ну, садись тогда.

У атаманского дворца они посовещались, кто будет говорить первым. Выбрали каневского казака.

— Значит, трех шагов не доходя до стола Бабыча, вместе кричим: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Стоять в шапках. А если посадит — шапки долой. Ну, с богом. Слава героям, слава Кубани.

Все трое перекрестились и бодро пошли на часового.

Увы! — наказного атамана увезли в Темрюк еще вчера.

— Нас общество командировало,— заныл васюринский перед дежурным адъютантом. — Нам племенного бычка.

— Какого бычка?! Вы что, с ума сошли? Что это за фокусы, старики?

— Пашковским подарил генерал бычка, и нам бы. Газеты писали. Племенные бугаи культурной породы уступлены безвозмездно трем станицам. Наши бугаи стали тяжелые, и коровы их не выдерживают.

— Не знаю. Генерал Бабыч на торжествах.

Пристыженные, понурые, сошли они с крыльца, обставленного по бокам запорожскими маленькими пушечками.

— От прокатились! — затянул вой васюринский.— От десять чертей тебе в зубы и одну ведьму под задницу! И правда: ни к черту у нас атаманы. То без него б не поставили запорожца на дыбы? Це не Катерина-царица там?

Над Крепостной площадью возносился памятник Екатерине II с ажурным забором вокруг, полосатой будочкой с чахлыми еще деревцами. Казаки задрали головы, обсмотрели все стати царицы, поснимали свои шапки. До такой власти разве доберешься?— говорил их вид. Угрозой и внушением сирым и непокорным стоит с тонким длинным крестом в руке навеки уверенная царица, и— господи спаси!— вокруг ее платья в свой рост отлиты были мастерами родные запорожцы: кошевые атаманы, бандурист, поводырь с сумкой за плечами и с палкой и прочие, такие ж простые, как они, теперешние казаки.

— Чеботы хорошие, не рваные... — сказал васюринский.

— Слава богу, шо мы казаки, — добавил кущевский.

— Ну, а теперь куда ж пойдем своими ногами? — спросил каневской и оглянулся, словно ждал подсказки.— В церкву?

— Я больше не могу жить на пище святого Антония, — сказал васюринский. — Пора уже, хлопцы, за копейку гусачка взять; слыхал я, тут трактир Баграта дешевый. С музыкой.

29 августа, на день усекновения головы Иоанна Крестителя, пучеглазого Баграта привлекали к ответственности за допущение игры на бильярде. Но он был все тот же.

— Гусачок бараний? Шашлык по-карски? Шустовский коньяк?

Казаки молча двинули плечами, присели.

— А шо за напиток — шустовский?

— Сказок мир мне был неведом, и узнал его я — как? Очень просто! За обедом пил я шустовский коньяк!

— Вареников!

— Кто у Баграта кушает вареники? Гусачок, к чертовой матери. Нужен милый барышня — просим оплатить, можим провести время по-семейному.

— А зачем рюмочки? — тknул пальцем каневской. — Рюмочками цедить до самой ночи. А нам ехать. Стаканы.

— Бу-ди-ит!

— Тот не казак, — похвалился васюринский, — кто горилки не пьет, тютюн не курит и чужих баб не щупает.

— Все любят милый барышня, — сказал Баграт и ушел.

— Родился малюсенький, хоть в кармане носи, а туда же: «милый барышня». Распрягаемся, хлопцы.

— Ой и выдаст нам общество волчий билет. И надо было нашим прадедам выгребать харчи аж в Тамани. Тут бы возле Баграта и начали высадку. Мы б и Бабыча застали, и с бычком были. Не зря моя бабка ругалась: «Порохня с вас сыплется, как сажа в печке, а их ходоками до наказного атамана выбрали! Та вы, стары барбосы, с ним балакать толком не сможете. Выборные ваши дурные, як овцы. Бородами трясти перед генералом? Моложе нема?»

— Хватит скребти редьку, — приказал каневской. — Не закусил, а уже плачешь.

— Напишем ему, — сказал кущевский, — як запорожцы турецкому султану: «Числа незнаемо, бо календаря нема; месяц у небе, год у князя, а день такой у нас, як у вас, за що поцелуй в... нас!» Хи-и...

— Не будем мы казаками, если не поймаем Бабыча в цей проклятой Тамани. Харчей хватит, выпьем, за номера заплатим и погоним. Знай васюринских! И добра выдумка ця горилка, особенно в дороге... А шо б вы, хлопцы, сказали, если я на памятнике заместо Катерины стал?

— Во такие васюринцы, матери их хрен. Недаром про вас рассказывают, шо вы церковь огурцом подпирали.

— Та мы не каневские. Они вместо матки навозного жука в колоду подсадили.

— Нехай тебе за такую кляузу самая здоровая жаба в рот вскочит!

— Слава богу, шо мы казаки. А перепутают, как тимошевские, цыгана с архиреем, — ну шо ж.

Выпили хорошо.

— Не забрехаться бы нам... — сказал каневской. — А где наши кони? Где наши номера? Як они называются?

Никто не помнил, как называется подворье и на какой улице. А было уже темно.

— Ехали утром на солнце, — гадал васюринский. — А в Екатеринодаре солнце всходит, где у нас заходит. Оце теперь будем мотаться по городу, як блохи в штанах. Стыдно и людей спытать. Подумает человек, шо мы хочем над ним посмеяться, ще и по рылу заедет. Оце наварили каши!

— А чего ж ты сразу не поинтересовался у малого, какой адрес?

— А чего ж ты не поинтересовался? Оце обмыли горе!

Но с помощью извозчика они нашли свое подворье, поснимали чеботы и полегли спать.

— Не будем мы казаками, — пропищал перед сном васюринский, — если Бабыча не поймаем в цей проклятой Тамани. Сало у нас есть.

— Погоним! — одобрил и кущевский. — Ой, господи прости, царица Катерина указала запорожцам дорогу на Кубань, а мы чи без нее до Тамани не проскочим?

В четыре утра они проснулись, перепутали чеботы и так, каждый в чужой обувке, поехали через Елизаветинскую. Им навстречу дул ветер, и кругом было пустынно и неприютно, почти как во времена их дедов. Ни возов, ни топота лошадей. Васюринский казак вдруг запел «Ой, маты, гук, гук, казаки йдут...». Товарищи сперва неохотно, а на втором куплете во все горло подхватили. И кто слыхал бы их в то прохладное утро осени одиннадцатого года, все равно не узнал, кто они, откуда, зачем едут... Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...

НА ПАРОХОДЕ

Теперь трудно испытать томление долгого пути. Но тогда казалось, что в дороге можно состариться.

Лишь на второй день пароход «Полезный» подплывал к Темрюку. Такое длинное, с ночевкой, путешествие по реке Кубани Калерия Шкуропатская совершала впервые. В детстве на пароходе «Внучек» она каталась в пасхальные дни к Хомутовским мостикам да против течения — к аулу Бжегокай. Но то было в компании подруг-мариинок. Нынче ее окружали почтенные казаки, хористы в кунштуках, дамы. И сама она была без пяти минут дамой.

На палубе гомонили, разматывали свои свертки, радовались скорому празднику; Калерия грустила. У нее не было пары.

— Шо ж мы едем? — отвлекал ее порой голос Костогрыза. — Разве наши батьки так ездили на торжества? Пятьдесят лет когда Черномории справляли, так навезли фазанов, уток, кабанов, оленины. Со старой казацкой посудой ехали. А теперь вместо фазанов развелись паны на шляхах, та все... Ну, отрежьте ж и мне сала...

Калерия сопровождала отца. Там будет пир, старые однополчане нальют три-четыре чарки, а ему нельзя. Они с отцом Толстопята провели добрую неделю в приготовлении к важному событию в жизни войска: по десять раз примеривали черкески, чистили награды. Надо же показать себя на параде! Отец почти тридцать лет пробыл трубачом 1-го Ейского полка и, если бы не выпали зубы, никогда бы не бросил свою музыку. Одно время была мода носить папахи, и отца в Хуторке завалили заказами казачки окрестных станиц, но брал он с них недорого, счета подносил самые точные, до одной копейки за нитки. В 1888 году получил он от Александра III золотой империал за то, что ездил за ним по Кавказу и сигналил, и он лежал у него в кармане на всех торжествах и обедах. Наверное, и сейчас он вез тот империал с собой.

Под станицей Ивановской, заслоненной в сумерках знаменитым Красным лесом, казаки помянули крестными знамениями некогда славный Ольгинский редут, называли друг другу фамилии почивших товарищей, соседей, станичников. И рассказывали, а Калерия слушала. Если б знала, что к ее старости никто ничего не будет помнить, то, наверное, записала бы что-нибудь. Уж так, как говорили тогда старики о преданиях, потом не умели.

Когда к полуночи подплывали к Федоровской, подошел к борту Костогрыз, положил свою лапищу на ее белую ручку и вскрикнул:

— Чего ты, дитятко? Тоскуешь? Ты ж ще не замужем? — С другого боку тихо стал возле нее отец. Костогрыз вдруг хохотнул и заговорил погромче, привлекая к себе внимание Шкуропатского. — Выбирай получ-че. А то мы такие. Толстопят Авксентий рассказывал: парнем был, его ухажерка передала через подругу, чтобы он пришел ночевать, родители ее гуляют на свадьбе. Он пришел, а уже за полночь. Родители погуляли и вертаются. А она спала в другой комнате. Он скорей-скорей в окно. В одной руке рубашка, в другой — штаны-балахон. А сапоги остались в хате. Ач! Тихонько перелез через забор на улицу, подальше отошел от двора, это было осенью, к утру холодно. Двор был крайний от топила, у Аваковой мельницы, туда свозили с дворов мусор, прогнившую солому, и там, в кучах навоза, много ночевало свиней. Он согнал одну большую свинью и уложился на ее место от холода. Когда в хате огонь погас, он еще переждал, пока уснут, подошел к окну соседки, позвал ее: сходи за сапогами. Она это сделала. Э-эх, он и пошел к своей хате, запел на радостях, шо у любимой заночевал. Такой был бравый казак. Чи до тебя, дитятко, в окно ще никто не стучал? Смотри и...

Калерию нисколько не обидел такой грубый вопрос: Луке Костогрызу прощалось.

— А мы, козочка, знаешь как жили? Женится казак — и в плавни. Подожгут пост, горим, горим, а не сдаемся. По восемнадцать ран приносили в хату: и шея, и грудь, и голова... Свадьба, а тут приказывает атаман сопровождать начальствующее лицо. Один выход: атаману подношение сделать — чечевицу. «Як бы не чечевица, — шутили, — то и до се не был бы женатый».

— А в плену сколько... — сказал отец.

— Та-а! — подхватил Костогрыз. — Моего двоюродного дядю схватили мальчиком. Пошел рыбку половить, ждут — нету. Батько с матерью просыпались от горя. Ну и так: нету и нету. Как провалился. И прошло годов двенадцать. Ему уже бы в армию идти. У черкеса детей не было, они его полюбили. И через одного азията батько узнал, где он. Взяли охотников солдат. Пошли. Мальчик узнал батька! «У кого будешь, — до нас пойдешь или тут?» Еле уговорил сына. И вот провожает его весь аул. Человек двадцать верховых, брички. А навстречу вся станица, родные. «Только ворота скрозь открывай!» — батько кричит. Бабушка вышла: «Та ты ж моя деточка, та я ж тебя не узнала, та я б тебе повозку выслала. А краси-ивый!» Во такая была доля. То б тебе жених был, козочка. Но це давно. Он женился и погиб в Туркестане.

— Так же в Васюринской было, — приступил со своим преданием отец. — На базар черкесы приехали, а с ними чернявый молодой казак. Его узнали. Так они не отдавать! А уже замирились, уже суды были. Не отдают. Они, как им кто полюбится, лучше своего кохают.

В трех шагах от них громко рассуждал толстенький союзник:

— Я предложил бы ставить памятники исключительно выдающимся мерзавцам! Грехи негодяев полезно помнить вечно. Памятники из черного металла!

Старики прислушались, но тут же с волнением принялись поминать геройские дела отцов и дедов. Но разве могла Калерия на долгое время сливаться с их настроением? Сколько ни сострадай им, возраст уводит к себе. Поглядывая на призраки верб и кустарников, вспоминала она еще одно путешествие по реке, о котором никто из домашних не знал. Это было сразу же после концерта Шаляпина, 15 сентября.

«Ноги моей больше не будет в этом болоте! — сказал якобы Шаляпин извозчику Терешке по пути на станцию. — Комариное царство! И зачем я сюда поехал? Иногда я бываю несносным идиотом».

И все из-за этого пустого скандала в ресторане гостиницы «Европа». Куркульским своим характером Толстопят опозорил город. Его командировали из конвоя по службе, и он не поленился найти Калерию в «Чашке чая». После страшного ливня в кафе было пусто. Толстопят зашел словно затем, чтобы похвалиться гвардейской черкеской. За час он не сказал ни одного серьезного слова: подшучивал над петербургскими господами, зачем-то приврал, что с Нового года пристав Цитович будет адъютантом проказника Фосса, восхищался екатеринодарскими женщинами, которые сперва напекут пирожков, а потом уж целуются, раскрыл секреты помахивания веером: веер таит улыбку, блеск глаз, обещание, измену, лукавство, ревность, — и он, Толстопят, как-нибудь подсмотрит за Калерией в театре и по лепету веера догадается о ее зловещей тайне. Было смешно. И сам он хохотал без конца, нарочно перемешивая светское с казачьими замашками.

— Вы так похорошели. И добродетель ваша достойна ваших наград.

Это он перенимал чей-то салонный разговор, но так кривлялся голосом, что ничему нельзя было верить.

— Как вы тут поживаете? Говорят, графиня сама доит корову. Вы молчите, и я думаю о том, что надо быть неотразимым, как городовой Царсацкий, чтобы вам понравиться. Или, как Шаляпин, брать за концерт пятьдесят тысяч. Недавно он застраховал свою жизнь на пятьсот тысяч, ого, какой душка! Когда ему предложили для концерта наш скетинг-ринк, он дал телеграмму: «Шаляпин в конюшнях не поет». И вы ведь завтра понесете ему корзину цветов.

— Что с вами?

— Чад некоторого успеха в обществе, — сказал Толстопят. — Но сколько раз я пел в хатах, а корзины цветов мне никто не дарил. Так же ж?

И это казачье «так же ж?» смешило Калерию больше всего.

— А я свой билет отдала подруге.

— Мы с Бурсаком достанем вам другой. По желанию: рядом с Бабычем, мадам Бурсак, главой «Союза Михаила Архангела» или между мной и моим другом Демой? Мы пришлем за вами Терешку. Так же ж?

— Не знаю.

— Нехорошо же будет, если спереди сядет потный купец Акулов, а сзади Меланья, она аракой торгует до часу ночи, а кому ж я дерзость скажу? Не надрывайте мне сердце. Я не буду подсматривать, какую записку вы станете писать Шаляпину. Я и так знаю, о чем пишут барышни: «Вы мой бог, вам я хочу принести себя в жертву». Так же?

— Я хочу, чтобы ваше поведение было достойно офицера.

— Вне сомнения! В антракте, как один наш кирасир, я сидеть не буду. Ваш небесный голосок меня исправит...

Получалось, что она согласилась идти на концерт ради Толстопята, и когда сидела в Летнем саду между друзьями, то думала, что обманывает и того и другого. Неужели Бурсак ничего не говорил другу? Наверное, нет, потому что он робкий, до того робкий и добрый, что, если Толстопят на его глазах будет подавать знаки любви и если, тем более, полюбит всерьез и Калерия отзовется, он с извинением уступит ее. Он сомнет свои чувства, где-то в одиночестве будет страдать, но бороться за любовь у него не хватит смелости. Он, верно, считает, что любовь женщины сама стремится навстречу, и только такая любовь

красива и вечна. И потом еще неизвестно, любит ли ее Бурсак.

— Проснитесь, — говорил Толстопят в зале, касаясь Калерии локтем, — сколько людей на деревьях. Это они на вас хотят посмотреть.

— Полиция предупреждала о наплыве карманников, — сказал Бурсак. — Не они ли?

— А тетушка твоя опять брала белошвейку в банк за бриллиантами? Она, — шепотом доложил Толстопят Калерии, — хранит бриллианты в банке и, когда надо, едет в банк с девочкой-белошвейкой.

Толстопят повздорил с мадам Бурсак еще до конвоя на почве, как тогда говорили, ложных понятий о затронутой чести. Он имел привычку появляться в Зимнем театре на спектаклях в конце последнего действия и усаживался в первый ряд. «Зачем он брал билет в первом ряду, — сказала мадам Бурсак, — когда есть свободное место в нашей ложе? Стоило ли платить такие деньги. Лихач!» Толстопяту передали. «После всего, что вы обо мне сказали, — вонзил Толстопят в мадам Бурсак свою отповедь, — я знакомство наше считаю прекращенным». Мадам Бурсак за словом в карман не лазила: «Если бы я не считала для себя позором разговаривать с вами, я бы вам объяснила, как мною было сказано. Вы мужчина и должны здороваться. Тому, кто насплетничал, вы бы лучше дали по физиономии. Вы же не городовой Царсацкий». — «Я считаю всякие объяснения излишними. Боюсь наговорить много дерзостей. Пишите Бабычу».

Нечего удивляться, что Толстопят в ресторане прицепился к Шаляпину. В прошлом году Толстопяту было все нипочем. Подумаешь, Шаляпин! Как он посмел? Кто он такой, чтобы посылать к их даме какого-то лакея и потом (через лакея же) приглашать ее за свой стол? Разве с нею рядом нет молодых господ? Что за сладостные призывы? Почему дама должна идти к нему?

— С ним царица Тамара Грузинская, — сказал Бурсак.

— Мы не знаем Тамары, грузинской царицы, — громко возопил Толстопят, — но зато оч-чень хорошо знаем Тамару Грузинскую, танцующую канкан в оперетте!

Калерия вежливо отклонила просьбу певца и пожелала видеть его за своим столом. Лакей доложил и вернулся:

— Господин Шаляпин не находит возможным сидеть в совершенно неизвестной ему компании.

— Он так сказал? — Толстопят поднялся из-за стола. — Я ему покажу, как оскорблять женщину. Он куда приехал? Вы куда приехали, душка-а? Здесь казачья земля!

— Что с тобой, Пьер? — Бурсак дернул его за руку. — Не с чего беситься. Он устал.

— Не-ет. Я офицер кубанского казачьего войска. Пусть извинится. Оскорблять при мне женщину? Он брезгует нами? Позовите ко мне управляющего гостиницей! — крикнул он горничной. — Передайте вашему Шаляпину, что он скотина... Да, так и передайте. На казачью землю приехал и пренебрегать?

— Ты ведешь себя как союзник, Пьер... — корил его Бурсак. — Не повторяй историю с моей тетушкой.

— Сегодня же будет ему вторая гастроль!

— Да ничего не случилось, — успокоила Калерия. — С ним певица.

— Он поступил с вами как с дамой полусвета. Они привыкли к легкой добыче. К записочкам. «Вы мой бог, я хочу принести вам в жертву то, что иначе пришлось бы отдать простому смертному». Так же ж?

— Ну и что ж. Тамара Грузинская открывает ему двери в эдем.

— Втора-ая гастроль, и никаких.

— Если вы не стихнете, — сказала Калерия, — я подумаю, что нужна вам как зритель вашей удали. Я уйду.

— Останьтесь хоть из уважения к станице Пашковской, где я родился.

— Что даст вам мое присутствие?

— Если уж... гм... то и la plus belle fille de la France ne peut en donner plus [1], — шепнул Толстопят Калерии на ушко.

Калерия взглядом отшвырнула Толстопята. Сколько раз переменялось ее чувство за вечер! И оно менялось не только к Толстопяту, но и к Бурсаку. За обоих было стыдно ей через день, когда газеты писали о стычке с Шаляпиным у фаэтона, и хоть Бурсак отгонял Толстопята, призывал к джентльменству, тросточка певца нечаянно погуляла и по его бокам. Бокал шампанского от Шаляпина на подносе совсем вывел из себя ее кавалеров. Они провожали ее домой, и Толстопят все хорохорился, что он найдет этого императорского артиста в Петербурге и вызовет на дуэль. Ее, Калерии, как будто не существовало рядом. А уж когда он похвастался, что его пассия в Петербурге гораздо красивее Тамары Грузинской, ее взяло зло, и она поняла, что с этого часа теряет что-то в своей душе. И милый, чуткий Бурсак становился теперь ее единственным поклонником. Не нужно больше блуждать ее чувству. Но было странно: на ночь она всегда думала о Толстопяте. Так она попала в вечную беду женщины, которая от обиды приучает себя к возможному счастью с другим и с холодной покорностью утешается уговорами его любви. В небольшом лесу под станицей Федоровской, которую они нынче проплыли в сумерки, она молчанием потакала вольностям Бурсака, позволяла ему надеяться на близость в какие-то дни, но с таким несчастьем, с такой потерей своих надежд на страстные поцелуи с другим, навсегда ее предавшим. Только в ту ночь у гостиницы «Европа» она поняла, что все прощает Толстопяту, готова забыть свои свидания с Бурсаком, помчаться за Толстопятом в пугающее ее Царское Село. На пароходе, когда плыли обратно, Бурсак сжимал ее руку и, нисколечко не догадываясь о ее мыслях, слушал с улыбкой подсевшего к ним хмельного чиновника: «Я бы жить с ним стала, говорится, хоть бы борщ был без сала. Поверьте, мои

---

[1] Самая красивая девушка Франции не может дать больше того, что имеет...

друзья, это чудесно, когда так любят. Я рад за вас. Не расставайтесь. Любовь к ней — гибель одна — еще одно высказывание, — но отчего же так неотразимо влечет к ней чувство? Любите, любите друг друга...» Калерия умерла бы от счастья, если б рядом сидел Толстопят! Но теперь она об этом никому никогда не скажет.

— Шо це ты, дочка, не спишь? — позвал ее отец, прервав разговор о черкесах с Лукой Костогрызом.

— Замуж хочу, — сказала Калерия.

— Ач! — подхватил Костогрыз. — Так мы тебя прямо в Тамани просватаем. За гвардейца. Вон батько Толстопята с нами, его хлопца веревкой поймаем.

В Тамани их встречала на берегу толпа. Калерия поднималась в гору к церкви Вознесения и вдруг оглянулась под чьим-то взглядом. Позади стоял стройный старик лет шестидесяти, с палкой и смотрел на нее нежно, грустно и любуясь. Странно! Ему как будто было от нее что-то нужно. Спустя час тем же взглядом следил он за ней у станичного правления. Они пошли навстречу друг другу. «Не смущайтесь и не удивляйтесь, — сказал он, — что я смотрю на вас. Ваша мать была моя первая любовь, и вы так на нее похожи».

Вот новость! Может, мама ее тоже его любила, а прожила жизнь с папой, и ничего.

ТАМАНЬ

Тамань — богом забытый далекий куток на побережье. Зимой никакими дорогами к ней не проберешься, льют дожди, дуют ветры, и все счастье в семейном уюте. Зато с весны и до осени только заезжим господам может показаться она проклятой дырой. На горушках и в ложбинках вспухают сады, висят ночами алмазные звезды, голубыми искрами переливается море. По куткам слышатся малороссийские песни, гогот, девичий визг; и проскрипит где-нибудь в проулке тяжелая арба. Простолюдину здесь в самый раз.

Увидев разметанные по взгорью белые хатки, вершину Лыски, до керченских дымчатых берегов ребристую тяжелую воду, Калерия сказала отцу: «Если бы не наш Хуторок, купили бы здесь домик?» Барышню не заманишь никакой древней историей: у нее легкие порывы сметаются чувствами житейскими. Море, сады, свежий ветер из полынного Крыма, близость Феодосии, царской Ливадии — чего еще нужно казачке, если она к тому же не будет одинокой?

К празднику станицу принарядили. Через рвы и ямки перекинули крепкие мостики с выкрашенными перилами, у въезда вкопали столб с фонарем и с двуглавым орлом на прибитой доске; такой точно столб торчал внизу у пристани. Фонари, впрочем, были повсюду. Российские флаги трехцветными платочками пестрели у особнячков на длинных шестах. Станица вдруг прихвастнула своим видом. Но угодливая торжественность ни на минуту не задержала простого оборота жизни: с берега керченские шабаи каждые два часа гнали скот; только что возле пустыря на базаре отсчитала первые рубли Покровская ярмарка.

Публика пока без толку бродила туда-сюда. С Фанагорийской стороны подкатывали телеги и фаэтоны с гостями. Еще валялся на земле бронзовый запорожец. У дверей харчевен пахло борщом. То и хорошо, что ожидание дольше самого праздника. Калерии хотелось, чтобы из Ливадии прибыл Толстопят. Зачем? — не знала и лишь вспоминала его нахальные слова у фаэтона перед гостиницей Губкиной: «Мы связаны тайной э т о г о свидания...»

Уже все устроились; отец выбрал у самой кручи немудрящую хатку на ветру, с двумя вдавленными в стену окошечками, с круглым турецким колодцем во дворе. Там было тесно, и она пошла поспрашивать еще. За глубоким рвом взмахнулась над морем белая церковь Вознесения, и неподалеку, поближе к обрыву, облюбовала себе Калерия хатенку совсем ветхую. Чуть вправо валилась набок еще одна, наверно, времен позабытых. То была хатка Царицыхи, и там жил сторож церкви. Калерия постучала в первую. Уже вечерело.

Сама судьба, верно, повелела ей ночевать в этой хате и приманивать на старости любителей древности воспоминаниями о звонаре. О звонаре этом, когда она отошла после бесполезного ожидания в сторону, какой-то пьяный казак сказал ей, что он слепой от рождения и мальчиком был замешан с контрабандистами. «Вы ж читали!» — прибавил он и на том закончил, так как из пальцев у него выпала папироска. В эту минуту с порога хаты донесся оклик: «Хто там?» Калерия вернулась.

У порога стоял слепой восьмидесятишестилетний старик в жалких штанах, стянутых очкуром, почти босой, с длинными худыми руками. Услыхав нежный чистый голос, он чуть улыбнулся и спросил, кто она и зачем. Было больно смотреть на бельма его глаз. В вечном мраке ночи плутал человек, и, верно, душа его исстрадалась с младости. К калекам Калерия привыкла еще в Хуторке. Она не питала к ним предубеждения.

— Ну и поночуй, поночуй у меня, чего ж... Собака гавкает, а не кусается... Я зорю пробью и приду... У меня чистенько, просвирница прибрала на неделе, помыла... А койку застлать найдем... Ну такой голос, а ну побалакай со мною... Ты казачка?

Калерия заглянула в две крохотные комнатки; в одной, где был сундук, стол и лавка, висела в углу икона. Калерия было уже заколебалась, но звонарь сказал, что он уйдет спать к просвирнице. По берегу шумели люди, кругом много военных, городовых, так что она вскоре совсем успокоилась и согласилась.

— Вы с детства в этой хате живете?

— С малых лет, диточка, — сказал звонарь. — А то там хата Царицыхи. Ее давно нема. Ото понапридумали господа колысь, шо ее дочка офицера топила. Та чего ж она топила? Це ж он и завез ее в лодке — и ну обнимать. Она, бедна, перепугалась. Его надо было утопить, раз так. Мне читали цю побрехеньку. Як же он ее называет там? Ундина! Ее тоже нет давно. Один я блукаю. Чи ты тут, диточка? Чего молчишь?

— Я тоже читала, — сказала Калерия. Легкая улыбка постоянно была на лице звонаря. Когда сидишь рядом со слепым, его как будто и нет. Но он по голосу, даже по тому, как ты встаешь и что-то делаешь, всегда тебя чувствует. — А вы помните, дедусь, того офицера?

— Якого?

— Что ночевал в хате Царицыхи? У него шашка пропала, шкатулка...

— Та на шо оно? Це колы было. Це не так было. Брехня. Жили и жили казаки, а вин перевернул ту историю. Як его? Лермонтов, чи шо? Перевернул, бисова душа. Ото ж господа! Заехал к нам, переночевал, а мы виноваты. Дивчину заманул в лодку, а она перепугалась и бросилась в воду. Та чуть не утонула... Шкатулка! Яка шкатулка? Кинжал? А то у нас кинжалов мало, кругом казаки... Перевернул историю...

Ночью ей плохо спалось, хлопала на ветру какая-то тряпка, и Калерия два раза выходила наружу. Никого. Мрачная водяная гладь нагоняла страх. Оттуда, с безлюдной стихии, плыли их предки? Ночью времени нет. Когда стоишь под звездами, кажется, что никто никогда не умирал и ничто на свете не меняется. Слепой звонарь был всегда старым, гора на западе голая, запорожцы с оселедцами просто переместились в другие земли. Такая же ночь, то же море с узкой косой до Керчи были в тот час, когда они выскочили на берег из своих чаек. Больше ста лет назад, «в самую зеленую неделю», покинула навсегда войскового судью «верная супруга» Ульяна Головатая, но вроде бы ту же Ульяну повстречала она нынче возле базара. Только ты сам появляешься и чувствуешь, что отходишь под небеса, а дальним людям это незаметно. Много событий пронеслось по Тамани, много жизней процвело и склонилось, но душу барышни тревожило то, что было *сейчас*. Как и все до нее, она жила своим днем, не очень, правда, придавая значение тому, о чем с трепетом станут ее расспрашивать позднее молодые люди. И к слепому звонарю проявила она внимание мимолетно. Да что она! — сколько было на празднике фотографов, журналистов, и ни один не соблазнился историческим слепцом. Думали, верно, что он проживет еще столько же.

Утром прорезалось в облаках тусклое солнышко.

Уже соткнулись до одного важные кубанские и кавказские чины, все гости перезнакомились и не раз потрапезовали в каменном складе на низу близ моря, опять завывала дурная погода (так что репетицию парада перенесли на полдень — лишь слонялись с бубнами по кривым улочкам потешные казачата), уже гвардейцы царского конвоя, хористы брали под ручки дам и барышень; вновь блеснуло солнышко, открывая вдали Керчь, Митридатову гору и Еникале; извлекли из деревянного ящика и подняли на блоках фигуру запорожца, на промозглом ветру под руководством начальника штаба прикрепили бронзовую руку к плечу, пропели с депутатами «Спаси, господи, люди твоя» и разошлись, а самого главного гостя, почетного старика станицы Таманской наказного атамана генерала Бабыча, еще не было.

И состоялся уже чин освящения перестроенного Покровского храма, свершили под трезвон запорожских колоколов крестный ход, опустели трапезные народные столы во дворе с могилками, намечалось торжественное богослужение по случаю поднятия крестов, но двухсотпудовый колокол молчал: преосвященный Агафодор где-то ехал еще под станицей Ахтанизовской.

Зато Калерия повстречала Толстопята. Он сам пожаловал во двор звонаря.

Приехал!

В конвойской черкеске, с дареными часами на цепочке, прилизанный, вошел он с той хвастливостью, которая отличала кубанских офицеров, особенно конвойцев, когда они являлись к дамам. Вы тут во дворах, среди кур и индюков, говорил вид Толстопята, а мы из Петербурга. Мы телохранители самодержца всероссийского, рискуем своей жизнью, а вы спите на возах с парнями, гадаете к святкам на тарелках? А вот посмотрим, в чью сторону повернете вы завтра головку, когда начнется парадное шествие! Неужели тут наша Калерия? Хм, добрый вечер. Будем еще раз знакомы. В глухой станице сразу так повеяло женским богатством нашего маленького Парижа. Широкие глаза Толстопята радостно улыбались. Он прибыл в Тамань раньше Калерии и сперва не понимал, кого это он так ждет, без кого торжества в станице будут неполными, и, когда увидел дамские шляпки екатеринодарок, пожелал найти среди них и шляпку Калерии Шкуропатской. Не собираясь выманивать у нее чувство раскаяния за упрямство в день ее похищения на извозчике три года назад, он, как это часто бывает с мужчинами, просто подумывал возле нее покуражиться и погордиться своим благополучием. Пусть лишний раз ойкнет про себя: вот чьих жарких рук я испугалась тогда! Но потом, хорошенько подумав еще и, главное, сравнив скромных свежих казачек с петербургскими львицами, он проникся к ней братским теплом и решил попросить за тот случай прощения. Чего ему надо? В Петербурге у него разгар любви с красавицей со страусовым пером в шляпе.

Слепой звонарь сидел поодаль и курил люльку. Познакомились и полчаса говорили о том, кто из казаков прибыл в Тамань, что новенького в Екатеринодаре, и немножко о покушении на премьера Столыпина в Киеве. Толстопят тоже сидел в театре и, когда раздался выстрел, вскочил и побежал в первые ряды: пять казаков его сотни отвечали за охрану царской особы и стояли на дверях.

— Если бы пуля попала в государя, ваш покорный слуга был бы сейчас далеко, — сказал Толстопят.

— Царь, прохвессор чи генерал — уси будемо там, — подал голос звонарь, глядя не на Толстопята, а на Калерию. — Уси будемо там... Убили — значит, доля его такая. Та уси будемо там...

— Сколько ему было лет? — спросила Калерия.

— Сорок шесть. Он предчувствовал. Думал, что

его убьет личный охранник. По женской линии он родня Лермонтову.

Слепой спросил свое:

— Жалованье большое?

— Двадцать шесть тысяч в год только по должности министра внутренних дел.

— Нам с ним детей не крестить. А шо ж царь? Александр, чи як его?

— Александр Третий, дедусь, умер семнадцать лет назад. Николай!

— Ну то я перепутал. То Александра Второго я на семь годов молодше был. А шо ж цари за столом едят?

— То же, что и мы, — сказал Толстопят с улыбкой.

— Цибулю, и чеснок, и сало? Царь тебе будет сало жевать? У него ж дочки, и они сало руками берут?

Наивность звонаря развеселила Толстопята.

— А вы, дедусь, думаете, шо як царь, так он на одних конфектах живет? Ну бывает на приемах суп из черепахи, филе с кореньями холодное из рябчиков.

— У царя и часы як шкап.

— Святой вы человек.

— Кто святой, тому бог очи дал.

— Александр Второй ехал через Тамань, вы были?

— Та звонил. Смоляные бочки зажигали на дороге — аж к Темрюку и туда, на Копыл. Наказывали казакам строго: «Колы царь спросит, чем вас кормят, то отвечайте: «Фунтовой порцией борщ с мясом дают». Его ж убили... Та уси будемо там... А чи вы не женаты?

— Женюсь, женюсь! — сказал Толстопят.

— Чего ж, дитятко, он тебя не сосватает?

— Меня папа за него не отдаст.

— Я чую его по голосу. Репаный казак. У него в Петербурге девчата есть. Они и у нас... «Ой, боже! — одна смеялась. — Так меня все казаки любили! Як жал мне руку Степан, перстень раздавил!» И уплыла в Керчь, пропала...

— Нельзя казакам жить в Петербурге, — сказал Толстопят не столько звонарю, сколько Калерии. — Дочь графа Коковцева влюбилась в нашего офицера на улице, а потом узнала и сморщилась: «А-ах, так он каза-ак... Как странно, что казаки поют романсы. Это им как-то не идет...» Мы им не родня. Петербургские барышни лгуньи, их этому в пансионе учат. Невесту будем искать дома.

Звонарь вскоре ушел, пожелав им спокойной ночи; не дался провести несколько шагов: «Не, я сам, я сам...»

— Сватайся за нее, хлопец... — сказал погодя. — По голосу чую, шо добрая хозяйка.

— Вареников наготовить они все могут! — крикнул Толстопят. — И без любви, так же?

Калерия притворно обиделась. О чем с ней говорить наедине? Опять о покойном премьере Столыпине? Хоть и пишут уже, что святая Русь отдала крест на поругание врагам и мы расточили, как блудные сыны, наследие отцов, царь скоренько найдет себе нового помощника. Будет премьер поменьше слушать птичек в саду Зимнего дворца, приемы и рауты устраивать за государственный счет, писать не левой, а правой рукой, и на Елагином острове во дворце поселится другой граф или князь — только и всего. Кого потеряли — скажет история. Они в Тамани на празднике. Толстопят глядел на славное личико Калерии с озорством. Маленькое приключение в 1908 году все же повенчало их памятью. Как будто навеки повисли над ними те вроде бы шутливые и непригодные слова: «Мы связаны тайной э т о г о свидания». Из тьмы слов всегда выскакивают эти. Калерия тоже думала о них. Как легко попасть в мужские сети! Даже неприятная пустая связь сближает. Так же чувствовала себя ее подруга: пустила как-то в беседку на целую ночь своего поклонника, пококетничала, разругалась с ним на рассвете, но уже прежней незнакомкой ходить мимо него не могла. Молчание Калерии сейчас тоже было какой-то зависимостью.

— Небесный голосок! — окликнул ее Толстопят. — У маленькой шалуньи небесный голосок.

— Я не хочу, чтобы вы так ко мне обращались. Здесь не Петербург.

— И не Царское Село, к сожалению. На берегу можно отцепить лодку, не желаете?

Ее темные глаза насторожились.

Сама себя стыдясь, она мигом подчинилась приглашению Толстопята, встала и пошла за воротца. Этим согласием она словно пообещала что-то ему, и когда спускалась к берегу с кручи, то думала о том, что она душой уже предает Бурсака. Недолго барышне и закружиться. Они сели в лодку, привязанную к железному колу, и было похоже, что Толстопят вознамерился сказать ей нечто важное.

— Вы меня не утопите? Скажите мне что-нибудь.

— Что же я должна говорить? — Она не могла смотреть долго ему в глаза и на эти его острые кошачьи усы и еще раз покаялась перед далеким Бурсаком: Толстопят раздразнил ее чувства. Не было, не было его — и вот на́ тебе: вошел, спустословил немножко, и таманский день перевернулся. Что ей казачий войсковой круг, ну что барышне парад и речи, когда у нее тоска?

— Женщина никогда не говорит того, что чувствует? Так же ж?

— Смотря кому. А отчего вы так?

— Мне надо. Я на Кубани жил, а попал в Петербург — думаю: любят не как у нас. И все не как у нас. Или потому что я казак?

Толстопят даже поглупел от своего вопроса и таращился своими чудесными глазами на Калерию, ожидая, чтобы она ответила. Но казак он был хитрый. У него и манера разговора была озадаченная: все как будто он ничего не понимал. А потом тут же смеялся. Калерия тоже хитренько сейчас помалкивала.

Толстопят глядел на слезливую поверхность моря. Думал ли о мадам В. и вообще о петербургских нравах — неизвестно. Может, думал и удивлялся: за что его так скрутили бечевкой любви? С мадам В. он уже кое-где побывал. А ты, — хотелось ему ска-

зать Калерии, — ты, дивчина-красавица, все тут горюешь в Хуторке среди индюков и уток?

— Приезжайте ко мне в Царское Село. Поведу вас на рождественскую елку. Напишу в карточке: «Желаю получить от его величества дамские часы с гербом».

— Мне папа выписал через магазин Гана из Швейцарии. Хотя и без герба, но хорошие. Вы надели конвойскую черкеску и воображаете, что близки ко двору?

— Я езжу за царской каретой, — хвастался Толстопят. — Не серчайте, это во мне деревенские углы. Я ж казак, один раз скажу по-французски, другой — матерком. Может, я подорвусь на бомбе. Будете плакать?

— Почему я должна плакать?

— Сам не знаю отчего, но я вас ждал.

Толстопят прищурился на нее, проверяя действие своих слов, и Калерия заметила его пустую усмешку, но велико в тот день было желание обманываться: она скрытой нежностью ответила ему на признание. Пусть на секунду, пусть только мыслью, но сердце ее изменило Бурсаку. С Толстопятом ей было легче. Она подумала, как бы целовалась с ним, как бы вольно прижалась к нему, если можно, и ни минуты бы не стыдилась ласк, что с нею случалось, когда слишком смело ухаживал Бурсак. С Толстопятом открылась бы ей сладость страсти, которая захватывала ее только в книгах. Все бы, кажется, отдала — лишь бы одним глазком посмотреть, кому целует ручки Толстопят в Царском Селе.

— Я виноват перед вами, — сказал Толстопят. — Я зашел к вам попросить прощения. — Она поняла, какого прощения он добивается, и это ее слегка напугало. — Простите! Вы все еще сердитесь? Или мне у извозчика Терешки просить? Вы сердитесь на меня?

— Я сержусь только на себя.

— Всегда?

— Всегда-всегда.

— А за что же так себя не любите? Дивчина красивая. Надо вас засватать в Тамани. Запорожцу бронзовую руку приставили, вы попытайте его. На кого он укажет, того и в женихи. Чего? А кто байки хорошо рассказывает, того не надо. Так же ж?

Он захохотал, и тогда Калерия от обиды вспомнила Бурсака, всегда деликатного и умного, которого она согласна обмануть ни за что. Нет, не так, как обманывают легкие дамочки, нет, нет. Предательство — в наших мгновенных чувствах, которые вспыхивают и гаснут как искорки. В эти мгновения и теряется верность.

— Почему не приехал мой дружок Дема?

— Я не спрашивала его, — решила скрыть Калерия свои встречи с другом Толстопята. — У него крупный процесс.

— Так вы прощаете меня? Ну чего? А то я поведу вас к запорожцу и там на колени стану перед вами. Так же?

Ему приятно было дурачиться на кубанской земле. Он так строен, красив, прибыл из Ливадии побрехать с земляками, и ему больше ничего не нужно. Калерия злилась оттого, что в самом деле оказалась обманутой в своих чувствах, поторопилась, да так ей, наверное, и надо. У женщины просят прощения в тот миг, когда она его не хочет.

— Завтра праздник... — сказал Толстопят. — Ничего, дитятко, у с и будемо там, куда звонарь нас посылал. И Головатый со своей Ульяной сто лет на спине лежат. Вам любить хочется, а наш станичный писарь гордится, что пятьдесят два года просидел на одном стуле. — Черт-те что молол Толстопят. Калерия уже и не слушала его. — До запорожцев тут кто был? — Калерия молчала. — Высадились запорожцы, завоевали Кубань, а дивчина молчит. Вот Терешка проклятый! Подогнал фаэтон и завез в гостиницу Губкиной. Вроде женатый, чего он? Ще й буркой накрыл. Так же ж? — Толстопят захохотал, и такой у него был вид, что Калерия тоже растянула губы.

— Лучше бы поговорили о чем-нибудь серьезном.

— Когда я был серьезным, вы меня кулачками били. А сегодня я вас жалею, как свою сестричку. А-а, так и болит моя спина. Шаляпин толкнул, и я об крыло фаэтона. Бурлак!

— Зато прославились.

— И с вами, моя козочка, я прославился на весь Екатеринодар. Батько фельетон из газеты вырезал и под стекло вставил: «Бисова душа, до смерти не прощу!» Вы хоть простите. Дурношап, так же ж? А за кого ж вас просватать? Черноморцы в могиле, а хороших казаков все меньше.

— Можем ли мы знать, какими они были.

— Они были репаные казаки, но их не вернешь, и мы будемо т а м, да вспомянут ли нас, как мы завтра вспомянем кошевое войско с Антоном Головатым и Чепигой?

Он замолчал.

— Рано вам об этом думать... — сказала Калерия.

— То я так. О, звонарь кличет в церковь.

Они проулочком поднялись в станицу. На телеге пылили три наших казака, гнавшихся за племенным бычком с другого конца области. Станица пестрела платками, папахами. Для Толстопята и Калерии она была обителью таких же кубанских казаков, как они. Но мы должны за них сказать, на какой земле они проводили свой летучий день. Им казалось, что Тамань так и звалась испокон веков. Но те, кого давно здесь не было, звали ее по-своему: Гермонасса, Матрига, Таматарха, Таман, Тмутаракань. По киммерийским могилам они шли, по песочному пепелищу русского монастыря, по засыпанным полам мраморных дворцов и так же, как все люди, жили ощущениями своего бытия. Каким взором увидеть стены с гербами генуэзских консулов, татарские кибитки, турецкий артезианский водоем на две версты вокруг, двести фонтанов и колодцев, мечети и дворцы Эдема, густой непрерывающийся сад с аллеями на восемнадцать верст, вырубленный казаками на топку и ради безопасности от черкесов, по каким насыпям и камням угадать основания русских церквей, греческих

вилл? Как чистою мечтою унестись во тьму времени, когда каждую минуту прерываются мысли о самом себе? Ни Калерия, ни Толстопят не пылали священными сантиментами к далеким покойникам. Разве что вздохом пожалели они иной раз запорожцев и тут же увлеклись собой. Всегда, всегда, на протяжении всей жизни будет она благоговейно вспоминать Тамань 1911 года, где как будто что-то оставила она драгоценное, где витало над ней какое-то облачко счастья, но она тогда не подняла голову с изумлением. Какое же это счастье? Да, наверное, это молодость ее и то, что все были рядом и все казались родной казачьей семьей, чтившей свои сложившиеся заветы. Зачем было печалиться о себе?

— Еще раз простите меня, — сказал Толстопят серьезно. — Ради праздничка. Не сердитесь. Казак поболтал и забыл, так же ж?

— А как жаль, что мужчины все быстро забывают.

— Клянусь тем бронзовым запорожцем, что уже стоит напротив хаты моего дядька, клянусь вам, что и звонаря и вас в его хате я буду помнить до ста лет, если доживу.

— Время покажет.

— Время все покажет, моя маленькая шалунья.

Они шли в Покровскую церковь, где уже выставили дары запорожцев: ковчег серебряный, чашу, крест и святое Евангелие в большой лист в серебряной оправе, с изображениями четырех евангелистов, воскресения господня, Саваофа, архистратига Михаила, архангела Гавриила и тайной вечери. Евангелие подарил церкви Антон Головатый, имя которого приберет себе людскою молвой тот бронзовый запорожец, с которого еще не стянули белое покрывало. Была панихида с провозглашением вечной памяти Екатерине II, светлейшему князю Потемкину, графу Суворову, бывшим черноморским кошевым атаманам и всем запорожским казакам, прибывшим на поселение. Тьма народа стояла и в церковной ограде и на песках. Певучий голос преосвященного Агафодора пробивался на улицу:

— Непроходимые дебри, пустыни и мрачные леса были на Кубани, когда пришли запорожцы. Рыскал жадный зверь и дикий хищник. Одно столетие — и на необитаемых местах явились грады и веси... Благословение царя небесного всегда почивало на вас и на предках ваших. А сии грамоты, сии регалии, сии священные знамена не суть ли неоспоримые доказательства высочайшего благоволения и монаршей милости к войску? Вознесем ко господу наши молитвы, наши прошения! Как сохраняем мы во святом предании прохождение с проповедью о господе нашем Иисусе Христе через нашу Тамань в нынешний град Киев святого апостола Андрея Первозванного, так свято храним память о запорожцах. Призри с небес, боже, Тамань и виждь и посети виноград сей и утверди й, его же насади десница твоя. Мир дому сему, мир граду и мир всем, здесь присутствующим и отсутствующим. Аминь...

Казалось казакам и казачкам под тянучие кроткие голоса хора, что о них так же будут молиться.

Калерия повнимала словам и настроению панихиды, удивилась на короткую долю времени пришествия на Тамань Андрея Первозванного, имя коего было на российском ордене, потом в толпе рассеялись ее мысли, и она, попрощавшись с Толстопятом, пошла к хатке слепого звонаря, думая о том, что на нее все оглядываются, но никто не любит так, как ей хочется.

У ПАМЯТНИКА ПРЕДКАМ

5 октября, на день войскового круга и тезоименитства августейшего атамана всех казачьих войск наследника цесаревича Алексея Николаевича, начался праздник.

Ночью Луке Костогрызу снилось, будто он поставлен на пьедестал в запорожском костюме и в правой руке держит солонку, подаренную ему Екатериной II. «Чем я не казак или не хозяин? — говорил всем своим видом Лука народу, склонившему пред ним обнаженные головы. — Сыра земля! Расступися! Оце добре вы, казаки, надумали, шо пришли с горилкой. Какое нам дело до целого света?» — «А ты кто такой?» — кричал из толпы генерал Бабыч. «Разве вы не видите по оселедцу? Я ваш кошевой батько урядник Лука Костогрыз Шестой. Я вас привел на Кубань. А ну доставайте, бисовы души, грамоты, перначи, литавры!» Костогрыз спрыгнул на землю, поздоровался со всеми помощниками за руку, поцеловал Бабыча и поехал на волах в Пашковскую к своей бабке.

Сны веселые, да вставать тяжело. В хате пахло вчерашним борщом; осенняя муха ползла по полотенцу; на листке церковного календарика чернело старое число: 25 сентября, день св. Сергея Радонежского. Вчера поразила его новость: через Тамань в Киев святыми шагами прошел задолго до запорожцев апостол Андрей Первозванный. Не рука ли святого направила запорожцев к крутому берегу?

Кости ломило, ноги натоптались по станице, болели. Накануне приплыл из Керчи со шкурками Попсуйшапка, на ночь оба жаловались на пропавшую Варюшу и уснули, как обиженные младенцы. Костогрыз умылся, выкурил люльку натощак, потом — еще чуть свет — пошли они на ярмарку и за рвом наткнулись на Толстопята, у которого и спросили, честно ли служит в конвое Дионис.

— С таким голосом нигде не пропадет, — сказал Толстопят. — Государь любит наши песни и пляски. Я послезавтра опять буду в Ливадии, что передать от деда?

— А передай, шо ждем на льготу с мундиром урядника и со знаком. А колы оставят ще на срок, то я буду гордиться, как индюк. Дед Лука, скажи, подтоптался уже, но ще ходит журавлиными шагами. Та скоро и я лягу к запорожцам. Ото поставим казака, и...

В Покровской церкви ждали депутатов войсковые регалии. Ах, если б вложило в них провидение живые уста, чего бы не рассказали позднему роду людскому! Сколько казачьих рук прикасалось к ним, и где

те руки? Сколько наказных атаманов шло за ними с выпертой грудью на парадах и на встречах важных особ, и где те атаманы? Цари склоняли головы к ним, и где те цари? Из рода в род освящают регалии славу казачью. Было что вспомнить войску.

В 1774 году река Кубань была объявлена русской границей на Кавказе. Предвидя новую войну с турками, правительство обратилось к запорожцам с призывом послужить на новом месте. Вечные переселенцы, они пустили корни и на Кубани, и неужели кто-нибудь в иной час вырвет их и разбросает по свету? В 1792 году «кош верных казаков», позднее — войско Черноморское, подготовился в полном составе перекинуться за Дунай, но Екатерина II обхитрила их указом, по которому казаки наделялись островом Фанагория со всею землею по правому берегу Кубани, от низовья ее к Усть-Лабинскому редуту, так что с одной стороны река Кубань, с другой же — Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли. Так порешила Россия. И пришли, и высадились в Тамани и на Ейской косе с войсковым скарбом и куском ржаного хлеба, и протянули живые силы через всю заболоченную степь. Куда пришли?! Теперь чего только не брешут про казаков, но куда они пришли, на какие страдания?! Ничего, кроме неба, камышей и малярии. Пластуны сторожили спокойствие Черномории. Сидели они в воде, взлезали на высокие деревья, ползли змеей, кричали и свистели подобно зверям и птицам, окликая товарищей. Кто теперь это поймет, кто им, дряхлым или погубленным смертью, посочувствует?

Чуть позже снимались на чужбину украинские семьи; похоже было, что движется по степи станица, только вместо белых хаток переваливались неуклюжие гарбы. На гарбах были навалены кровати, столы, лавки, кадушки, бороны, чувалы с зерном. Шум, скрип колес, крики пивней простирались на несколько верст. В дороге рождались дети, крестили их в попутных селениях; ночевали под звездами. Кто их вспомянет, пожалеет тех сынов малороссов? На регалиях вышита их слава.

У церкви Костогрыз попрепирался с Бабычем о том, что ему нести.

— Грамоту, шо Екатерина дала.

— Не-е, я солонку понесу с блюдом. Может, и мне дадут три ковша червонцев, как Антону Головатому.

— Все ты знаешь, Лука, — сказал Бабыч.

— А шо ж! С нашего роду письмо турецкому султану составляли. Ото меня там не было, я бы отлил пулю. Ну, они не такое письмо писали, как вельможа Потемкин. Ото ж наши запорожцы разогнали турков и поляков и никакого их мира с москалями не признавали. И сказал им вельможа Потемкин: «Вы крепко расшалились. У всех у вас одна думка: как бы теперь москаля прибрать. Вот ваши худые и добрые дела», — подает Головатому толстую тетрадь, в ней все худые и добрые дела Запорожья. И шо ж он, Потемкин, сделал? Худые дела написал строка от строки пальца на два и словами величиною с воробья, а чего доброго Сечь натворила, так то написано было часто и мелко, будто маком посыпано, и оттого наши худые дела загубили места больше, чем добрые. «Все кончено, — говорит, — пропала ваша Сечь!» — «Пропала Сечь, так пропали уж и вы, ваша светлость. Вы ж вписаны у нас казаком, та колы Сечь пропала, пропало же и ваше казачество». И поехали наши казаки с Петербурга с понурыми головами...

— Ничего, зато мы с тобой и со всем войском голову высоко держим, — сказал Бабыч, похохатывая.

— Ах, как бы можно их с того свету позвать, то б удался праздник на славу. А их нема. Я скажу свое слово сегодня.

— Скажи, скажи...

После литургии по приказанию генерала Бабыча понесли под народный гимн тридцать пять куренных запорожских знамен, двенадцать куренных малых булав, жалованную Екатериной на новоселье солонку с блюдом, два войсковых знамени и грамоту от нее же, куренные значки и восемнадцать перначей, войсковые серебряные и медные трубы, юбилейное знамя от ныне здравствующего императора, белое знамя св. Георгия Победоносца, к которому прадед Толстопята прибивал и свой гвоздик. Несли древнюю запорожскую икону со словами на ней: «Молим, покрой нас своим покровом и от врагов сохрани» и... «избавлю и покрою, люди моя излюбленныя...».

И потянулась за ними свита.

Отец Толстопята вел белую лошадь с литаврами через спину. Отец Шкуропатской, может, последний раз держал в руках трубу. На блюде нес священную солонку Костогрыз.

Под звуки духовой музыки казачка в старомодной одежде вела запряженных в повозку волов, а сбоку шел казак в постолах и в старой черкеске с привязанными к поясу кисетом и люлькой. На возу лежало немного домашнего скарбу, стояла кадка и сидело четверо малых детей.

На кручах, на каменных заборчиках, на лавочках, домашних стульях, на крышах выросли над шествием любопытные таманские обыватели. Жили и вроде бы слыхали, что когда-то у берега, где ныне ловят бычков, высадились тринадцать тысяч душ запорожцев, но и во сне бы не явилось, чтобы чтить их с такой пышностью в присутствии трех десятков генералов, начальства и даже керченской городской управы.

Калерия смотрела вниз с колокольни Вознесенской церкви.

Попсуйшапка искал в рядах знакомые лица. Насчитал он из сорока семи атаманов добрый десяток таких, которые приезжали покупать своим казакам папахи; сразу узнал невысокого, круглоголового Бабыча с насекой, шедшего как-то сердито, двух гвардейцев конвоя его величества, стариков Шкуропатского и Толстопята, дряхлых генералов, ловивших в отставке рыбу в Кирпилях, и генерала другого, сычом дремавшего на кургане под Медведовской. В войсковом хоре были одни знакомые. Шел родной брат Бабыча из станицы Уманской, тоже в папахе его рабо-

ты. Блестели на солнце галуны, эполеты, ладанки, перевязь. И все они были героями короткого дня, который никогда не повторится и никому, кроме них, не будет понятен, потому что пройдет еще несколько лет и в обломки, в прах превратится жизнь со старыми гимнами, молитвами и историческими преданиями. Они были *жителями* этого дня, этой последней эпохи казачества, и они тучной властной громадой окружили памятник, который через двадцать, пятьдесят лет будет маячить у моря единственным свидетелем черноморского прошлого. Будущего не предвидеть. Через семь лет здесь всхлестнется междоусобная война, в Тамань проберутся солдаты кайзера, потом уйдут самые ярые казаки за море, увозя в сундуках регалии предков...

Проводив регалии от двора Вознесенской церкви, где их окропили водой, Попсуйшапка побежал вперед, чтобы взобраться повыше и оттуда видеть и слышать то, что будет происходить у накрытого полотном памятника. Еще раз последовало то же самое: за куренными значками, грамотами и булавами прошествовали вниз чины и депутаты. Бывает торжественный миг, когда тяжко стоять в толпе безликим. Душу тянет туда, в самое царство причастных к памяти! Почему он всего-навсего маленький шапочный мастер? Почему в его роду нет Георгиевских кавалеров, трубачей, даже писарей? Ему попеременно хотелось просиять перед публикой и наказным атаманом, приуставшим от ежегодных церемоний и литургий, и рослым офицером конвоя в алой черкеске и белом бешмете, и всеми любимым за шутку Лукой Костогрызом, и длиннобородым пластуном, думавшим, что это его прадед ступил ногой на пустую таманскую землю. И даже бы белесым и хрупким, как тростиночка, преосвященным Агафодором, владыкой человеческой веры в золотой ризе, захотел он явиться на миг. С первыми звуками народного гимна сбились на нет его слепые мысли. С разостланного ковра архиепископ Агафодор начал свое благословение:

— ...Вспоминай дни древние и ищи в них поучения... И будем молить всевышнего: да благословит он казачье войско силою крепкою и мышцею высокою в дни брани, а в дни мира да воздаст тихое и безмолвное житие, и да умножит благодать и покой. Доблестные имена вождей войска, на брани живот свой положивших, да напишутся в книге животней, да даст им бог венцы нетленныя; а на земле имена их да живут из рода в род... Да умножатся в городах и весях земли его храмы и монастыри, в которых находят утешение, усладу верующему сердцу своему доблестные сыны войска в наше время безбожия и холодного равнодушия...

Вместе с хором Попсуйшапка запел «Многая лета».

— И сотвори им вечную память...

Опять запели, потом слепой звонарь ударил некстати в двухсотпудовый колокол. Снизу от памятника стали махать, кто-то побежал на горку к Вознесенской церкви. Звонарь не унимался, будто звал на пожар. Мальчишки на заборах засвистели. «У нас вечно что-нибудь не так, — поругался про себя Попсуйшапка. — Они, говорят, и по Кубани плыли, так два раза на карчу наткнулись, буксир «Николай» их стягивал... Ну ясно: звонарю восемьдесят лет, он забылся...» Но вот, слава богу, колокольный перелив стих, и тогда вышел с бумагой екатеринодарский городской голова, неприятный Попсуйшапке уже тем, что хотел рассчитать по старости отцовского кучера Евтея.

— Не может ветхая деньми седина казацкая не крякнуть с гордостью в могучий ус свой при виде молодого атамана, писаря, вахмистра, урядника, — поднял сытый голос городской голова, глядя в бумагу и словно подчеркивая толстым пальцем предложения, — ...когда видит, как здорово, стойко, честно и умело каждый исправляет вверенное ему дело; когда совет держит он с министром без лести и робости, ответ держит пред высоким царским слугою...

«То вы там держите... — палил ему в ответ шапочный мастер. — У вас в Екатеринодаре какой порядок? Вы тротуары чистите? Улицы замостили? Желтобилетниц с базаров и харчевен убрали? Тариф на водку повысили — и все? Да постановление вынесли — гласным на проезд от дома на извозчике выделять по рублю. Себя не забыли. У вас и в городской думе развернуться на вешалке негде, пальто в руках таскают...»

— ...должны были держать границы родной Сечи и земли русской от татар и турок, так и здесь, на Кубани, новым поселенцам пришлось защи...

Попсуйшапка отвернулся лицом к морю и разглядывал пароход. Есть ораторы, которых слушаешь, потому что некуда уйти. И если переслушать и перечитать все торжественные речи, то покажется, что их говорил один и тот же твердолобый человек. И в Тамани никто из них, грамотных и знатных, не сказал лучше Луки Костогрыза. Попсуйшапка аж привстал на цыпочки и так, с вытянутой шеей, прослушал крик старика до конца:

— Казаки мои родные! Все на свете повторяется, да ничего не воротишь. Как бы позвать нам оттуда наших черноморцев та спросить, чем они жили, то зацвела б снова наша слава, а они б нам сказали: было житье на казатчине! Тогда, — сказали бы, — величали мы друг друга братом, а кошевого атамана батьком. Если на раде приспичило нашему кошевому чихнуть, все чубы ему низко кланялись: «Тоби, батько, на здоровье, нам, казакам, на радость, ворогам нашим на погибель!» В светличке о трех комнатах, под камышовой крышей, где на светанье божьего дня чиликали воробьи, нам было не тесно. Наши матери и молодицы разъезжали еще в стародубовских кибитках, в которых только что и роскоши было, что медные головки на гвоздиках. Стремя было для казачьего чебота шо крыло для пяты Меркурия. На дружеских пирах мы пили варенуху, под цимбалы отплясывали «журавля» та «метелицу». Пуля и даже сабля не брали нас в бою, затем шо никто из нас назад не оглядывался. А шо ж мы теперь слышим? Нема Сечи, нема и Черномории; пропал и тот, кто ими верховодил. А мы, родные мои казаки, им ответим: нет, не так. Запорожская Сечь долго блукала, пока не

нашла свою долю на Кубани. Есть еще порох в пороховницах, та й не согнется вовек казацкая сила! Слава о вас, наши батьки и деды, не сгинет, мы ее подхватили и передадим внукам. Господи, упокой их души в лоне Авраама. Нам же в казацком кругу пошли здоровья и крепости духа. Эй, люди добрые! Сходитесь до кучи, сядем на колоде, табаки понюхаем, люльки покурим та раду послухаем. Встаньте и вы, деды-черноморцы, гляньте на нас. Пошли, пошли нам, господи, шо было в старину. Еще не умерла казацкая доля! Узнают еще вороги рыцарские дела. От стародавних обычаев нашей неньки Сечи мы не отступимся. Пошли господи... шо было в старину. — Слезы блестели на глазах Костогрыза, он задыхался от умиления предками, но после паузы собрался и докричал: — Слава героям, слава Кубани!

— Слава! — выдохнула толпа.

«И у такого деда, — подумал Попсуйшапка, — такая вредная внучка... И бог бы с ней, да она как на грех моя жена...»

СТАРАЯ ХЛЕБ-СОЛЬ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

После открытия памятника Попсуйшапка пошел перекусить к греку в духан, а семьсот человек гостей были приглашены на войсковую хлеб-соль у складского помещения, внизу возле моря. Генерал Бабыч, архиепископ Агафодор, чины штаба, атаманы отделов, отставные генералы и прочее начальство и гости трапезовали в особо устроенном закутке; во дворе под навесами сели на длинные доски депутаты станицы. Пускай под портретами их величеств и наследника цесаревича генералы поют «Многая лета», слушают струнный оркестр, посображают вслух о том, что станет после смерти Столыпина, — простым же казакам лишь бы выпить и побрехать, и на их гогот все равно выйдут спесивые начальники. Пили казаки из деревянных чарок и ели из старой казачьей посуды — по запорожскому завету: хоть с корыта, да досыта! Но жаловаться сейчас было грешно: столы ломились. Горькая, рябиновая, полынная, старая, смирновская водка; балыки маринованные, куропатки, десяток сортов грибов, копченья, икра зернистая, паюсная, мешочная, еще какие-то домашние закуски, тоненькие кусочки розового сала — ну! как тут жаловаться на здоровье? Страдать будем завтра!

Бабыч вышел к ним раньше, чем думали.

— А богу помолились? Нет. Шо вы, казаки? Или душа ваша в постолах ходит?

Костогрыз, скорчив на лице дикий испуг, вскочил на ноги и, не замечая, что кинжал с его пояса ткнулся в чашку с икрой, сложил руки к сердцу крест-накрест:

— Батько наш кошевой, по письменному атамаи наказный, я и громада просим у тебя прощения... Меня не было сразу: взял же у матери Катерины на парад солонку, та соль рассыпал, а лавка закрылась. Пока извинялся перед ней, они без меня посадились. Они еще молодые, дури много. Прости басурманов.

— Я-то вас прощаю, — сказал Бабыч, подыгрывая, — пусть бог простит тоже. По просьбе его прощаю, казаки.

— За це бьем тебе челом, до пояса казацкий поклон! — Костогрыз махнул головой вниз и так стоял с добрую минуту. Потом вылез вперед, поцеловал с чмоком у Бабыча руку. Казаки торжествующе прокричали «У-ра!» Растроганный Бабыч развел в стороны руки, наклонился и поцеловал (как отпечатал) Костогрыза в щеку. Это была минута, когда казаки почувствовали, что Бабыч сейчас обыкновенный кубанский старик и погонами не чинится. Так оно и положено на гулянке.

— Давай же, батько, за твою к нам любовь и прощение поцелую в твое доброе сердце!

Костогрыз под крики «ура»! поцеловал ордена св. Владимира и св. Анны на груди генерала.

Тут Бабыч и поздравил некоторых депутатов с присвоением звания урядника.

— Командуй, Лука.

— Ну, начала бутылочка ходить по столу и низенько кланяться и булькать весело. Ач, и я возьму горилочку в руки и поклонюсь тоже. Сало есть? Вон и пирожки. Чи так, то так. Перекидаем чарку в рот.

— Не-е, — отвел рукой Бабыч его торопливость. — Опять не с того. Как твой дед начинал?

— Передавали мне так. А ну, казаки, постихайте. Дед начинал с того, шо хвалил Кубань. «Як подумаю, то в целом свете нет земли богаче». И чарку в рот. А чи вы, люди добрые, знавали моего покойника деда? — обратился он к столам. — Ото ж жизнедательница наша Катерина переселяла их с Запорожья и с Полтавщины, та и нахваливала Кубань: «Там будет вам доброе житье. Там барашки, красная рыба, там добры кони и волы и щуки и караси». А девчата! — це уже мой дед балакал, а я добавлю. Не против ночи будь сказано: одну пощупаешь, а захочется всех! И язычком почмокаешь, та й годи!

— А зачем же их всех щупать, Лука Минаевич?

— Казаков же мало сперва пришло, а число где брать?

— О-ой, Лука! — пискляво провыл васюринский казак, поспевший с товарищами на праздник и уже уговоривший Луку свести его с Бабычем ради племенного бычка симментальской породы.

— Так ото ж, дед рассказывал — царство ему небесное, упокой его душу в лоне Авраама, — колы приехали на Черноморию, дак у нас, говорил, и пуза закраснелись и не стало у нас никакого яствия, одни галушки, лихо ее батьку. Да как шли на сию Черноморию, то до крайности разорились: батько в речке утонул, а сапоги сыну выкинул; волки на кобылу напали и все пузо разорвали, аж кишки висят. Мать с горя билась три дня об лавку, а на четвертый встала, глину замесила и пирожков напекла. Дед мой (три годочка, но высокий) вылез из бочки, сломал лозину и давай кишки собирать и пузо кобыле зашивать. Да как шли опять на Черноморию, то снег горел и соломою тушили. Ой, лихо. Да еще как пришли на Черноморию, то был у них атаман Загоняйбыка и писарь Заплюйсвичка. Так атаман был дуже строгий: «Залезайте наверх и пукайте разом!» Дак

мы, говорил дед, правда: тот пук, тот пук, та не разом. «Шо вы не разом?» Господи, прости... — Перекрестился Костогрыз и, подорванный смехом казаков, сел.

— Бреши, бреши, Лука! А мы поможем.

— Я брехать не умею. Вам пить та салом закусывать, а мне ще, как нашим батькам, в Азов за хлебом ехать. Оттуда приеду и буду жениться, а то у каждого цыгана есть жинка, и мне одному жить не личит. Так? Бабы были и раньше на Кубани, но каменные, и жениться было не на ком. У моего батька лежала одна такая под окном хаты, и я малюсенький становился ей ногами на живот, чтоб посмотреть в окно, чи готовы материны пирожки, а в грязь об нее землю с чебот счищал. Ну, хватит, иначе батько, мой двенадцатый наказный атаман, с нами выпить не захочет. Чи так, батько?

Бабыч, чтобы не унизить себя молчанием среди шума и веселья, тоже изволил пошутить:

— Я человек ще молодой и по старинному обряду пью две сряду. Насыпайте в чарки! Дай, боже, щоб наши враги рачки лазили, а у вас очи повылазили. Только и нашел, что съел да выпил. Со мной рядом стоит кацап, а стихи пишет про казаков, — подшутил атаман над Костогрызом. — Пишет, но наизусть не выучит, так я вам прочитаю.

Взошла для войска вновь зарница:
За верну службу мать-царица
Тамань с Кубанью подарила;
Хлеб-соль, как милости драгия,
Солонка, блюдо золотыя,
Литавры с бахромой сребристы,
Такие ж трубы голосисты.
И знамя бранное вручила, —
В нем наша слава, честь и сила!

— Ай, Лука, матери его хрен! Добре сложил, — похвалил сам себя Костогрыз. — Но пить за него не будем. Выпьем за наказного. Кланяются тебе, наш седенький кошевой, казаки хлеб-солью, а я балычком. Пожелаем нашему наказному атаману здоровья и долго-долго носить атаманскую булаву.

— Нехай с богом носит!

— Перекидаем чарку в рот!

После первых рюмок молчали, таскали к ртам закуску, и казалось, что в одно место согнали людей, недовольных друг другом. Но минута пришла! Чарка за чаркой, и началась казачья услада, разгулялась хмельная вольность, сомкнулось «товариство», и было то, чего нельзя выдумать нарочно, что, увы, всегда пропадало как звук, едва кончались пир, полковая встреча, ужин у костра, свадьба или застолье по случаю возвращения казака из Персии, Геок-Тепе, Тавриза, Варшавы, Царского Села или даже из станицы Уманской. Выпьем и мы хоть чуть-чуть с старейшинами из запорожского михайлика, захмелеем и послушаем байки. Не будем строги к их грубоватым, порою примитивным шуткам и к кое-каким знакомым сюжетам: все дело в голосах, жестах, в настроении и простоте душевного общения всей рады, избранной самим торжественным случаем.

Костогрыз уловил момент оживления, встал и, постукивая деревянной борщовой ложкой по скляночке со смирновской горилкою, пустил вопрос к дальним столам:

— Есть тут казаки Кущевской станицы?

— Колы симментальского бычка выведешь на дорогу, то есть.

— Даст вам батько бычков, каневские, васюринцы и кущевцы, даст, шо всех телят пересватает. А ну налейте и жирненьку тараньку потяните за хвост. Готово? Перекидаем чарки в рот!

Казаки послушались Костогрыза; Бабыч выпил и присел рядышком.

— Так! — стукнул Костогрыз пустой чаркой и лукаво посмотрел вдаль на кущевского казака с таким полным красным лицом, что оно, казалось, вот-вот треснет. — Теперь слушайте. То давно было. Приехал к моему дяде кум, накрыл стол, налил горилки себе и куму, а после того и жинкам, та как закусили добре осетринкой, то кум и начал рассказывать. А я под столом. Дело ось яке. Вы знаете, шо как вода в Кубани на спад, то за плавнями надо было следить, черкесы то в одиночку, то партиями через плавни нишком подбираются к Кубани: выберут брод и ударят на казачий кордон. Тут не зевай! Заснешь — вырежут всех и на другой день объезд наступит на мертвое царство. Так оно шоб такого не случилось, с кордонов высылали пошляться по плавням человек пять-шесть. Раз и послали шесть верховых Кущевского куреня, с урядником. С вечера засобирались. А урядник Лаштабега и говорит: «Глядите, хлопцы, не забудьте чего. Мы проездим завтра целесенький день, может, и ночь захватим, а может, и другой день, то шоб было чем червяка заморить. Возьмите сухарей, сала, в саквы та не забудьте соли, а я фляжку горилки додам. Чарки по две, по три на брата». А один казак, Терешко, отозвался: раз так, мол, то дозвольте уж и маленький казанок с собой прихватить, завтра вечером, если придется в плавнях ночевать, я галушек сварю.

«А как ты там замесишь?»

«Саквы у нас кожаные, я одну выпорожню и парой онуч застелю, на ней и замешаю. Прихвачу жменю пшена и кину в галушки, смачно будет».

«Тьфу! — не стерпел Лаштабега и плюнул набок. — Галушки на онучах замешивать?»

«Голод прикрутит, то по нужде чего только не съешь. Вон пластуны рассказывают: им и камыш доводилось хрумкать».

«Камыш? Им же губы и язык порежешь!»

«Тю! Кто старый камыш хрумкать станет? Наберут молодого, только лист пустил, подправят салом, посолят — то тебе такой борщ! Выголодаются так, шо и камышиный борщ медом покажется. Им и прикорнуть если придется, то одним оком». Эх! — громко вздохнул Костогрыз. — Выпьем за них, как ни страшно было, все прошло, а сгадаешь, то жалко.

И все опять выпили.

— А чего ж ты сел и молчишь? — спросил Бабыч.

— Ач! Лысая моя голова задумалась. Посадились на коней, перекрестились и выехали, тихонько

сникли в плавнях. Выбрали прогалину, где и камыш не рос, и решили переночевать.

— Репаные казаки.

«Давайте тут и заночуем, — приказал Лаштабега, — а завтра чуть свет до дому. Только надо кругом проехать, а то как не черкесы, то, может, кабаны ночью нами закусят. Останьтесь тут, хлопцы, та нехай и Терешко тут спрячется. Он же галушки нахвалился варить. Но сильно полымя не разводи».

Смеркалось. Выехали сотню шагов со становища, Лаштабега опять:

«Теперь, хлопцы, разделимся. Вы трое завертайте направо; проедете сотню шагов или две, то заверните направо, потом столько же и там опять направо, а тогда держитесь прямо, пока нас не встренете. Как последний поворот сделаете, дайте какой-нибудь знак, шоб нам не разминуться».

«Та я, — один говорит, — крякну жабою».

«Ну а я, — другой, — по-кабаньи захрюкаю».

А в плавнях такой камыш растет, шо не только с конем схоepisode сховаешься, а и конца пики не видно. Разделились и поехали потихоньку. Месяца на небе не было; звездочки моргают кое-где. Однако ж съехались обои партии.

«Кабан хрюкал добре».

«И жаба не отставала».

«К становищу!»

Приехали. А где ж казак Терешко? Возле коня нема. Стоит коняка расседлана. Кто-то наткнулся на кучу камыша, там заворошилось.

«Шо це ты, сучий сын, спишь? Мы думали, придем и зараз до горячих галушек!»

«Тогда б они горячие не были».

«А воды в казанок набрал?»

«Как бы раньше набрал, прикрыть нечем, оно б напрыгало туда всякой нечисти».

«И правда. Ты расторопный хлопец».

«Каким бог уродил».

«Ну, так хлопче! — похвалил Лаштабега. — Вы расседлайте там коней, обтерите им спины, а как повечеряем, то поседлайте опять на слабенькие подпруги, навесьте торбы, и так оседланные пускай стоят. Один на карауле, остальным спать, только одним оком. А теперь померяйтесь на камышину. Верхний станет первым, а там по порядку вниз. Последний меня разбудит. Ночь теперь коротка, каждому недолго сторожить. Черкес народ хитрый: мимо тебя пролезет, и не почуешь».

Тишина над столами нависла удивительная. Только головы подняты были, да кое у кого рот от внимания открыт, да кое-кто уже улыбался — побрехенька Луки была старая. Весь смак был не в ней, в самом Костогрызе: он умел и чепухой насмешить.

— Пока урядник так наказывал, кухарь Терешко и кричит: «А ну, хлопцы, до галушек!» — «Скоро сварил». — «Шо ж, — оправдался, — у меня все было готово. Как вода закипела, вкинул туда сала, нарвал галушек, прокипело, и готово».

«Ну, так подожди, — Лаштабега ему, — усядемся, тогда и казанок подавай, а то кто-нибудь в казанок ногою и влезет».

Посадились.

«Гляди, не вылей кому на голову! Иди на мой голос, а я тебя поймаю и сам казанок поставлю».

«А темно! — один казак говорит. — Ще, пожалуй, и в рот не попадешь. Как бы заместо галушки другого какого зверя не потянуть в рот».

«В рот-то дорога известна, а до казанка поводыря надо бы найти».

Пошутили и ухватились за галушки.

«Ты, хлопче, сала, наверно, не пожалел. Галушек не поймаешь, а от сала не отцепишься».

«Та шо за нечиста мать! Какой шматок не потяну, то едва в роте повернешь».

«Стой! Я шо-то такое поймал в роте, как бы огонь, то глянуть, шо ж оно такое? Стал жевать, а оно трошки квохчет и в роте не помещается».

«А ну и правда! — сказал Лаштабега. — Размахайте, хлопцы, огню, поглядим».

Раздули огонь. Глядь, а там жаб больше, чем галушек. Так и покидали наши казаки ложки, и уже кто-то кричит: «Давайте горилки скорее, не выдержу!» А кухарь вылупил очи и молчит, сопит. Лаштабега кинулся к своей сакве, вытянул фляжку и давай глотать горилку.

Утром повставали.

«Напойте коней, — Лаштабега приказал, — подтяните подпруги та прямесенько до дому. И не забудьте ложки разыскать, шо вчера позакидали».

«Ложки? А на шо их брать? Шоб на кордоне посудину запоганить? Нехай им черт!»

Ехали и молчали. Урядник вдруг как крякнет на нашего кухаря:

«Та как же ты все же, сучий сын, накормил нас жабами? Разве нельзя было ухом учуять, шо они там булькают?»

«Булькали, це теперь только я знаю, шо там жабы булькали. Я шурнул сало в казанок и давай галушки рвать, и думаю себе: как оно так вышло, шо вода скоро закипела? А он видишь: пока вода была холодная, они, проклятые жабинята, сидели тихо, а как трошки нагрелось, то припекло их, и они забулькали. Темно, ничего не видно, заглянешь в казанок — белое перевернется там, думаешь, шо сало, а оно! Как бы я знал, шо оно так, то сам бы не ел, а то их, проклятых, наверное, с полдесятка, если не больше, заглотал...»

«Шо ж делать... — сказал Лаштабега. — Она хоть и жаба, а все же тварь божия. Только, хлопцы, на кордоне — никому. На смех поднимут».

Та где! Разве кому рот завяжешь? К вечеру весь кордон знал, а как сели вечерять, пришлось позычить ложек, но никто не дал. И прозвали кущевцев жабоедами. Так за ними прозвание и осталось до сего дня, а потом и весь Кущевский курень стали дразнить жабоедами. Ну как же им наш кошевой батько даст племенного бычка? Или дать?

— Да-ать! — закричала громада.

— А вы, Лука, пашковские, сме-ета-анники! — пульнул с угла кущевский казак.

— То нам не страшно. Не только круглолицая казачка, но и худючая черкешенка снимала сметану с пашковского муравленого глечика. Так. Мы, как березанские, не кричали: «Не нашу роту рубают — нехай рубают!» И огурцом церковь не подпирали — как васюринцы. Та шо там: титаровцы собаку на звоннице подвесили вместо колокола и за хвост дергали!

— Кое-кого, — добавил Бабыч, — и синештанниками звали, а они, бисови души, отвечали: «Ввиду того, шо будем строить конюшню, нам акушерки не надо».

— Я одно забыл: как таманцев дразнят. Ну, ничего, — закончил Костогрыз. — Хорошие байки. Налейте и перекинем ще чарку в рот.

Все черноморские станицы имели свои прозвища. Казаки разгорячились, каждому захотелось насмешить побрехенькой, и стали просить слова, между собою хихикать, запалили люльки. Шутки перемешали и уравняли всех. Уже и преосвященный Агафодор вышел из особого закутка, и другие с ним. Пьяная рада гоготала беспрестанно. Встал наконец-то и Бабыч и, толкаясь с пятки на носок, поджидал тишину. Костогрыз застучал ложкой по смирновской бутылке.

— Батько кошевой хочет сбрехать...

— А я за ним, — сказал, точно икнул, васюринский казак.

— Ты уже перекинул лишнюю чарку.

— Це было ще тогда, — начал Бабыч, — как меня только благословили в хорунжего. И дали мне постоянного вестового. Ну и попался же казак до того дурной! Мучился я с ним долго. И сколько ни просил у полкового адъютанта, шоб переменили и дали другого, ничто не пособляло. Дурные ж служаки тоже нужны.

— Кто дурнее турецкого коня, хорошо служат, — опять встрял васюринский казак.

— Вот мне как-то и посоветовали позвать адъютанта и кого-нибудь еще на чарку горилки, шоб там за чаркою он сам разобрал, какой у меня казак. Я послушался, так и сделал.

— А кто ж тогда был полковым адъютантом? Небось подъесаул Рыштога?

— Та он же самый, — подыграл Бабыч нашему каневскому казаку, уже и забывшему, зачем он приехал в такую даль.

— Знал его. Покойник на льготе чаю не любил, а чарку перекидывал частенько. Тещу свою хорошо держал, царство ей небесное. Вскочит с ружьем в залу, нацелится в ее спальню, та как гогохнет под кровать — и-и. А я свою уточку-жинку жале-ею....

— А ну перекрестись! — пугнул его кулаком Костогрыз. — Батько ж брешет. Не перебивать. Ты прости его, батько, казаки ж без дыму не гуляют...

— Прощаю, но бычка не получит... Так вот. Пришел ко мне адъютант Рыштога, а с ним еще два молодых офицера. Сидим мы, чай пьем. А казак же у меня такой дурной, как турецкий конь, — правильно там кричали. И надумал с ним побалакать. «Скажи мне, — спрашивает Рыштога, — правду, шо ты такой дурной, чи, может, брешут?» А тот ему: «Та чего ж там я дурной? То как был маленький, так тогда, известно, был дурной, клад в кургане искал, сорок дней не пил и не курил, щоб клад взять, и с жинкою не спал, и в кармане свечку носил, с какой ходил на страсти под пасху, и был, значит, дурной-дурной, как сало без хлеба, а теперь же я давно вырос здоровый и стал умный». — «А ну скажи мне: шо б ты делал, как бы война была с турками, а тебя послали с пакетом в какое-нибудь место? Конем ехать нельзя, а послали б тебя пешком. Идешь ты с шашкой, с винтовкой, колы выткнулась из-за горы целая сотня турков. Шо б ты сделал? У тебя винтовка в руках та еще и заряжена?» — «Стрелял бы, ваше благородие!» — «Постой, та подумай: чего бы ты, матери твоей хрен, стрелял, колы ты один, а их целая сотня?» — «Рубал бы, ваше благородие!» — «Ну добре. А шо бы делал, колы во так бы шел при амуниции, а против тебя здоровенная рогатая корова? Ну? У тебя в руках винтовка та еще и заряжена?» — «Стрелял бы, ваше благородие!» — «Постой, ты подумай», — адъютант ему. «Рубал бы, ваше благородие!» — «О барсук коротконогий. Зачем же ты б корову рубал?»

— Це такие огурцами церкву подпирали, — хихикнул васюринский казак.

— «Зачем бы рубал?» — «Убежал бы, ваше благородие». — «Вот дурной. Убежал от коровы? Шо с привязанной коровой делают?» — «Привязал бы ее та ще й сена подкиuул». — «Оце добре. А шо б ты сделал, колы ты едешь, а навстречу наш командир полка? А у тебя винтовка в руках и заряжена?» — «Стрелял бы». — «Чи ты сдурел? Чего бы ты стрелял в командира полка?» — «Рубал бы, ваше благородие!» — «Ты подумай хорошенько». — «Убежал бы!» — «Дурная твоя голова. Ну чего бы ты убегал от своего командира?» — «Взял бы, ваше благородие, привязал та ще й сена подкинул». — «Вот такой махамет, черти бы его удушили!» — сказал адъютант и переменил мне казака.

Бабыч рассказал историю очень затасканную, но хитрый Лука Костогрыз ляпал ладошками дольше всех.

— Ну добре, добре, батько. И ты в запорожцев. Батько одно пожалел сказать: тот дурной казак был я, но с тех пор я часто ездил с наказным атаманом на охоту, поумнел и сам про дурней рассказываю.

— Бреши, Лука, на здоровье, а мы перекинем чарку за тебя и кошевого.

— Пей и мою чарку, Лука! — закричал кущевский казак.

— А то, кущевский как пригубит, после него и татарин не будет пить.

— Гуляйте, казаки, — сказал Бабыч, — а я проведаю начальство, может, мне и там поднесут чего кроме чаю...

— На здоровье, батько наш кошевой! — проводили его.

— А мы побалуемся. — Костогрыз опять схватил борщовую ложку. — По очам приметил я, шо хочет крепенькое слово взять наш есаул Авксентий Дани-

лович Толстопят. Ой, матери твоей арбуз печеный, перекидаем чарку в рот.

За этим дело не стало.

— Послушаем! — скомандовал Костогрыз. — Та не перебивайте, а то я на левую сторону глухой. Авксентий Данилович, заливай сала за шкуру. Я тебя давно знаю. И весь ваш род. Репаные казаки! Бабки моей нема, так я вам открою секрет. Колы я был с волосами на голове и мяса много ел, то ударял в кой час по вдовушкам. Наберу мешок пшеницы — и через сад до Акилины в окно. И так раз навалил в мешок, еле донес. Она самогон варила, без мужика, ясно, скучала. Захожу, а в той комнате коптилка. «Куда мешок поставить?» — спрашиваю. И слышу голос знакомый, а це дядько Авксентия, лет под шестьдесят. Указывает из комнаты: «Та ставь, Лука, туда, куда и я свой поставил».

— Ха-а-а-а! Добрые казаки!

— О такие Толстопяты, матери их хрен. Ну, послушаем Авксентия.

— Бреши! Мы уже уши наставили.

Большеглазый, седой Толстопят посмотрел на сына Петра, потом вокруг и тихим неохотным голосом, без намека на улыбку, начал:

— Кошевого нема? Ну, не передавайте ему, хлопцы. Сейчас хвалятся: войско, служба, мы, мы! Ну какая теперь служба? На вола сядет казак, к воротам, а они закрытые, он развернул того вола и прямо на забор. Мать: «Погоди, ворота открою!» А батько: «Нехай скачет через забор, мне трус не нужен. Або герой, або мертвый». Сын с волом перемахнет забор и давай шашкой жинку гонять. А батько уже пишет в штаб: «Прошу моего вола, имеющего счастие возить моего сына, наградить узким золотым шевроном, за беспорочную службу медалью на андреевской ленте (для ношения на шее), а также присвоить волу звание урядника и перевести на казачий оклад, а то я продам эмиру бухарскому».

— Та чувал пшеницы вдове Акилине! — захохотал каневской казак, уже второй раз пивший вместо горилки кисляк из глечика.

— Какая то служба? Вот когда мы служили, то была слу-ужба. Как сберется наше войско та глянешь на него верст за сто — не иначе мак цветет в степи. Кони были у нас цыганской породы, а на масть — шо твои гадалкины юбки. Седла были дубовые, стремена ясеневые, а за уздечки и подпруги и балакать нечего; с самого лучшего ремня, с шерстяным набором. Ну какая теперь служба? Купит батько гвардейский сундук, насыплет туда два мешка муки, сын везет в Царское Село в конвой и ходит к молочнице на блины. Вот у нас было: у каждого казака около пояса и карбиж висит, и каждый добре знает, сколько человек в сотне. Был у нас сотник Вырвикишка. Приказывает: надевайте, хлопцы, на себя все, шо у кого есть: не будет холодно. Так мы его и слушали; как наденет казак на себя бешмет, а на него чекмень, а тогда кожух, а сверху него свитку, а на нее бурку, так откуда ни глянь — кругом одинаковый! А как сядет казак на коня — то черт его с места ворохнет.

— То каза-ак!

— Как сядем мы на коней та поедем на войну в Пашковскую. Выехали мы раз в степь, колы глядим — какой-то чертов сын настромил на ратище кичку, а сверх бабскую щлычку и поставил на горе, а мы ж про то знаем, та с тою кичкою и с бабскою шлычкою семь лет, как семь часов, провоевали. Стоим так один раз у трактира Баграта и воюем. Глянули на Старый базар, а там татары: с дрючками, с палицами, с корзинами. И прямо на нас прут! Ну теперь, думаю я сам себе, наверное, уже война будет, а не битва. Так и вышло: как стали мы с ними биться, как стали рубаться, так кровь из нас как вода льется, а ременные наши сабли аж брящают. Татар было двенадцать, а нас сто двадцать, и мы до того бились, шо поравнялись: их стало двенадцать и нас двенадцать...

— Добре!

— Как подскочит татарин к сотнику та репнет его дрючком по спине, то только луна пошла. Как крикнет тогда сотник: «Хлопцы, на коней!» — «А у меня, пан, кобыла!» — кричит Лука Костогрыз. «Садись на кобылу, черт се бери!» Метнулся Костогрыз, так за семь часов как тот воробей сел.

— Вот собачьей души казак. Джигитовку добре знал.

— Схватили мы коней домой, татары нас только и видели. Бежит Костогрыз по-под горою тихонько и заскочил в трактир. Заскочил, слез с коня и начал зараз кашу варить, ибо дуже голодный был. Варил, варил кашу, та недостало пшена, и он наварил галушек. Затолкал сала, заправил цибулею — глядь: к нему татарин на мурой кобыле! И как выхватит ременную саблю та как ударит его прямо по голове, а она обкрутилась рава три вокруг шеи и по губам ему только: бринь! Он был такой казак завзятый, шо и тут не испугался. Ухватил пушку, засунул в нее добру галушку, а поверх нее горячую юшку та как бебехнул того татарина — р-реп посредине его мимо! Татарин сквозь землю провалился. Трактирщик Баграт шустовский коньяк тащит: «Ой, выпей, к чертовой матери!» Вот как мы в старовыну служили, свой родной край от ворога обороняли. Можно б ще добавлять, но слушать некому: хлопцы уже и горилку попили, и спать поуклались...

— Не-е, мы, малолетки, будем гулять до света, — сказал Костогрыз, — а как захочем спать, так тут в куточку и ляжем с девчатами покотом. Хто там хрюкает кабаном? Танцевать! А шо ж мы будем танцевать?

— Нашего запорожского «пьяного казака»!

— А где ж музыка? А где ж наш струнный оркестр? Ну, откидайте столы. Сыра земля, расступися!

«Пьяного казака» изображал васюринский, длинный, комичный, а каневской и кущевский ему помогали; это им давалось легко, так как ноги хорошо зацеплялись. Потом снял шашку Лука Костогрыз и вошел в круг с поднятыми руками. Крики, хохот покрывали музыку. Пыль взвилась столбом. И лишь

слепой звонарь не мог видеть казачью пляску. Он согнулся на углу стола и одобрительно улыбался. Казаки поддразнивали его: «Прокофьевич, идите до нас!» Он махал им рукою, благословлял топать в сто ног и опять замыкался в темном своем сиротстве, бог знает как воображая себе картину. Может, в какой раз с покорным вздохом лелеял он свою заветную мысль: гуляйте, гуляйте, много вас гуляло, та все уже т а м... Костогрыз приказом вскинул руку кверху, все озорно затихли: сейчас скажет что-то важное.

— А не пора ли нам до колодезя! Воды попить, а лишнее отдать... Шкуринцы, шо говорили, вместо холеры под мостом корову прикончили, и ты, васюринский бычок, и все вы, кто не нашу сотню рубал, и кто вместо матки в улей черного жука запхал, берите меня под руки и-и...

Но оставим их... отвыкнем от таманской гульбы... взглянем на ночное небо: вместе с запорожцами, сочинителями письма турецкому султану, они т а м, где и предрекавший всем неминучую судьбу слепой звонарь, — их давно-давно нет на свете...

. . . .

— Еще раз простите меня, — сказал Толстопят утром Шкуропатской; праздничные удовольствия кончались, и надо было расставаться. Начальство, гвардейцы, чиновники отбывали раньше — прочие отрывали от своей жизни день на спектакль «Казацки прадеды».

В двенадцать часов еще раз окружили памятник, и генерал Бабыч зачитал высочайшую телеграмму: «Передайте кубанским казакам мое сердечное спасибо за выраженные Мне верноподданнические чувства. Верю в их преданность Престолу и Родине. Николай». Текст телеграммы можно было угадать заранее; будь праздник в Тамбове или в Иркутске, слова разнились бы ненамного. Все, однако, простодушно, как откровению, хлопали. Далеко в Екатеринодаре кто-то прочитал отчет в газете и сказал: «Почему преданность сначала престолу, а потом уже Родине? Что же все-таки выше? По мне, дак на первом месте должна быть Родина».

Толпою провожали Бабыча, слугу царского, и он самодовольно кивал головой по сторонам. Уже где-то высоко-высоко летело вниз, на темя власти, смертельное копье, уже кто-то в небесах расчислил земной срок Бабыча, но не таковы люди, чтобы гадать наперед.

Пароход «Вестник» дал второй гудок, когда Бабыч вышел из хаты в сопровождении атамана. Шпалеры пластунов, депутатов, льготных гвардейцев, певчих протянулись до сходней. Едва генеральские эполеты сверкнули за калиткой, как ему навстречу, смахнув с головы папаху, выдался Лука Костогрыз.

— Будь здоров, батько! Громада тебя благодарит, и я, сивый, благодарю, шо ты предков почитаешь. Люди кроют хаты кроквами, а ты шапки моих братьев-казаков укрыл галунами, за то тебе кланяюсь до пояса. Садись, батько, на табуретку, вот бурка, а я буду укладывать тебе от казаков на дорогу харчи.

— Добре, — сказал Бабыч и сел.

— Так слушай же, батько, шо я тебе принес. Оце тебе пляшку горилки за то, шо ты казак. Положить в котьму?

— Клади.

— А оце в бутылке квасок, может, где под кустом умочишь сухого хлеба кусок. Класть, батько?

— Клади.

— А оце тебе, батько, шматочек сала, шоб про твою буйну и умну головушку и про нас всех пронеслась слава. И це положить?

— Клади.

— И оце тебе, батько, кусочек сыру, — у тебя, нашего кошевого, головушка сива. Класть?

— Клади и це.

— А ось тебе и хлеб, да прибавил бы тебе бог век. Положить в котьму?

— Клади.

— А оце тебе два яблочка от самого меньшего Костогрызова правнучка. Класть?

— Клади.

— А оце тебе головка чесноку с кошевого войска кошевому казаку. И це?

— Клади.

— А оце тебе маленький кавунец, шо ты, ты, добрый кошевой, молодец. Положить?

— Клади.

— А оце... завезут тебя пьяные пароходчики аж у Стамбул, то передай самому турецкому султану письмо и от меня, нехай не думает, шо мы ругаемся хуже тех запорожцев. Дать?

— Клади, Лука, ты добре пулю отливаешь, я знаю.

— А оце тебе железную цепь-колбасу — я ж тебе, батько, аж до воза отнесу.

— Тай годи! — Бабыч встал.

— Прости нас, батько, за все, может, шо не так?

— Спасибо тебе и войску за все це! — сказал Бабыч и поцеловал Костогрыза.

Лука взял мешок с харчами, потужился для смеху и понес за генералом к пароходу.

— Наклали мне харчей, хватит до самого Константинополя.

— Чихай, батько, на здоровье, счастливый тебе путь. И шоб дал нашим храбрым казакам племенного бычка.

Бабыч поклонился на четыре стороны — по-запорожски. Под музыку поднялся он вместе с преосвященным Агафодором на мостики. Слепой звонарь послал им с колокольни несколько прощальных ударов.

Попсуйшапка тоже махал с палубы фуражкой всем-всем, кто вышел на берег.

. . . .

— Лучше всего помню разговор с Калерией Шкуропатской, — говорил мне через пятьдесят лет Петр Авксентьевич Толстопят. — Праздников в России было так много, что они все смешались в один. Помню слепого звонаря. Только его «пророчество» и сбылось...

— Я не могу об этом вспоминать, — сказала в эти же дни Калерия Никитична Шкуропатская. — И не хочу. Еще все были живы. Отец там был мой, нет, не могу, я буду плакать...

А мне, теперешнему скромному летописцу, всегда будет жалко, что я не сидел с ними 5 октября за столами...

. . . .

О том пиршестве долго судачили по кубанским хатам, возвеличивали за шутки Луку Костогрыза, но потом, волею времени, засорились и иссякли местные предания настолько, что в семидесятые годы, отыскав в селе Витязево под Анапой престарелую внучку некогда знаменитого пашковского казака, я как волшебную сказку преподнес ей рассказ о том октябрьском дне в Тамани, и она, со слезами подавая мне мутную, затекшую, где-то десятилетия пролежавшую в сырости карточку Костогрыза, охала: «Та неужели ще есть такие люди, которые помнят моего деда?!»

ПЕРВОЕ НЕСЧАСТЬЕ

В дни таманских праздников Дементий Бурсак разъезжал в фаэтоне по восточной степи. Ему было не до многолюдных торжеств.

Выдалась сухая, божески-кроткая осень с мошками над водою, со стогами сена и россыпью огромных кабаков на казачьих кошах, с конскими табунами вдали, под чистым небом на закате. Даже в предчувствии холода, слякоти, тления трав и листочков степь все равно звала к полной долгой жизни, сияла ранним осенним сиянием. Все повторится, все заново прорастет из земли!

«А я? — спрашивал Бурсак незнамо кого. — А я **там** и останусь...»

Так однажды было и будет со всеми: кругом вечный свет земного бытия, обилие плодов, трепет птиц, крики девичьих голосов, обещание счастья векования твоим сверстникам и потомкам, а тебе, скоротечному, ударил срок смиряться с роковой участью и ждать последнего вздоха.

С чувством неизбежной разлуки Бурсак глядел с некоторых пор на все вокруг.

Еще недавно после театров и полуночных ресторанов он просыпался вялым и опустошенным. «Бонвиванское царство», как называл Толстопят компании молодых паничей и дам, заманивало его в свой круг два-три раза в неделю: заезжали к последнему акту в театр, оттуда на извозчике в ресторан поужинать с шампанским, а в третьем часу ночи под тусклыми фонарями, мимо столба-городового Царсацкого спешили к чугунным ступенькам особняков, в постельку. Теперь, в конце века, когда как-то не пошумишь между собой без обильной выпивки, можно вообразить о екатеринодарском бомонде что угодно; но все будет не то. За дамами больше ухаживали, нежели соблазняли, о политике рассуждали так мимолетно, будто пересказывали мемуары прошлого века, цедили пару бокалов шампанского по часу, и все удовольствие состояло в антураже, в сознании того, что они **гуляют**, проматывают вечернее время, забавляют дам остротами и болтовней. Пустота к утру, наверное, была от этого. Днем в суде надоедали житейские драмы: убийства, ограбления, тяжбы за наследство и т. п.; там жизнь каралась по всем строгостям закона, и Бурсак вылавливал зацепку, чтобы притушить ее грехи; вечерами он покорялся воле этой жизни. Легко выносить приговоры правительству, нравам столичного общества; сами люди мало следят за собой. Несмотря на все примеры праведной жизни святых угодников, проповеди в церкви, моралистские увещания Толстого, несмотря на угрозы первой революции отомстить за бедных, покончить с праздною вольницей, счастливчиков затягивала петля удовольствий, выгод, взаимной поруки и мирских утех.

Неизвестно, как долго бы чередовалось легкомыслие с хандрой, если бы в начале 1911 года Бурсак не заболел. Выпил как-то на балу в дворянском собрании ледяной воды, и, хотя пил маленькими глотками, наутро стал душить его кашель. Знаменитый в городе доктор Лейбович болезнь ему не назвал, но напугал Дементия всякого рода намеками. Настроение сразу упало, в груди каждый день кололо, в один миг опротивели ему прошлые бравады, речи, сладострастные побуждения. И без того мнительный, Бурсак счел себя на этой земле обреченным. Вдруг возгорелся он вниманием к великим, давно усопшим наставникам, с малых лет постигшим горние мудрости и счастье человеческое, и каялся, что золотые прописи их относил к юродству. Он завел дневничок, читал только древние книги, выписывал себе в помощь, во спасение, духовное лекарство. В Александро-Невском соборе с надеждой ставил свечку у иконы св. Пантелеймона-исцелителя, раздавал нищим рубли, на звон колоколов за домами всегда крестился. «Боже, — шептал, — да будет воля твоя, да не оскудеет же вера моя в тебя, да будет сие наказание за грехи мои не к смерти, а к славе твоей! Ради молитвенников твоих, помилуй мя и исцели. Не оставь меня. Господи, боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь спасения моего, господи...» От тетушки Елизаветы скрывал, было стыдно своей прежней сухости, когда она ходила в церковь причащаться или постоять на чтении двенадцати Евангелий.

Только в романах ничего не значат болезни; там герои страдают друг от друга. В жизни без здоровья ничто не радует. Что теперь все российские события, праздники, юбилеи войн и царства Романовых? Ты воистину один. Ни власть, ни положение, ни фамильные тарелки никак не защищают тебя от напасти природной. Ты калека — как те, что трясутся и тянут руки у церкви, коих ты зачастую и не замечал. И так обидно, так обидно пропадать под голубым небом: почему тебе не повезло? Почему раньше своих сверстников ты должен закрыть глаза навеки? За что тебе так?! И кого позвать на помощь? Может, правда есть чудо?

Пожалей, господи, и спаси, я в тебя **буду** верить.

Таковы люди. Таким был и Бурсак.

Сны теперь до зыбких подробностей запоминались

ему. Накануне казачьего праздника в Тамани видел он нового угодника Феодосия, архиепископа Черниговского, по благословению которого укрепилась на весь сентябрь теплая погода. Шел будто Дема по дороге и заблудился. Вдруг блеснули вдали купола какой-то церкви. Кто-то подсказал ему, что там покоятся мощи св. Феодосия. Он пошел туда. И что же? На правом клиросе серебряная рака, у амвона толпа. На амвоне архиерей читал проповедь. Дема протолкался к святому гробу, припал к нему и молился. Внезапно крышка гроба открылась. Лежавший внизу архиепископ благословил его несколько раз; Дема лобзал его руку. Архиерей поклал свою тоненькую ручку ему на уста. Ручка была маленькая, правильная, но не по росту. Умиленный Дема вышел из храма и перекрестился, обернувшись. И странно: на дороге пожар, горела почти вся станица Каневская. Он зазевался у одной хаты и сказал казаку, похожему на его дядю, покойного мужа мадам Бурсак: «Отчего ты не помолишься святому Феодосию?» — «Его раку разбили». Дема удалялся, спешил домой, и одно его больно поражало: св. Феодосий благословил его «малою рукою», в этом было нехорошее знамение! Потом на дороге застил ему свет императорский вагон, отцепленный от поезда, и в нем печально молчала монахиня с глазами Калерии. Дема достал наконец из кармана просфору и скушал.

Тетушка искала ему лекарей. Какое то было время? В станицах народ обходился знахарками. Возле рожениц не дежурили в чистых палатах аккуратные сестры, а ворочали в хате чугунами с горячей водой мудреные бабки. Родила какая — значит, бог смерти не дал. Еще она стонет, а уже тащат в хату перерез, заливают кипяченой водой, сбрасывают на дно раскаленные кирпичи и пули. Больную затаскивают туда париться до тех пор, пока выдержит. Потом дадут ей рюмку водки с перцем. На другой день она носит в сарай сено. Городские ученые доктора пичкали микстурами, но столько людей умирало, что некоторые казаки никогда к ним не обращались, лечились травами Чайчихи.

Как-то привез тетушку из театра Терешка и проговорился о травниках в монастырях. Бурсак и попросил его повезти туда.

— В Марии-Магдалинском поклон матушке игуменье Архелае, — сказала тетушка перед его отъездом, на ночь (она просыпалась поздно). — Посылаю ей денег на помин души дяди твоего.

О многом передумал Бурсак за дорогу; шутки трех казаков, гнавших лошадей к Бабычу за племенным бычком и вроде никогда не собиравшихся умирать, Терешкины ли рассказы о Швыдкой, припоминание процесса над помощником полицмейстера, убийцей братьев-подпольщиков, его жалоба через Бабыча царю о помиловании, анекдоты про обжору Фосса, тайный роман тетушки с доктором Лейбовичем — все подсказывало ему о животной дерзости суетиться до «скончания жительства», ногтями выцарапывать свое счастье. А когда ночью под блаженным простором звезд вздрогнешь от приближающегося конца, просишь небеса об одном: дал бы кто-то просто дышать, глядеть на неизреченную красоту — и ладно бы, и уже бы не искушал себя никогда кохотями бытия, а изо дня в день приосенял душу благими чувствами, «препоясавши чресла ума своего...».

Мужской монастырь под станицей Чепигинской недаром прозывался Лебяжьим: послушники развели на окружающих двор озерах белых и черных лебедей. В модном усадебном журнале Бурсак как-то читал стихотворение о лебедях, и там, среди слащавых картинок и фотографий барских особняков, беседок, лужаек, оно прозвучало постыдным украшением самодовольства и безделья помещиков. Теперь почему-то обворожило меланхолией.

Лебеди белые, лебеди ясные,
Светлые гости затона глубокого,
Словно вы отблески, грезы прекрасные,
Призраки легкие счастья далекого.
Словно вы ветром осенним гонимые,
Райских цветов лепестки облетелые,
Словно вы тени, когда-то любимые,
Лебеди ясные, лебеди белые!

Везде свой час жизни. Монахи растили птицу, возили камыш, сами готовили пищу, лечили чепигинцев. Некоторые, уже старые и больные, лежали в кельях распростершись и молились.

Бурсак представился настоятелю, затем был на вечерней службе; с ним говорили тихо и кротко, будто с прискорбием в голосе. Его пустили в библиотеку. С таящимся стыдом смотрел он на свято-отеческие творения, в большинстве ему незнакомые. Книги — дары монастырей России — были уникальны. Он их никогда не читал. Зачем были светскому человеку, присяжному поверенному, копавшемуся в людских пороках и не утолившему еще жажды вечерних свиданий, какие-то беседы Макария Египетского? Зачем ему «Ключ разумения», «Меч духовный» или сто двенадцать слов Ефрема Сирина? Рано еще. Монашек, достававший книги с полок, знал, казалось, про невежество Бурсака, но щадил его, «пришедшего от мира греховного». Почивать отвели его в гостиницу, в ту келью, где давно-давно, в 1867 году, при архимандрите Доримедонте («Покоится в обителях рая боголюбивая его душа», — сказал монашек), провел августейшую ночь великий князь Михаил Николаевич, тогда наместник Кавказа, чьего сына-то и нянькала несчастная невеста деда Петра — Анисья. Тогда пустынь, поведал все тот же монашек, не располагала к посещению ее благочестивыми богомолками: собор протекал, трапезная церковь прогнила и развалилась, настоятельский дом сгорел. Из окна Бурсак разглядел все. У выездных ворот была иконно-книжная лавка; за колокольнею — домовая церковь св. Саввы; в северо-западном углу каменный флигель для просфорни и труждающихся при нем братий; еще далее трапезная с кухнею, два больших ледника, еще дальше амбары, а к северу братские кельи под железом и храм св. Екатерины. Вдали за монастырскими стенами виднелись крыши скотных дворов, поля и огороды, кладбища, где иноки, когда возглашала архангельская труба на страшный суд божий, принимали уго-

товленное им место покоя. На другой день Бурсак спускался в храм св. мученика Самуила, что в пещерах, с иконами, писанными на цинке. Он ходил по обители словно по музею и, когда его допустили в ризницу, записал в свою книжицу все дары, чтобы рассказать потом о них Калерии. Книжицу эту он навсегда увез с собою в Париж, часто раскрывал ее и спрашивал: где теперь достояние обители? Уцелела ли Толгская икона божией матери («почиталась как благодати причастная»), немало XII века? Где икона св. Николая (в рост, в полном архиерейском облачении), вторая святыня Лебяжьего? Где икона Успения пресвятой богородицы, висевшая над царскими вратами собора и снимавшаяся после вечерни каждого воскресного дня, когда пред нею свершался акафист? Где сребропозлащенный потир 1753 года? Два кипарисовых креста с надписью: «Дал по обету казак Поповического куреня Софроний, 1769 года»? Четыре митры Межигорского монастыря? Два наперсных креста с рубинами и финифтью? Риза красного бархата с золотыми травами и вышитыми на оплечьях золотыми ликами Спасителя и святых? Риза красного штофа с золотыми и шелковыми травами — надписью: «Помяни, Господи, раба своего Кондратия и рабу свою Меланью и чад их, року 1661 года»? А Евангелие московское на александрийской бумаге— «В вечное поминовение по родителях своих, лета от Рождества Иисуса Христа 1689»? И проч., и проч. Ужели все это пропало, разорвано на куски или продано на декоративные украшения театру оперетты? Или увезено за границу беглыми казаками и там передано православным церквам? Или они в музее под Парижем? Тогда Дементий не мог помыслить, что чья-то немонашеская рука когда-нибудь притронется к ним. В Париже он только вздыхал и думал, что тогда древностей на Кубани и по России было так много и были они частью народного обихода, и кощунством бы уколола паломника мысль, что вскоре они станут просто художественной реликвией. Не одними дивными красками восхищалась душа, она ловила в умерших веру, мимолетно скорбела по чьему-то имени, какой-то Софроний, какая-то Меланья, они жили, их нет давно...

Востроносенький монашек лет пятидесяти пяти, один из тех, кто и в старости худенькой фигуркой и каким-то вопрошающим незнанием в голосе напоминает наивных юношей, наутро сам нашел Бурсака и пообещал свести к послушнику-лекарю.

— Вы несчастны, вам больно? — ласково приставал он. — Читайте пятидесятый псалом Давида. Что, матушка? — быстро перебрасывал он свое внимание к женщине, приставшей к ним сбоку, часто моргавшей, с раззявленным ртом, из которого текли липкие слюни; она их подбирала ладошкой, да так и держала на весу мокрую руку. — Всех бы накормила, всех напоила, и детишек на путь наставила, а теперь уж и сама готовишься в последний путь ко господу. Страдалица, кормилица наша.

Бурсак мельком подумал о своей бабке Анисье. Где она, по каким божьим местам вот так же скитается?

— Вы бы положили на меня руки, — медленно, по слогам, проговорила несчастная.

— Приди, приди ко мне, страдалица. Единолично каждый за всех людей и за всякого человека виноват, — сказал монашек уже Бурсаку. — Сие сознание есть венец пути иноческого. Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, лишь бы покаяние было.

— Каюсь, каюсь... — отвечала ему больная и несчастная.

Бурсак молчал, недостойный вставлять свое слово в лепетанье монашка, обрекшего себя на затворную жизнь.

Всякий, кто пришел сюда, познал, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. Чем дольше живешь в стенах сих, тем чувствительнее сознаешь.

— И это правда? — спросил Бурсак. — Вы правда чувствуете, что хуже меня? Грешнее воров, блудниц, тюремных начальников, министров?

— Истинно. Как вы не поймете: вы в миру, а я на божественной страже до конца дней моих. В терпении, скорбях, в тесноте пробуду.

Они отошли и сели в уголку. Монашек ластился к Бурсаку, как к родному брату, не кончался в желании что-то внушить и помочь больному откровением. Постороннему было бы непонятно, отчего глаза Бурсака так расширены, что поражает его? В глазах Бурсака жило еще чувство вины — надо сказать, вины беспричинной в житейском смысле. Всегда легко было укорить его совесть.

— Читаете много?

— Каждый день, каждый день, добрый человек.

— А сами откуда?

— Симбирский, с матушки-Волги. Из усадьбы Карамзина.

— Много времени здесь?

— Суетен твой вопрос, брат мой. Мало ли я провел в обители лет или много, все будет не столько, сколько нужно. От дней рождения нас нужно заключать в сии святые стены. Пешком пришел. И к отцу Иоанну Кронштадтскому пешком ходил.

— Что ж он вам сказал?

— «Иди с миром, нагого увидишь — одень, босого — обуй, голодного — накорми. И тебя господь пожалеет».

Бурсаку тотчас вспомнились городские сплетни о покойном о. Иоанне.

— Сам-то он, пишут, подарки брал...

Бурсак сказал и вспугнулся: не рассердил ли он монашка? Но монашек лишь сверкнул изумленно ласковыми глазками.

— Пишут, — продолжал Бурсак, — шкап открыли, а в нем девять тысяч рублей кредитками и ценными бумажками и две тысячи золотыми монетами. И мешок серебра, мешок старинных монет. Бриллианты, золотые пуговицы, пятьсот штук для застежки подрясника, зачем пятьсот? А уж рубашек, полотенец, шелковых носовых платков, шуб — не счесть.

— Пишут и пускай пишут. А мы его знаем. Пишет кто? — с какой-то даже улыбкой, с прощением сказал монашек. — Злоба чужая сплела ему терно-

вый венец: насмешки, издевательства, клеветы, хулы хищников печати, так? — Монашек опять улыбнулся. — А он был? тих и покорен богу. Похоти были в неведении его. Конец жизни какой? Кроткий, смиренный. В горнем мире ангелы божии вечно поют ему херувимскую песнь. С Толстым сравнить? — Он ждал и не ждал ответа от Бурсака; помолчав, улыбнувшись, продолжал тем же тоном вопрошения, удивления: — Один, как лампада, угасал. Друг бедных и больных, скорбящих и обремененных. Кругом него слезы и молитвы, чудеса исцелений. Все к нему сердцем стремилось. Он дитя божие, надо уподобиться такому дитяти, чтоб войти в царство божие. И апостол разумел тоже? Толстой смирился? Кто к нему шел? Ненавидел Россию, святую веру, воровал, блудил, судился, убивал. Так? Самомнение, гордыня. Все вокруг Толстого соединилось. — Монашек вгляделся, поколебал ли он Бурсака. — Вот вам один и другой... У одного детство на диком севере. Бедность, глухое село. Уединение дома, путешествие в Архангельск пешком, «идешь и сны на ходу видишь». А у другого? Приволье, богатство с пеленок, свет, кутежи, ссоры, опять кутежи. У отца Иоанна приход, дар молитвы, чудотворения, труд, труд без конца. Личной жизни нет? Нет. Хищники печати пишут, а мы знаем его духовные подвиги. У Толстого: охота, вино, женщины, расстроенное от пороков тело. Дар великий, правда? И сотни тысяч дохода от книг. Проведши юность в блуде, он пишет о целомудрии и даже ненужности брака. В барских причудах шьет сапоги, косит траву. Отрицает типографию и литературный труд, а без конца пишет и печатает. Отрицает государство и пользуется всеми его благами, его защитой, его порядками. Проповедует о любви? Зачем же пишет с ненавистью о церкви, о власти, возбуждает чувство злобы к царям, архиереям и начальствующим лицам? Кому на пользу? Лицемерие: прекратить брачные отношения, а сам в шестьдесят лет родил сына. Он «не может молчать» при виде казни преступников, но он молчит, когда эти же преступники, почитающие его своим учителем, казнят самовольно невинных людей, бросают бомбы. Блюдите, — говорится, — как опасно ходите. Много лжепророков вошло в мир. Не от тленного семени, а от нетленного, от слова божия, возрождаемся... Не видишь, а любишь.

Монашек уловил, однако: Бурсак не может переступить через Толстого; глаза только расширены от удивления.

— Подите туда, — показал монашек на церковь, — там всякий уверует и возродится. У вас хворь души... Вам больно?

Этот вопрос простой души человеческой трогал Бурсака больше всего. Пролетит много-много лет, сменится власть, уйдут старые и вознесутся новые вожди России, перемелется в сознании тьма разговоров, в журналах и книгах будут насеяны имена прошлого, осуждения и здравицы забудутся, а нечаянное сочувствие монашка: «Вы несчастны? Вам больно?» — станет известно от Бурсака всем его знакомым, парижанам, русским, и мне, родившемуся после всполохов.

— Читайте пятидесятый псалом Давида, — наказывал монашек и за воротами монастыря, провожая Бурсака. — Читайте «Помилуй мя, боже!».

Благодарный Бурсак уезжал все же из монастыря с облегчением. Нет, он человек светский. Даже во сне не желал бы покинуть Екатеринодар ради обители и изо дня в день приучать себя молитвой к скорби. Надо жить!

«Просветляйте свое духовное око, — слышался ему в степи голосок монашка, — и просветляйте его постом, размышлениями и молитвой. Духовный взор ваш молитвой очистится, проникнет в самую глубину жизни и узрит там одно: невыразимую, непередаваемую словами скорбь. И уверуете вы тогда, что скорбь — удел земли. Носите ее, любите ее как вечную спутницу жизни. Всю жизнь я стремился узреть истину, и она — в скорби; всю жизнь искал исцеления в скорби мира, и оно — в молитве. Не переставайте размышлять над жизнью и душою».

«Нет, нет, — отпугивался Бурсак. — Не хочется скорби. Пусть если так суждено будет, она сама настигнет в долгой жизни, но лелеять ее смолоду нельзя. Надо жить, жить».

Он рвался к Калерии в Хуторок. На душе был прелестный обман: монашек, добрый его гений, будет молиться за него и чудотворно поможет ему воскресить свои силы.

Степь увядала, шуршала на ветерке кое-где засохшими травами. Птиц было слышно менее, и уже по высокой бесследной дороге вверху выстраивались наконечником стрелы и летели в незнаемые земли дикие утки и гуси.

Как быстро все переменялось в его душе! Едва за греблей высунулась над дубами вышка, Бурсака затеребили сладостные чувства: с какой книжкой в руках лежит его Калерия? Как она выйдет к нему? Скорей, скорей!

— А они в Тамани, — сказала ее мать. — Ты подумай! — жалела и извинялась она, словно была виновата перед гостем за свою дочь. — А вы поживите, чи шо.

Она покормила его и извозчика вкусным борщом, бараниной, но и поговорить им не пришлось: дурная Катерина, приживалка с крошечною головкой, с мясистым носом, не отставала от них. «Я ж така красива девка! — повторяла она слова, которыми ее, видать, дразнили конюхи. — Здорова, как корова, а дурна, как овца. Мама, мамушка, где мои куколки и жестяная ложечка? Телят я напоила, кабану помои носила».

Монашек бы сказал: «Убогого пожалей».

Ночевать в Хуторке было бы стыдно, и Бурсак поехал в Роговскую, откуда утром Терешка провез его до Марии-Магдалинской пустыни.

За ворота монастыря вышла к ним Олимпиада Швыдкая с хорошенькой юной монашкой.

Так вот она какая, екатеринодарская Мария Магдалина, скиталица по Малой Азии и Египту, некогда разовая жена случайных господ, бандерша, ныне проходившая послушание по чтению и пению на правом клиросе, по золотошвейным рукоделиям; ее руковод-

ствовала игуменья Архелая к подвигу, который не будет, — говорила, — записан ни чернилами, ни тростью, но всем будет ведом в обители. И это на ее денежки из матраца поднялся в своем промысле мордатый Терешка. Покаялась? Одни ли кроткие глаза отца Иоанна обратили ее на путь иноческий? Все может быть. Неисповедимы пути. Бурсак читал недавно о жажде целой толпы вернуться «на детския круги своя». Он видел на фотографии женски-покорное лицо отца Иоанна. Пропадаешь — в кого не поверишь! Пришлешь святому карточку, обрезанные волосы, попросишь благословить молитвой, освященной водой. Так на Руси великой. Другого приюта пока у людей нет. Если толпа, простирая руки вперед, крича и плача, затискивала отца Иоанна в угол и он, смертельно бледный, беспомощный, стоял у стены; если по исчезновении его из храма паломники все еще долго молились и молились среди обрывков веревок, дамских нитяных перчаток, кусочков вязаных косынок и прочего; если сапожник бросался снять мерку с ноги батюшки, чтоб и с него сняло болезнь; если, сколько ни была там Швыдкая, все кричали люди: «Батюшка, спаси, спаси! Батюшка, благослови!» — то как же кубанской блуднице было не восприять помощь от славы всемогущего старца? И обман бывает целебен. Живем разбейшапками, пока не потеряли в жизни все. И опять Бурсак колебался, сторонился мира греховного, алкал правды блаженной и вглядывался в «избранное стадо». Странными казались ему в юности походы старух и молодиц в Иерусалим, ко гробу господню; замогильными лампадные запахи в церквах на службе; жалкими, гнойными причитания юродивых: «Вот я, недостойный, худший из худших, грешный». А не так ли? Не есть ли сирые, покаявшиеся, вечные калики перехожие, монахи «на божественной страже», чуткие души с ясным сознанием, те самые счастливцы, которых мы не понимаем? Мир есть тайна.

— Подвиги послушания настолько тяжелы, — робко пожаловалась Швыдкая Терешке, — что только слезы облегчают.

— Скучно? — спросил Бурсак, любуясь ее смоляными бровями, живым блеском глаз и неувядающей грудью.

— А чего скучно? У нас хозяйство. В праздники осетрина в борще, в каше масло, хлеб у нас хороший... Игуменья Архелая добрая. Богомольцев, сколько бывает, всех кормим, и ни одной копеечки, разве кто по усердию.

Бурсак все никак не мог забыть ее историю. Неужели? Неужели завяли все ее пороки? И зачем здесь красивая чудо-отроковица? От какой беды спряталась она в келью? «Не подобают, — сказала, — нам земные привязанности». Ах ты, голубка сизая, да ты их познала раньше времени, что ли! Но нету, нету в глазах тени пороков.

— Равны ли вы тут?

— Равные перед господом, да неравны меж собою, — ответила монашка тише обычного и отступила шага на два.

По обители разносился печальный перезвон, возвещая окрестностям какую-то скорбь.

— Ну, благословите нас идти, — отпросилась у него монашка таким сожалеющим тоном, словно являлась к нему на свидание. — Пора живые цветы нести на могилу.

— Кому?

Был сороковой день кончины мантейной монахини Марии; сорок семь лет усердствовала она в монастыре Магдалины, из коих двадцать восемь в совершенном уединении. По церковному чину ее погребли у Мамврийского дуба. В воздаяние благочестивых ее подвигов мирская власть (о вездесущая власть) посылала ей памятные награды: архипастырское благословение с грамотою, Библию от св. Синода, золотой наперсный крест из кабинета его величества и что-то (Бурсак не запомнил) для ношения на шее на голубой ленте. Швыдкая и красавица монашка шли в храм слушать теплое слово на утешение обители. Каждый день, по окончании литургии, выходят они с сонмом монахинь, инокинь, послушниц на могилу Марии для свершения панихиды. По личному усердию некоторые монашки и в девять и в двенадцать часов снова становятся вкруг печального холмика и поют: «Се жених грядет в полуноши...» Сотни свеч горят день и ночь.

Бурсак все слушал, слушал, кивал головой. Потом Терешка забрал Швыдкую на минутку, отвел в сторонку, и они там поговорили — верно, о городе. Наконец Бурсак поблагодарил Швыдкую за обещанное лекарство, отдал тетушкины взносы, простился, нарочно задержал взгляд на затворной красавице с узеньким личиком. У ворот она оглянулась. Что за чудо случилось в душе? Но уже «прощай», и может, навеки.

Мечтательное чувство не истекало в нем и в степи. Постояла отроковица, показала свои глазки и покорила! Так бы и выкрал ее из монастыря и внес на руках в екатеринодарский флигель. На него сошла та мимолетная нежная благодать, которой виновница часто бывает женщина. Виновница промелькнет в окошке своего дома, вынесет за калитку кружку воды, как-то смело поглядит на тебя на улице, смущается твоего взгляда в театре. И какая бы дама сердца ни ждала твоего звонка поздним вечером, случайное личико в тот миг морочит твое воображение. Вот вроде бы только о Калерии, только о ней мог вздыхать Бурсак до приезда в пустынь Марии Магдалины; только ее он обнимал втайне перед сном, когда она была в своей постели или в саду в Хуторке. Никого другого как будто нет и не может быть, ее один небесный голосок и слышится! Что же вдруг так сорвалось его чувство? Другим возвращался Бурсак в Хуторок и размышлял о монашке с нежностью, радуясь и уже теряя ее навсегда. «Зачем?! Зачем ей во цвете лет и телесного здоровья уходить в ворота обители, губить свои страсти, желания, искать жизни вечной, не попробовав земной, и ждать, когда «день жизни склонится к вечеру»? Надо жить! А она: «Не подобают земные привязанности». Побы-

ла, помолчала и покорила. Нет, надо жить, хочу жить...»

У Шкуропатских все были в сборе. И тут был свой мир, привычный и дорогой тем, кому он достался. И они затерялись на целое лето в уголку степи и вроде ничего не желали знать, кроме того, как меняется погода, растут огурцы и помидоры, поют и откладывают яйца птицы. Давно уехали из окрестностей российские косари, уже осень, последние кабаки стащены в кучу. Легкая зависть кольнула Бурсака. В чужой среде каждый ищет что-нибудь близкое. Еще ничего толком не знает, а уже сердце ему вещует: сюда ему можно пристать. Так же, как чувствовал он, что среди монахов, сколько бы ни клонил головы перед ними, он бы умер с тоски. Матушка Калерии была веселой и доброй. Ее богадельня славилась на всю округу. Хоть короткое время в году, да кто-нибудь кормился в их дворе: странствующий ли старик, богомолка, сиротка. А крикуха и дурная Катерина проживала, не сменяясь. Когда матушка возвращалась на лето из города, Катерина подбегала к ней с пылом, хватала ее руку и целовала с криком: «Мама! Мамонька! Матушка!» Ей запрещалось сидеть в Роговской у церкви и попрошайничать, и оттого она часто плакала: «Мамочка не пускает до божьего дому за кусочками». Иногда матушка смягчалась. Вековуха раз повалилась ей в ноги и припала целовать башмаки. Матушка растерялась, совала ей руку, но та причитала одно и то же: «Прости меня, господи! Прости меня, господи...» Нынче она низко-низко поклонилась Бурсаку издалека и отправилась стеречь гусей за старым садом. Наверное, и Бурсаку нашлось бы в Хуторке местечко, позови он на брак Калерию. Но куда же сейчас с его болезнью? А видимо, матушка печалилась все чаще об одном: скорей бы, пока не вышел срок, сочеталась ее доченька с благонравным и не бедным господином. Отец лишь напевал, подразнивая: «Боярыня прекрасная, пришла твоя пора...» Чей бы экипаж ни подъехал к двору, отец хитрым голосом звал Калерию: «Доченька, к тебе поклонник...» Вслед за дурной Катериной она с суеверием шла поглядеть, кто там. То старый священник станицы Роговской прибыл поиграть после обеда на скрипке. «Оце такие девчата вырастают в наших бурьянах», — в какой раз произносил отец, но Калерия уже обижалась.

Помнится, сидели они под дубами за столом с белой скатертью, ужинали до самой ночи. Где-то далеко выли волки. Помнится, вели разговоры о вечно земном, и Бурсак не раз вспоминал монашку с узким личиком: «Не подобают нам земные привязанности».

— И шо ж, — спросил отец Калерии, — правда они там веруют?

— Господа не обманешь, — ответила вместо Бурсака матушка.

— А друг друга можно. Ехал Александр Первый, на почтовой станции перепрягали лошадей. Царь пока что разговорился со смотрителем. На столе у того Евангелие. «Читаете?» — «Каждый день, ваше величество». — «А где остановились?» — «Апостола Матфея заканчиваю». Царь незаметно в то место засунул несколько ассигнаций. И уехал. Через какое-то время опять попал на ту станцию. «Ну как, все читаете Евангелие?» — «Каждый день, ваше величество». — «И докуда дошел?» — «Евангелиста Луку доканчиваю». Царь развернул Евангелие, ассигнации лежат как лежали — на Матфее.

Когда-то на Кубани рассказывали анекдоты об Александре I. Кто в это поверит потом? И в час полуночи, пока они сидели с Калерией за белой скатертью, перекликаясь смутным чувством нежности, всего в двадцати верстах дремали, молились, жили монашки. Через пятьдесят лет, когда он поедет степью от Ростова, к нему, точно из сна, вернется та далекая и уже сказочная ночь, и он даже припомнит, о чем горевал тогда. Он хотел жить, а думал о смерти. И знал бы он, сколько рассветов и ночей застанет еще и сколько стран, городов объездит! И на пороге станет перед ним женщина, только похожая на прежнюю, только похожая... Годы все превращают в сказку. И, как сказку, слушали они тогда о таманском звонаре («Уси будемо там...»), в дремучем 1861 году оглашавшем колокольным звоном приезд Александра II, о запорожских регалиях, речах Костогрыза и о разбойнике Браницком. Они попеременно говорили о чем придется, но по какому-то волшебству все было связано между собою, хоть связь эта и была в те минуты неуловимой. Может, вечерний колокольный гул в монастыре донес им весть о звонаре? Может, звонарь в вечной тьме думал сейчас о Калерии и разбитном Толстопяте, который спал где-то в Ливадии, но, казалось, сидел между ними? И не потому ли легла тень разбойника Браницкого, что в этот час исполнилось полгода кончины Анисьи, которую разбойник напугал как-то в молодости под Каневской? И скончалась бабка Анисья в том монастыре, где Бурсак только что был. Казалось потом Бурсаку, что ночью он уже знал о сиреневом конверте из Петербурга, ждавшем его в Екатеринодаре. И ночью же (когда-то ночью!) он знал все наперед: и судьбу свою с Калерией, и последнее прощание с Таманью, и сожаление о ненаписанной истории своего рода.

В Екатеринодаре поздно вечером он пил с тетушкой чай, и тетушка, все тоскуя по своей Тамбовщине, зачитывала из барских воспоминаний странички о том, как когда-то с музыкой, с цыганами и дворней выезжали помещики на охоту. Дема сердился. Сколько бестолковой паразитической челяди содержалось у одного только господина! Когда работали, откуда эти несметные богатства на развлечения? — спрашивал он тетушку и не ждал ответа. Чего стоили одни выезды из поместья в Москву в гости! Это же надо было додуматься: везти с собой всяких карликов, арапов, слуг в камзолах, в гусарских мундирах и польских платьях; сколько карет с детьми и приставленными к ним мамками, поварами, с буфетчиками и камердинерами, егерями; сколько бричек, набитых бабами, девками, сколько телег с перинами и подушками, повозок с коваными сундуками да повозок, наваленных дураками и придурками, обязанными на остановках веселить господ. Да неужели это было? И племянник вдруг восстал против тетушки, когда она

что-то хорошее сказала про нынешнего государя. (Они и за границей препирались из-за России.)

— У нас, тетя Лиза, государь до сих пор говорит не «я», а «мы», чего от него ждать?

— Почему-то считается, что быть недовольным правительством — это хорошо. Государь больше всех заинтересован в том, чтобы сохранить русское.

— Да? — Бурсак усмехнулся.— Оттого, что наш государь придерживается русских блюд и с первой по седьмую неделю поста не ест даже рыбы, не играет на вечеринках в карты, а только в домино или бильярд, приходит в восторг от песен и плясок кубанских казаков, он не станет мне дороже. Войну проиграли, куда годится?

— Одну.

— Достаточно. У нас все заношено, все начато и недостроено. Мы очень отстали, и ясно, что отстанем и завтра. Нынче мы отстаем от Европы даже больше, чем в московскую эпоху. И после Петра Первого, как это ни странно, мы стали отставать все больше и больше.

— Много ты знаешь, однако.

— Я ничего не знаю такого, чего бы не знали все подданные, если они учились. Я только думаю по-другому.

— С тех пор как заболел?

— Чуток раньше.

— В России хуже, чем здесь, но я не думаю, что уж совсем плохо.

— О конечно. У нас на Кубани выпивают за год водки несколько сот тысяч ведер. У нас горничная потеряет в гостинице золотое кольцо и не заплачет. У нас в лотерею-аллегри можно выиграть серебряный самовар. У нас купец перед смертью завещает по сто тысяч рублей на детский приют. В Монте-Карло господа проигрывают миллионы. Мы сказочно богаты, а до станицы Роговской зимой нельзя проехать.

— Казаки прекрасно живут.

— Поехали бы вы на свою родину в Тамбовщину. Или вы не помните? Или вы не глядели на косарей, нанимавшихся на Старом базаре? Орловцы, брянские, липецкие.

— Никогда не думала, что у меня во дворе живет бомбист, — сказала тетушка. Дема засмеялся.

— Вы чудесная, я вас люблю, знаете как, но где вы летаете? Что с вами будет, когда «мы» скажет не царь, а другие?

— Я готова отдать все табуны свои, лишь бы стояла Россия, — гордо сказала тетушка. — У нас на земле все есть.

— У нас за границу, — продолжал Бурсак, — выезжает в год около десяти миллионов, а возвращается девять миллионов пятьсот. Золота полно, а в вашей Тамбовской губернии крестьяне жуют просяные лепешки. Удивительная страна! Миллионные богатства, и между тем жизнь под девизом: с миру по нитке — голому рубаха. До бога высоко, до царя далеко. Средние слои — сукины дети. Все погубят и ни в чем не сознаются.

Они уже тысячу раз об этом говорили — и опять.

— Люди живут, и ни один нищий тебя не поймет.

— Он по-другому поступает. В Петропавловском соборе свечи ставят не на могилы Петра, Елизаветы или Александров, а на могилу Павла, убиенного. Почему? Помогает, если в жизни туго. У народа своя вера. Ищут отпущения боли. Кто как может.

— У меня, Дема, голова болит от твоих филиппик. Почитай лучше письмо от одной дамы...

«Помните, — писала мадам В., — на южном анапском берегу вы меня спрашивали: «Quel vin — quel amour?!» Жизнь длинна, и всего не угадаешь. А вдруг мы увидимся еще раз»?

Бурсак порвал письмо на клочки и сказал тетушке:

— Не передавайте ей ничего обо мне. Мало ли что с нами бывает на берегу моря?..

И злые неблагодарные слова его были не от какой-то там жажды чистоты, а от все того же нездоровья, несчастья. Но что это было за несчастье?! Одного он тогда не предвидел, в одном не прозрел: на веку его ждали такие несчастья, каких он не пожелал бы никому другому...

В ЛИВАДИИ

Почти в один день с Бурсаком получил от мадам В. письмо и Толстопят. Ему она написала побольше, и конечно, пооткровенней, без озорства, с томлением: «Скорее возвращайся, мне так одиноко без тебя. Я вспоминаю и переживаю каждый наш час, мой золотой».

«В ней все же сто препикантных чертей, — повеселел Толстопят и спрятал письмо в тетрадь с гравировкой на корочке (подарок сестры Манечки). — Не хочется красавице чахнуть дома и вязать муженьку набрюшник. Ах ты пикантница! Уж обниму перед зеркалом, уточка моя...»

Ночью из Ливадии Петербург являлся ему местом пороков, и он ревновал мадам В., придумывал ей неотразимых поклонников. О, там много дива. Там, хоть и держались строго законов хорошего общества, заносились друг перед другом в вопросах чести, красавицы не упускали, однако, удобного случая, чтобы сказать о себе как о женщине, имеющей sa trentaine bien sonnée[1], заявляя тем о правах на полную свободу поступков. Так спорят, кто лучше ездит верхом на каруселях придворного манежа и элегантнее приветствуют даму d'un coup de chapeau[2], а эти дамы чаевали и ужинали в coterie intime[3], «укладывали в лоск» своим кокетством «сонмище военных» и шутили: в сияющих лысинах государственных старцев можно, как в зеркале, увидеть отражение chute d'épaules[4] какой-нибудь графини. А вечера! Приемные залы и гостиные украшались дорогими картинами, редкими коврами, вазами и растениями. Женщина там становится счастливее, если ей улыбаются из лож и забра-

[1] Давно за тридцать.
[2] Поклоном.
[3] Интимный кружок.
[4] Овал плеч.

сывают ее переднюю визитными карточками, и презрительно она глядит на ничтожную улицу из своей коляски, в которую пять минут назад подсаживал ее ливрейный лакей. «Умная женщина? — смеялась над ним мадам В., когда он похвалил одну красавицу. — Зачем женщине ум? Накинуть на нее горностаевую мантию и вести с ней остроумные беседы о чем попало. И целовать ее через шелковый платочек». Но она вовсе не была такой легкомысленной и сочеталась тайной с Толстопятом, верно, потому, что полюбила его? «Меня, — говорила ему, — не миновало то, что французы называют «психологическим моментом» в жизни женщины, — рухнула моя нерушимая безупречность в один миг. С тобой». А если такой момент наступил еще раз, пока он в Ливадии? Петербург! Там корнеты, кирасиры, кавалергарды и бесконечные разговоры: «Она безвластно пошла на его немой зов»; «у нее были неправедные ночи»; «она вся похолодела от волнения, никогда до этого ею не испытанного». И все такое. Однажды, наслушавшись казенных любезностей и острот, понадерганных из «Фигаро» и всяких французских книжек, она села в карету и сказала ему, укутываясь в душистый белый мех своей ротонды: «Они еще скучнее со своими обольщениями, чем мой муж со своей добродетелью». Но как знать...

«Муж старше меня, — вспоминал Толстопят откровения мадам В. в первую ночь. — Три года ухаживал за моими ножками, и папа дал наконец согласие. Была помолвка, потом он уехал. И я иду по Крещатику, а на душе такая тоска, ну тошно мне, тошно, хотя вроде бы случилось то, о чем мечтала. Случилось то же, что с леденцом. Я рассказывала, как в детстве я бежала к фонтану из-за леденца?»

Толстопят бы взвыл, если бы ему раскрылось, кому уже рассказывала мадам В. и о муже, и о леденце, растаявшем на солнце в руке маленькой девочки.

Возвращение в Петербург на подмену намечалось через две недели. Погода еще стояла райская, царские дочери и сама государыня частенько сиживали в платьях в лоджии дворца. Крым! Знала Екатерина, что отбирать у Турции. И до кубанской границы близко: за Керченским проливом Тамань. Но там уже степи, иная глушь и иные люди.

На Южном берегу Крыма тоже был колючий соблазн: везде гуляла, каталась в фаэтонах, слушала в музыкальной раковине заезжих певцов, пила и ела в ресторанах самодовольная публика, и оттого думалось, что всем нравится жить полегче, быть богатым, волочиться при случае за дамами и ничем не тревожить свою совесть. На даче княгини Барятинской, в фешенебельных гостиницах останавливаются сановники, министры; в имении графа Воронцова-Дашкова в Алупке, на даче эмира бухарского позволено бывать только избранным, и везде, везде по взгорью чуть ли не королевскими замками или обителью греческих богов белеют недоступные особняки. Оттуда, наверное, приятно, подобно бою часов или звону колокольчика, слушать надоедливый лай собак возле кофейни у Полицейского моста и ресторанчика «Болото». На Русской Ривьере заметнее довольство и обделенность.

Два раза в году, весной и осенью, по нескольку месяцев отдыхал в Ливадии царь с семьей, свитой, министром двора и челядью. При каждой царской особе камердинеры, гардеробщики, ездовые, камер-казаки, комнатные женщины, портнихи и прислуги при них, няни, и все они счастливы прислуживать за те блага, которые им никогда и не снились, и все ходят мимо гордо, не допуская и мысли о сближении с конвойным казаком. В камер-фурьерском журнале записаны для истории «труды и дни» его величества: всякие прогулки, выезды на охоту, торжественные события, приемы и обеды. Царь еще был в Петербурге, а уже в Севастополе две сотни кубанцев и терцев выгружали из двадцати двух вагонов сто шестьдесят лошадей, перетаскивали сундуки, потом два дня (с ночевкой в Байдарах) шли походным порядком до Ливадии. Служба в конвое выгодная, однако ж завидки берут. Всегда в стороне водится какая-то прелестная тайна, к которой тебя не подпускают. Ищи себе удовольствия на улицах Ялты.

В сотне Толстопяту докучали жалобы нижних чинов друг на друга. В самый канун приезда депутации кубанского казачества во главе с Бабычем вперся к нему запыхавшийся от обиды Дионис Костогрыз. Толстопят как раз отвечал мадам В., и его прервали на самой интересной строке. Царский плясун и песельник чуть не плакал.

— Господин подъесаул! Это что ж такое? Вы меня знаете, и все меня тут знают, а меня вахмистр перекривляет в присутствии товарищей и, кроме того, называет пьяным, как я и чаю в рот не брал. Да я ж могу так расходиться, что меня из конвоя попрут, и вина моя будет в том, что я вправде горячий!

— Ты чего как с пожара? — с дразнящим спокойствием спросил Толстопят. — Я тоже горячий.

— Кругом превышение власти. То в прошлом году сундук мой уехал с льготным эшелоном в Терскую область, перепутали, то под козырек офицеру не так отдал, то вахмистр...

— Ты смотри, какой ты у нас невезучий.

— Мало того, что вахмистр меня не посылал для встречи их величеств и в свое отсутствие назначил вместо себя не меня, как старшего в сотне, а младшего, мне подчиненного (он ему из буфета притащил три бутылки «Монополь руж»), и мало того, что он не исполнил приказание даже командира конвоя Трубецкого, когда для песельников и танцоров покупали пиво, так меня еще обвиняет, что я будто при покупке иконы есаулу Рашпилю украл пятнадцать рублей (что не подтвердилось), а сам, между прочим, в день моего дежурства добавил в книжку расходов десять человек и взял в свою пользу десять фунтов мяса, отнес к прачке (с нею схороводился), а когда я сказал: «Вы приказывали удерживать лишний фунт?», то как крикнет: «Бунт хочешь устроить?», и после этого не послал меня встречать их величеств, мстит мне и грозит из конвоя выгнать.

— То, то, то, то! Стой. Придержи коня. — Толстопят напустил на себя достоинство высокой власти,

между тем ему пришли в голову красивые слова в письме к мадам В. — На тебе лица нет. Тебя в конвое ценят как никого, а ты каждый день жалуешься.

Дионис Костогрыз был царским любимцем, и Толстопят всегда был очень осторожен с казаком, но тряпкой перед нижним чином казаться не мог.

— Примерная моя служба карается завистью вахмистра. Если ты, говорит, будешь еще разговаривать, я заставлю тебя служить не в очереди. Да я с ним в отхожем месте рядом не сяду, а не то что разговаривать.

— Мы тебя, казак Костогрыз, — вдруг взъярился Толстопят, — и не посадим! Надо еще заслужить... сесть... с вышестоящим. Ты чего мне мелешь? Ты несешь лестную службу при государе. Серебряную турецкую медаль получил? На рождественскую елку что?

— Кувшин и подстаканник.

— Баба твоя на казенный счет в Царское Село приезжала? И наверное, имеешь корыстное желание остаться на сверхсрочную. Тридцать лет выслужить и золотую медаль на андреевской ленте? Однако!

— Как и дед мой Лука, обагренный кровью в бозе почивающего императора Александра Второго.

— Заучил. А может, по примеру других, тебя устроить в казенную лавку продавцом, братец?

— Казаку торговать стыдно.

— Что ж ты плачешь?

— Я страдаю своей совестью перед моими товарищами, — опять заныл Дионис Костогрыз. — Чую правду и не могу доказать, надо мной смеются. Я видел, как урядник сбивал гирьку назад, и, хотя не хватало фунтов десять — пятнадцать, он приказывал мне снимать чувал с весов, а потом ставил гирьку на тридцать два фунта. На три лошади-то на двое суток полагается пуд и тридцать два фунта. «У меня, — говорит, — тогда овса не хватит, если я полностью буду выдавать». Мы всегда одним горнцем задаем корм лошадям, — строчил Костогрыз — и раньше всегда хватало, а при этом урядника задаешь корм тем же горнцем — и не хватает. Я решил заносить на него жалобу. А он мне говорит: «Я хотел бы пива выпить, да нет его сейчас. Или магарыч купить, чтоб ты молчал». А тут еще мне встретился поставщик обуви Файвилович и говорит: «У тебя есть серебряный рубль?»

— Ничего не пойму, — убито сказал Толстопят и вспомнил, как в Тамани на пиру рассказывал Бабыч про дурного казака. — Ты о чем? Какое пиво, при чем овес, магарыч, поставщик Файвилович, он у нас не служит?!

— Извините, господин есаул, горя много скопилось в душе. «Я, — кричит, — в сотне хозяин, а ты не веришь мне? Хочешь жалобу заявить? Напакостить? Ты был в сотне первым казаком, а теперь роешь себе яму?» Пятого октября, когда вы были в Тамани, опять недодали овса. Я присягал служить, а воровство фуража — нарушение дисциплины.

— О, ты святую Анну не получишь. Хватит тебе, что жена святая. В другой раз на квартиру ко мне не являйся. Честность — хорошо, но очень часто жаловаться — не люблю, братец. Разбирайтесь без меня.

— Писали же про вахмистра в царскосельской газете, что он похитил железную решетку для дворца.

— Писали. Враги. Иди, иди, Костогрыз. А то лошадей пошлю чистить не в очередь. Иди. Да приготовься: завтра могут наши кубанцы приехать, так, может, петь придется.

Костогрыз скомкал его настроение, но письмо надо было закончить. «Моя приезжая богиня, я ваших...» Что дальше? «Моя приезжая богиня, я ваших рук никогда не забуду». И ему тотчас захотелось поцеловать эти руки, обнять мадам В. перед зеркалом и услыхать ее стонущее восклицание: «Как ты красив, Пьер!» Он просил ее смотреть на него из пасмурного сияния этого зеркала, и она тогда, чтобы не выдавать своего страстного взгляда, на мгновение дразнила его капризной миной. Он в письме напомнил ей об этом. Перед сном вышел он прогуляться по аллеям сада. Отсюда, с загибающегося ливадийского берега, видны были тихие свечечные огоньки Ялты и смутные очертания горы Медведь. Он мысленно перерезал линией море, куда-то в сторону Турции, но левее, восточнее, и взор его достиг таманских круч, медного запорожца, хаты слепого звонаря, потом острым лучом пронизал он всю кубанскую степь, уже был в «нашем маленьком Париже», в Екатеринодаре, от Свинячьего хутора до дворца наказного атамана покрытом октябрьской дождливою тьмою. И когда он ткнулся летучим сознанием в свой казачий городок, в детскую пашковскую хату, в углы дома на Гимназической и тут же вспомнил письмо к мадам В., всякие слова, какие-то чужие, подслушанные, плечи его как-то разок-другой передернулись судорогой: туда ли он залез? Казаку ли ломаться под кавалергарда? «Ничего, ничего, — вдруг успокаивал он себя, — не боги горшки обжигают, а пашковские казаки». В породу его кто-то заложил такую скрытую важность, даже влюбленность в себя, что мать с отцом только диву давались. Он вылупился на свет словно затем, чтобы хлопать по плечу начальство, а на равных себе взирать свысока. С детства смазливые девчата внушали ему своей привязчивостью скорый успех в жизни. «Наш хлопец в атаманы выберется, — говорил отец. — Ты посмотри на его походку. Он на землю ногой давит, как на червяка. А взгляд! «Все мое». Руки. Разве что военная дисциплина укрощала его тайную дерзость заговорить с государем, но, кажется, недалек тот день, когда ему и это удастся. Благодаря связи с мадам В. Толстопят уже проникал кое-куда, держал даже в руке подарок английской королевы Виктории внучке Николая I и, значит, тете нынешнего царя, вторым браком скрепившей свою судьбу с казаком, как ни странно, станицы Пашковской, — подарок занятный: терновую палку стоимостью в тысячу фунтов стерлингов, украшенную золотым колечком с двумя бриллиантами. С ее осиротевшей дочерью дружила мадам В. С любимой женщиной можно подняться на самую вершину власти. Он сидел в каком-нибудь доме и думал: фу! да у них никогда не было, и не будет такой

женщины, как мадам В. И все они не счастливее его: то жены были уродливы на лицо, то мужья.

«Надо было написать ей, — соображал Толстопят, — что, если я не смогу сразу приехать в Петербург, пусть она в первое воскресенье станет в Царском у Египетских ворот или погуляет по Гусарской улице». Ложась спать, он долго поворачивался и так и этак. Постучали. Завтра прибывает депутация с Кубани для вручения государю копии памятника запорожцам. Служба! Надо тормошить себя чуть свет и бриться. Толстопят перекрестился (точно погонял мух) и, уминая постель, затих на легком боку. Всю ночь ему снились Египетские ворота в Царском Селе.

Кубанская депутация приплыла в Ялту на пароходе «Пушкин» два дня назад, уже осмотрела в Массандре винные погреба, старый, в стиле кремлевского терема, дворец, колокольню, устроенную на ветках векового дуба. День томились в гостинице «Россия», пока Бабыч выверял через министра двора Фредерикса срок встречи с государем и добивался соизволения на подношение цветов государыне и дочкам. Все не так просто. Вроде бы царь ждал депутацию в гости, а выходило, что депутация с подарком вымаливала милости быть принятой. И было такое порою глупое угнетение, словно самозванно приперлись в обитель его величества с жалобным прошением и Фредерикс может поворотить их с гневом назад. Даже уважение обставлено у власти церемониальной гордостью. Казаки волновались. Бабыч, видимо, спал плохо, но утром лицо его было холеным, почти без морщин, и, привставая с сиденья, он не кряхтел, как Лука Костогрыз. Сорок семь лет в армии, и хоть бы ему что! От министра двора приехал как из бани — красный, малоразговорчивый.

— Обедать в конвой! — только и сказал.

Долго рядились, чем ехать: автомобилем или на извозчике. Не всем была по карману прогулка на автомобиле: шестьдесят рублей в общий котел туда и обратно, это сколько с одного? Костогрыз замахал руками: и не вздумайте! Он лучше три версты до Ливадии прохромает пешком; пару волов можно купить на такие деньги! А так между тем захотелось поскорее хлебнуть горячей пищи. Но в конвое родные служаки покормили чем бог послал: к визиту земляков особо не готовились. Зато кашу ели под пение хора конвоя. Лука с ними пошутил для порядка — для того, может, и брали его с собой. Да, слава богу, с внуком Дионисом словцом перекинулся, передал ему меду и вина в двух четвертях, погрозив при этом пальцем: «По чарке всей сотне, но не разом». Конь внука подбил коленку, и Лука загоревал чуток: опять доставай из сундука деньги! Были времена, говорили: «Я купил лошадь за сто рублей». Теперь разоряйся на все четыреста.

В Ялту возвратились веселые: государь разрешил поднести наследнику шашку и пику, а государыне цветы. Бабыч по этому случаю выпил за ужином в ресторане. «Ощущение тревоги перед грядущим счастьем предстать завтра перед лицом державного вождя Российской земли заполняло казачьи сердца». Такое прочитали они в газете по возвращении домой. На самом деле все было куда проще. Костогрыз шутил да вспоминал прошлую ливадийскую службу.

— В семьдесят втором году, как сейчас помню, батько-государь Александр Второй соизволил поохотиться в горах с братом Владимиром и сыном-наследником. Ночевали в долине у лесника, а вся свита и прислуга — на почтовой станции, версты за две. Я ночь стоял на часах. Стою, думаю: «Не пошкодил ли там в моей хате с моей Одарушкой какой-нибудь горец?» Когда гляжу: на крыше, рядом с царским домиком, горит! Я туда, разобрал доски, разбудил двух поваров, повыносил с ними на двор посуду, багаж, из конюшни вывел верховых лошадей и только тогда-а, — поднял Костогрыз палец, — разбудил камердинера его величества. Медаль «За усердие» и похвала царская. За то позвольте перекинуть и мне чарку. Ох и репаный казак был Лука!

Перед сном в номере откупорили модель памятника, и каждый совался ртом поближе и выдувал пыль. Лука Костогрыз поелозил запорожца платком, послюнил ему усы и кончил:

— Добре! Стой, казак, и не слазь! Ты ж наш сечевик, — гладил он его по голове, — скажи его величеству круглое, как обруч, словечко, но лишнего не болтай, я за тебя добавлю. Ты ж в Сечи турецкому султану пулю матерную такую отлил — можешь! А тут государь наш, так избави тебя бог. Та за столом, колы посадят, рюмку не сразу бери, а потом. И боже тебя спаси какую даму ущипнуть. А то попотчуют нас печеным раком. В Тамани есть вдовушки... Дух святой с нами! Счастливо тебе на том свете, а на сем ще с нами дух казачий... Отдыхай до утра.

Толстопят повеселил стариков петербургскими анекдотами. Когда генерал Бабыч сунулся проверить, готово ли все на завтра, он нашел казаков в номере в полной темноте.

— Чего лампу не засветите?

— Лампу не принесли, а свет погас, — отрапортовал Костогрыз. — От жалко, шо старый. Сейчас бы загулял с дамочкой.

— А в Ялте! — сказал Толстопят. — У татарина магазин драгоценных камней... Дама приходит, он дает ей альбом с фотографиями. Там номер. Выбирает, а потом «номер» к назначенному часу является на дачу или в гостиницу. Где ваша фотокарточка?

— Она всегда на мне. Ну, ничего. По-станичному. Балакать натемно можно. Ой, скажу. Я как-то... Только прости меня, батько, я хочу пулю отлить. Как-то приехал с Петербурга в отпуск, зашел к соседу. Сидят, балакают так же — темно. «Чего ж вы не зажигаете лампу?» — спрашиваю. «Та балакать и натемно можно, чего зря тратиться» Я посидел-посидел, а потом ссунул с задницы штаны. Ей-богу. Тю, хозяин разглядел. Толкает: «Та вы шо штаны сняли, чи шо?» — «А оно ж темно, — говорю, — не видно, штаны трутся, а балакать и так можно».

— Смотри мне, Лука! — посердился Бабыч. — Завтра ни-ни-ни!

— Завтра я буду мягкий, как телятина. Ничего так

не хочу, как царских дочек увидеть и наследника. Я ж, наверно, не приеду к ним больше никогда, а они так над Россиею и будут.

АВГУСТЕЙШИЙ АТАМАН

После «простого и высокомилостивого приема» дан был высочайший завтрак в столовой дворца. Государева свита, дамы, офицеры конвоя расселись на места, указанные карточками. Перед роскошными букетами, по бокам от государя, пухом опустились на стулья дочери: Ольга, Татьяна (самая красивая, в мать), Мария, Анастасия (самая живая и маленькая). Государыни и наследника не было.

За царским столом не наешься из золотых тарелок, это тебе не в хате и не в степи, когда таскаешь ложку в рот и ни о каком приличии не думаешь; тут уколешь вилкой кружочек колбасы и боишься, как бы она не сорвалась на скатерть, и к тому же нет аппетита, все больше глядишь на августейших особ и слушаешь тосты. Конечно, те времена, когда Екатерина II в знак особой милости посылала кошевому атаману к концу обеда десерт, прошли безвозвратно, все при новых императорах стало проще, но лишнего не скажешь, а уж тем более не отмочишь грубоватую шутку. Дочки царские тоже мало ели, были они как лебедушки, откровенно посматривали на казаков, то на одного, то на другого, и (что значит сословная разница!) самый старый из них, самый гордый и храбрый, смущался и считал себя обязанным преклонить своѐ чувство. Чего ж: кто-то же должен стоять над ними, не пахать, не сеять, а только освящать собою знамя державы.

Когда подали полоскательницы для рук, Лука Костогрыз хмыкнул про себя и было уже ткнулся рассказать один старый случай, но сдержался и лишь шепотом поделился с атаманом станицы Таманской.

Тот реготнул тихонечко, однако царь услыхал и спросил:

— Может, это интересно и для нас?

— Да не знаем, как сказать, ваше величество, — оправдался Костогрыз непонятно в чем.

— Нет, мы хотим.

— Пожалуйста. Чашки с водой принесли, це ж руки пополоскать. А годов так пятьдесят назад у нас на Кубани у наказного атамана графа Сумарокова-Эльстона (я ще застал его) был обед. И подали также полоскательницы. Архиерей глядел-глядел на эти чашки с водой, взял и выпил! Разом. А граф тогда, шоб не опозорить архиерея, подморгнул соседям и сам напился тоже. Так я и вспомнил.

Генерал Бабыч облегченно засмеялся вслед за царем, дочки переглянулись, Толстопят мигнул офицерам.

— Ваше величество, — вскочил в паузу Бабыч, — позвольте спросить: наши казаки интересуются, будут ли они иметь счастье видеть своего августейшего атамана.

— Ваш атаман где-нибудь за игрушками...

Нужно было великодушно улыбнуться, и дамы, свита улыбнулись. Казаки расстроились.

Но через десяток минут семилетний атаман всех казачьих войск, в платьице, похожий на девочку, жалобно заглядывал в окно столовой, потом толкал ножкой дверь, припертую кушеткой.

— Папа! — звал он настойчиво. — Открой.

Государь улыбнулся для всех: вот, мол, ваш атаман и будущий правитель.

— У, какой ты. Нехороший папа.

— Ангелочек... — громко вздохнул Бабыч.

В 1875 году таким же маленьким херувимчиком видел Костогрыз нынешнего императора, в штанишках с тесемочками, пухленького, с теми же красивыми глазами, обвязанного такой заботой, какой и в снах не смогли бы получить казачата. Государь, видимо, заметил на лице Костогрыза какое-то переживание и спросил:

— У тебя есть внуки?

— И правнуки, ваше величество. Один внук у вас, сейчас на воротах стоит. Дионис. — Костогрыз заплакал.

— Я его знаю. Хорошо поет и пляшет.

— Та в деда ж. Я всегда перед вашим батьком плясал.

Подали кофе, и государь разрешил курить.

— В честь встречи с вами, ваше величество, закурим по толстой, — пошутил Костогрыз. Он достал из кисета люльку, намял в горлышко турецкого табаку и под внимательными взглядами великих княжон, дочечек, к которым он испытывал дедовскую нежность, прислонил горящую спичку, пыхнул раздругой. А для дочек размотал и снова завернул за ухо оселедец. Пускай посмеются.

— Па-апа! — все удивлялся цесаревич, что его не пускают к взрослым. — Откройся! Ну на минуточку. На самую-самую одну минуточку, папа. Поиграй со мной. — Гости глазами просили державного: пустите малютку, ваше величество. — Папа. Никуда твое казачество не денется и в лес не сбежит. — Хохот покрыл столовую. — Эх вы, какие барины, сами сидите, а я один.

Сестра Анастасия подошла к двери, что-то пошептала через стекло и вернулась.

— Вот ты какой, папа! Прямо чудо на тебя смотреть. Слепые глаза у тебя, что ли? Я маме скажу.

— Пустить? — спросил государь у гостей.

— Будем счастливы, ваше величество, — сказал Бабыч.

— Мама моя послала не для того, чтобы я стоял и смотрел на вас, баринов. Мама послала, чтобы поиграл со мной. Что я буду тут стоять? Мама уже платье надела. Какой ты. Папа. Папа римский.

— Не даст нам покоя, — сказал государь и встал. — Суровый атаман, держитесь, казаки...

Старшая, Ольга, убрала от двери кушетку и подвела мальчика к отцу. Тот взял его на руки.

— Время по телефону разговаривать у тебя есть, — продолжал упрекать наследник царя, — а поиграть со мной время нет...

— Войско твое кубанское приехало в гости... А какие подарки тебе!

— Ко мне? Ко мне по службе? — Дитя грозно оглянулось на белевших в нарядах сестер. — Ко мне по службе. Вам тут не место.

— Каков служака августейший атаман, а! — подсластил Бабыч и сделал два шага к наследнику.

Отец-государь спустил мальчика на пол.

— Принимай...

Толстопят стоял сзади и подмечал, как кубанское начальство приноравливается к высшей власти.

— Возьми шашку, — ласково приказал самодержавный отец.

Кудрявый, с полным румяным личиком и смышленными глазками, будущий повелитель России стоял в ожидании с протянутой ручкой. Генерал Бабыч, переняв от казака маленькую, с золотой рукояткою шашку и положив ее на вытянутые руки, приблизился, согнулся в поклоне и, приравняв малышку к взрослым («оце носи, ваше высочество, и командуй казачьим войском»), сцепил шашку с пояском.

Казак передал генералу и казачью пику.

— Возьми и пику, — подтолкнул опять словом отец. — Как дорастешь до нее, поведешь в поход на ворогов. Что надо сказать?

Дитя вдруг засмущалось и пригнуло подбородок к груди.

— Спасибо, господа казаки, — научал отец. — Передайте, скажи, поклон всем от мала до велика.

— Эти слова мне не по вкусу.

— На то ты и атаман, — придумай другие.

— Благодарю покорно! — выкрикнул наследник и сорвался с места. — Никогда не сомневался в моих славных кубанцах!

— Ну, вот.

— Кланяйтесь от меня вашим семействам. Служите России и мне, — повторял он слышанные слова отца, улыбнулся, взмахнул ручкой и побежал в сад под стеклянной крышей.

Государь и гости последовали за ним. Исполнился всего месяц, как убили премьера Столыпина, могучего защитника самоправства, но ничего не поколебало, видать, уверенности государя в прочности власти; он шутил, на лице не выражалось и тени глубокой потери, или это так принято — скрывать муки души, или у него таких много: ушел один, поставили другого и опять цело-невредимо? Государь изредка приосанивался, откидывал назад голову, покручивая усы; слегка поучал, как управлять Кубанью. Большие брови старили его очень.

— Воспитывайте молодое казачество в преданности. Чтобы юношество получало воспитание в правилах чистой веры, доброй нравственности...

— Усердствуем, ваше величество, — заверял Бабыч.

— Жалоб много пишут?

Неужели министерство двора не кладет жалоб на царский стол?

— Жалобы бывают, — робко сказал Бабыч.

— О чем?

— В основном жалуются на атаманов, полицейских. Самовар вот отобрал атаман, что великий князь, покойный Михаил Николаевич, подарил кормилице Александра Михайловича. Не найдем никак.

— А почему я об этом не знаю?

— Отобрали давно, ваше величество.

— Кормилица Анисья, ваше величество, — посмел вступить в разговор Толстопят, — недавно умерла. Мне написали. В Магдалинском монастыре.

— Это прискорбно. Я спрошу у Александра Михайловича.

Говорили еще о предстоящих юбилеях: о столетии Отечественной войны с Наполеоном и трехсотлетии дома Романовых. Бабыч приглашал его величество на Кубань.

— Поохотиться можно? Что на это скажет старый конвоец? — допросил государь Костогрыза.

— Фазана, ваше величество, не стало. Камыш покосили, терен попололи, нема для фазана того причала. И куропатке негде сесть. В семьдесят втором году каждая станица ловила по двадцать пять штук; меня, помню, командировали, я в клетках привез сто двадцать восемь штук живыми для государя в Ливадию, причем некоторые поранены. Уряднику за доставку золотые часы, а мне двадцать пять рублей. Так то ж фазаны! Земли, ваше величество, станет так мало, что скоро негде будет и свинью со двора выгнать. А без земли какие мы казаки?

— Не будет казаков? Мой наследник без конвоя останется? У вас на добрую Англию нераспаханных земель. Так, запорожцы.

Затягивать беседу с царем было не положено, но Костогрыз, все подумывая о том, что он в кругу царской милости последний раз на веку, опережая Бабыча, докладывал его величеству о житье-бытье на Кубани.

— Еще сидят у нас около дворов старцы-пластуны на стульчиках. Слышит слепой казак, болотные птицы летят, застонет: «Диточки! диточки! Дайте мне заряженное ружье, я хоть выстрелю туда, где они летят, и то мне легче будет».

— Передайте ему поклон от меня.

— Обязательно, ваше величество. Семьдесят шесть моих лет уже кануло в вечность, с двенадцатым наказным атаманом живу, а есть казаки и постарше. Давно была та Кавказская война. Многие герои полегли в лоне Авраама. Когда приезжал к нам великий князь Михаил Николаевич (то ще он наместником Кавказа был), и поехал он в Закубанье лесными зарослями. А черкесские дозорные на верхушках сидят и криками передают: казаки! А те дальше, в аул. Михаил Николаевич и спрашивает: «Неужели казаки не могут пристрелить?» А наказный атаман: «Могут». — «Ну?» — «Выстрел, ваше высочество, вызовет у них озлобление». — «Прекрасно. Так покажите мне, по крайней мере, искусство казаков в стрельбе». Позвали пластуна, шо сейчас сидит на стульчике в Пашковской. Пришел. В постолах из кабаньей кожи, в поношенном бешмете, шапка на нем лохматая. «Можешь застрелить черкеса на дереве? Что он кричит во все горло!» — «Так точно, ваше императорское высочество». — «Пристрели». — «Не бей конного, гово-

рят, а бей того, шо с коня слезает». — «Пристрели».— «Как прикажете? Вот так, как стою, возле вас, ни с места?» — «Вот так». Он снял штуцер с плеча, раза два к плечу приложил, на глаз прицелился. Готово! Он в пятнадцать годов стрелял кабану в око за двести шагов. Теперь слепой, болотных птиц слушает.

— Передаю ему через наказного атамана серебряный портсигар. Бравые кубанцы.

— На то воля божья. Теперь у нас в Пашковке каждый двор имеет друга-черкеса из аула. И коней воровать перестали, и жен наших тягать за Кубань. У меня пол-аула в друзьях.

— Под русским двуглавым орлом хватит простора всем народностям.

— У нас их в Екатеринодаре много.

— Не обижаете?

— Казака в городе нет. Одни офицеры. Персы, турки с товарами в лавках, болгары с овощами, армяне магазинов понаставили, греки кофейни держат. Горько дивиться казаку, как бабы их понаденут на каждый палец штук по десять перстней, ходят как павы, воздушками (веерами) у глаз помахивают.

Бабыч плечом оттирал заболтавшегося Костогрыза, но зря: прием и без того подходил к концу. Все еще раз полюбовались княжнами-дочками, августейшим атаманом, и каждый, верно, сравнивал их со своими детьми, внуками. Натолкали казаки в карманы оставшиеся после чая гостинцы, разобрали на память цветы; конфекты в красивых бумажках будут всю дорогу беречься для внуков, а семена яблок и апельсин думали посадить, чтобы правнуки помнили, как деды их к царю ходили с медным запорожцем. Потом стали стенкой и дружно пропели «Спаси, господи, люди твоя». Была, кажется, великая то минута, и потом, через годы, когда вся царская семья погибла, минута расставания так и застыла в глазах: печальные голубые глаза государя, желавшего, чтобы депутация разнесла по Кубани о нем молву, красавицы дочери и вырывавшийся из рук старшей наследник. И мысли Костогрыза о том, что он будет много-много лет лежать в могиле, а эти пятеро, романовского корня счастливцы, будут приезжать и приезжать в Ливадию и глядеть с балконов на море. Он и думать не думал, что им всем не дано будет узнать даже любви, что он на целый год переживет их...

1912 ГОД

И в этом году были старые и новые праздники, и самый торжественный из них — 100-летие Отечественной войны с Наполеоном. На Бородинском поле поставили павшим французам красивые памятники, и русские люди ходили возле них с той забывчивостью о чужой жестокости, которая отличала Россию. Об Александре I, вошедшем в Париж с казаками, писали в юбилейные месяцы гораздо меньше, нежели о Наполеоне: анекдоты, рассказы о корсиканце (как он спал, чем лечился, каких женщин любил) были занимательнее страничек о Кутузове и Багратионе. Такое странное время. «Нынче Россия готова к войне, как никогда», — похвалился царь в эти дни. Петербургские газеты прикинули на счетах, на сколько тысяч рублей выпито под Новый год в ресторане Кюба, у Донона на Английской набережной, в «Аквариуме» и «Медведе» и т. д.

Всякая мелочь пылью летела на бумажные листы. Ничего нельзя было утаить от желтых репортеров. Почему-то всем надо было знать, что певец Ф. Шаляпин застраховал свою жизнь на миллион рублей, «королева цыганского романса» А. Вяльцева ездит по России в своем вагоне, а великую княгиню Марию Павловну свалил в январе грипп. И это почему-то интереснее всего другого. В 1912 году М. О. Меньшиков спрашивал: «Где быть столице Русской земли? Раньше, чем сознание ошибки Петра Великого, — предрекал он, — заставит исправить ее, она будет исправлена железным ходом истории».

Почему-то всякие сплетни, пакости, пошлости и другие жестокости надо было знать и екатеринодарцам.

У сотника Андрея Шкура́, знаменитого впоследствии белого генерала Шкуро, украли из квартиры самовар, дамскую шубу, две черкески и персидский ковер за сто пятьдесят рублей, а у горничной номеров «Россия» — четыре золотых кольца.

Надо было, конечно, знать, что ювелирный магазин Гана не уступает лучшим магазинам Парижа, Берлина и Вены, что городским головой опять избрали сорока шарами Скворикова, удача благотворительного вечера в пользу бесприютных детей зависела от «массы заграничных сюрпризов» и цветов из Ниццы, но надоедали скандалы, убийства, пошлые подглядывания и глупости вроде: на троицу в Чистяковской роще два оркестра играли разом, извозчик завез гуляк за Свинячий хутор, в дворянском собрании на хорах, на лестнице наблюдались сцены весьма пикантного свойства. Так изо дня в день. И только раз в десять лет мелькало воспоминание старого пластуна да извещение о посмертном завещании какой-нибудь богачки. 26 ноября в Екатеринодаре выпал снег. Манечка Толстопят читала в «Кубанском крае» статью о том, какие женщины лгуньи.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

С начала апреля 1912 года подъесаула Толстопята послали на Кубань для комплектования сменных команд конвоя.

20 апреля на стол командира конвоя князя Трубецкого положили письмо:

«В конце 1910 года с моей женою познакомился подъесаул собственного Е. И. В. конвоя П. А. Толстопят. Затем, дабы бывать у меня в доме, сделал визит, на который я ответил. После этого он начал бывать у меня в доме все чаще и чаще. Я же, имея в виду, что это же офицер, никак не мог даже предположить, чтобы целью его посещения была моя жена. Я не допускал мысли, чтобы офицер, у которого чувство порядочности должно быть прежде

всего, осмелился войти ко мне в дом с такою гнусною целью. В феврале с. г. ко мне в руки попало его письмо моей жене. Я потребовал от жены объяснения. Хотя жена и призналась, что Толстопят ухаживает за ней несколько месяцев, но при этом она поклялась, что он благороден и за это время не позволил себе даже малейшей вольности и у них самая чистая дружба. Мог ли я возбудить дело против Толстопята в суде чести? Я бы только скомпрометировал свою жену. А меня суд чести обвинил бы в клевете. Меня теперь обвиняют в неблагородстве, но в чем оно? Я двадцать лет отдал на служение военному делу, и теперь, когда мне осталось всего дослужить до пенсии два года, меня могут уволить в отставку без всяких средств.

Сначала, дабы сохранить репутацию своей жены, я вызвал подъесаула Толстопята на объяснение и потребовал от него, чтобы он прекратил свое гнусное и неофицерское ухаживание за моей женой и, кроме того, возвратил бы ее письма, но он ответил, что письма жены моей уничтожил, давши при этом офицерское честное слово. Но, оказывается, письма он не уничтожал, а, напротив, по словам жены моей, начал требовать, чтобы она продолжала с ним свидания, грозя в противном случае показать ее письма посторонним лицам. Имея в виду, что подъесаул Толстопят вторгся в мою семью, разрушил ее, обесчестил мою жену и не выполнил честного слова офицера, и находя поступки Толстопята совершенно несовместимыми с понятием воинской чести, я познакомил с ними (после его командирования в Екатеринодар) офицеров конвоя, которые постановили: руки ему не подавать и в доме у себя не принимать и просили меня довести об этом до Вашего сведения. Полковник В-ий».

Не знал Толстопят, блистая мундиром на улице Красной, что через три недели поступило в канцелярию конвоя объяснение и от мадам В.:

«...Тень моего позора падает на моего ни в чем не повинного мужа, которого обвиняют в том, что он, зная о моих преступных отношениях с подъесаулом Толстопятом, не предпринял никаких мер и не сумел защитить чести своей жены. Даю честное слово, что мой муж решительно ничего не знал, в каких я находилась отношениях с названным офицером, и раскрыл только недавно, когда я сама призналась во всем, но при этом поклялась, что Толстопят благороден и за это время не позволил себе даже малейшей вольности. Если бы муж возбудил против Толстопята дело в суде чести, он бы только скомпрометировал меня.

Толстопят казался мне симпатичным и недюжинным человеком, я приняла в нем участие, ввела его в некоторые семьи, где он стал бывать и где я с ним встречалась. Симпатия наша друг к другу с каждым разом проявлялась все больше. Держала же я себя всегда с подобающим достоинством и гордостью. Встреча за встречей, его полное мной увлечение, предупредительность и любовь вскружили мне голову; его клятвы, целование креста и обещание хранить свято мое имя усыпили мой внутренний голос, и я не устояла. Подъесаул Толстопят — моя первая ошибка в жизни, я им увлечена была настолько сильно, что готова была бросить семью. Хотя я одиннадцать лет замужем, но сталкиваться с подобными субъектами мне не приходилось. Он вошел в душу лестью тонкой, незаметной и добился своего. Может, я и виновата, что приняла в нем участие, что хотела исправить безнравственного человека и наставить на путь истинный, но... сама сбилась с него! Находясь в связи с подъесаулом Толстопятом, я переживала ужасные нравственные муки. Но он все время утешал меня, что не я первая, не я последняя, все так живут.

Его письмо случайно попалось моему мужу, по которому он стал догадываться о наших отношениях, но был еще далек от истины, ибо моя одиннадцатилетняя безупречная с ним жизнь заставляла его верить мне, и правду сказать я не решалась. Ради спокойствия семейной жизни я дала мужу слово прекратить всякие сношения с Толстопятом и потребовала от него обратно мои письма, но он их не вернул, а при объяснении с мужем дал ему честное слово, что сжег их. Я снова сошлась с ним, чтобы каким-либо путем вернуть письма, но все мои усилия были тщетны. Он требовал от меня свиданий, угрожал, что опубликует об наших отношениях, и, чтобы сохранить свою репутацию в глазах общества, я подчинялась ему. Я думала, что подъесаул Толстопят, обесчестивши женщину, которой он клялся, целуя при этом крест, что честь ея для него дороже всего, что он готов пожертвовать для нея не только службою, но и жизнью, на этом остановится, но, оказывается, подлости его нет границ. Он это доказал 2 апреля, приславши моему мужу письмо, в котором называет меня распутной женщиной и опять угрожает опубликовать о наших отношениях. Чистосердечно признаюсь тем, кто будет судить, что, увлеченная подъесаулом Толстопятом, я отдала ему самое дорогое для меня — честь мою, и, поверивши в его честное слово, я обманывала мужа своего. Спрашивается, за что Толстопят так жестоко поступил со мной?»

ЕКАТЕРИНОДАР, ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, 77

Права была тетушка Бурсака: после Петербурга Екатеринодар предстанет Толстопяту большой неухоженной станицей. Так!

Под горку по Екатерининской прогрохотали мимо духана и шашлычной «Заря» в прореху Царских ворот. Миновали сад братьев Шик, но это же не Летний сад, это какие-то заросли с горбатой меловой статуей богини. Ах, боже мой, но отчего дрожь и столько воспоминаний? Вот и гостиница «Нью-Йорк» со шпилем, общественное собрание на Борзиковской, белая женская гимназия и войсковой собор, угол гостиницы Губкиной, где он держал в бурке Калерию, и вот напротив бани Виноградского широкая веранда на втором этаже, свисающая над тротуаром.

Что новенького в родном городе? Умер знаменитый адвокат Канатов, сказал Терешка. На скачках были дорогие призы. Проезжал через Черноморскую станцию принц Ольденбургский. Ограбили витрину

в ювелирном магазине Гана. Кёр-оглы и Дон-Дудин открыли в Чистяковской роще буфеты. Сколько было ситцевых балов, кто женился, пошли ли к Темрюку пароходы. Детишки цепляются за хвост бельгийских трамваев; у клуба приказчиков кучи мусора и тряпья, и даже мадам Бурсак, говорят, оштрафовали за неочистку тротуара. О наш маленький Париж, ты такой убогий, а все же столица казачества.

А что дома? Жив ли прапрадед-пластун? Перестала ли плакать матушка? Выросла Манечка?

Из дальней комнаты, где лежал прапрадед с Нового года, несло плохим запахом. Мать и отец в ту минуту, когда вошел Петр, не разговаривали друг с другом. Сестричка Манечка была на занятиях в Мариинском институте. Все то же. Все то же из года в год. Мира, тишины в доме никогда не было. Жестокая власть отца довела семейную жизнь до оцепенения. Он ни с кем не считался, психовал от каждого пустяка и, сколько помнил Петр, ни разу не признался, что он в чем-то может быть виноват. Мать и заплакала как будто с радости, но на самом деле заплакала несчастно, жалуясь слезами на долю и надеясь на спасение от сына, приближенного к царской милости.

Четверть века шла домашняя война. Однажды Манечка потихоньку составила жалобу наказному атаману, но испугалась и порвала ее. Уже дрожали губы и сжимались руки в кулачки, когда отец нападал на мать. По каждому пустяку. То не так нарезала хлеб, то сослепу не туда положила карты, то истрепалась черкеска времен японской войны, и во всем виновата бедная жена. «Шла бы на Афон, чи шо!» — кричал и гнал на двор, будто сроду ничего доброго ему не делала. А это она ездила в 1905 году за ним в Харбин, где он лежал в лазарете Крестовоздвиженской общины в отделении безнадежных, это ради него она устроилась в общину сестрой милосердия и день и ночь выхаживала его, тянула с того света. Хамами слыли Толстопяты из рода в род. Ведь и прапрадед, гнивший теперь на постели, жалобным стоном пускавший из беззубого рта сожаления «завелись, уже завелись!», разгонял некогда домашних в чужие хаты на ночлег. «Прожила с ним как с мужем, — жаловалась матушка своей родне, — а боялась, как волка. Цыганку он пожалел. Цыганка украла у казака деньги в церкви. Так он созвал в станичное правление музыкантов, те играют, а цыганка-воровка пляшет. И простил». Зато нет цены казаку в службе, на смотрах и парадах, в станичном правлении. Выбрали Авксентия в 1888 году пашковским атаманом — слушали и боялись как огня. И до сих пор легендами окружено его имя. Начал он с того, в чем был грешен в своем доме. Вызвал в правление казака: «Так мне люди заявляют, шо ты пришел недавно со службы, получил там урядника, а пьешь, блукаешь по чужим хатам, над жинкой издеваешься». — «Та бывает ссора. Ну шо как она не может ни хлеба спекти, ни борща хорошего сварить. Как сварит, хоть за ухо вылей». Не пойдет же атаман на хату ложкой борщ пробовать. Встал Авксентий из-за стола, закрыл занавеской большой царский портрет в золоченой раме и отчесал самоуправного молодца нагайкой во всю удаль. «Ну как? — кричит голубчику через некоторое время с крыльца правления. — Как там жинка? Хорошо хлеб печет?» — «Хорошо, господин атаман». — «А борщ как?» — «И борщ хороший». И когда вскорости арестовал в буйстве весь станичный сбор стариков, никто тому уже не удивлялся: за дело, наверное! Взяток не брал, а за честность народ все простит.

Зато какой порядок кругом! Проложил атаман мощанки на улицах, исправил гребли, запретил выносить сор и золу из печей на дорогу, перестали при нем выпускать на церковную площадь скот и свиней, и сам уже не позволял того, что раньше: когда в молодости уходил к любушке, то жена обязана была встречать его за два квартала. Всеми уважаемый в войске за ратные заслуги, отец к старости чудил не переставая. Ретивые защитники устава уже дважды возбуждали против него ходатайство об исключении из казачьего сословия за нарушение векового обычая: в мундире есаула он, нацепив ордена и медали, торговал фруктами из своего сада на окраине Пашковской. В церкви кричал на иногородних, чтоб стояли на молитве позади казаков: «Вы, бисовы души, храм строили, чи шо?» Даже дома ходил в черкеске и лишь за стол не садился в поясе с кинжалом. Луку Костогрыза почитал пуще епископа Иоанна. Ругался, что в середине прошлого века расказачили Екатеринодар, понапустили «другой нации», а казаки перебрались в станицы. И такой во всем неуемный, стародавний в лихости был он и дома. Петр знал, что встреча через час кончится ссорой. Так и вышло.

И, как всегда, завелись с пустяка, зацепился отец за возражение в голосе, не так, видите ли, почтительно прозвучавшем.

— Ну, чего там государь делает?

— Как чего? — холодно пробубнил Петр. — Не яблоки же продает.

— А и попродавал бы! — выкрикнул отец, наливаясь злостью. Но злость была не против царя, совсем нет, то от искры, воспламенялся толстопятовский псих. — То оно и видно, шо царь ваш из москалей.

— А ваш?

Отец, еще минуту назад готовый умиленно расспрашивать сына о дворе, тотчас припомнил полицейские новости и попер обвинять. Ему теперь было лишь бы ударить.

— Шоб вас сыра земля побила! В карты во дворце гуляют!

— Вы видели?

— И не видел, и не видел! А знаю.

— Что там казак знает? Как корову к быку водил...

— Ишь. С Петербурга он приехал. А кто тебя туда устроил? Кто Бабыча через штаб просил? — аж приседал в гневе отец и перекручивался телом. — Вставай ухо на ухо!

— Не выдюжите, батько. И вам не стыдно?

— Где ты набрался такого толку? Тебе уже за батька стыдно-о?

— Я сказал немножко не так.

— Бисова душа, — побежал отец в комнату и вернулся оттуда с векселями. — Это шо? За это тебе не стыдно? Триста рублей батькиных просадил, не стыдно? Чтоб завтра вернул. Судебного пристава позову.

— Я не просил, — сказал Петр. — Сами вексель составили. Вам их не жалко, это вы — лишь бы укорить. Лишь бы крик поднять. Да сколько можно? Загоняли всех. Ползаете по церкви на коленях с охапкой свечей от иконы к иконе, дома Библия на аналое, свечи вон горят, а мать до чего довели. Георгиевское знамя носили на парадах.

— Послали тебя в конвой — и батько дурной стал.

— Вы позорите свой мундир. Где благородные принципы, которым вас учили?

— Я в чистой отставке, а вы хотели б, дети, шоб я кланялся вам в ноги до самой земли? И кричать на батька не в свой голос?

— Вы еще и гласный городской думы, а что у вас в доме? Вы должны проявлять рыцарское отношение к женщине.

— Жалуйтесь на меня, бисовы души, гражданским порядком.

— Я вам не просто уже сын, я русский офицер.

— А-аа-аа, — завыл отец, — так ты уже не казак? Ты уже русский офицер? Научили москали. Щенок белогубый.

— И до каких пор... — сказала мать, умоляюще протягивая руку. — Про тебя уже и в газетах пишут. Я уже жить не могу. Выйду за ворота и от ветра валюсь... Чего ты?

— Молчи, бисова ящерка. А то понадеваю твои горшки тебе на голову.

— О-одно только...

Отец повернулся к сыну и выставил палец:

— Накрути себе на ус: ты казак. Не приведешь ли ты мне в хату крашену кацапку? Торохну лбом в двери так, аж на двенадцатеро расколотятся...

Застучали на лестнице каблучки, то бежала из института Манечка. Отец сразу стих, убрался на веранду и сидел там, согнувшись к перилам. И так по нескольку раз в год: ни с того ни с сего обидеться, поломать всем настроение и с веранды слать родным молчаливые упреки: «А побей вас сила божья!» Сестра Манечка бежала со своими новостями. Нынче водили их во дворец наказного атамана и в беседке под дубами им подавали кофе. Через месяц у мариинок прощальный звонок, вручение аттестатов и бал. В последний раз наденут они форменные платья, получат из рук наказного атамана аттестаты — и что тогда? Будут ли жить дома, выйдут замуж и будут ходить на базар с корзинкой или сгинут сельскими учительницами в дальних станицах? Она любила ходить в церковь и в дневничке своем записала: «Я пойду в монастырь, если только сделаю то, что хочу сделать». Но она любила думать также о том, что ей недоступно: отчего-де она не родилась от родителей, принадлежащих к высшему свету? Попасть бы в заколдованный круг, знакомый ей лишь по газетам и мемуарам. Наверное, немыслимое желание преследовало ее в те часы, когда в доме буянил отец. Рассчитывать в Екатеринодаре было не на что. Но и горевать зачем? Женщина всегда утешится детьми.

— Братик! Пьерушка! Я тебя видела во сне, и у меня с утра чесался нос.

Только сестра может так невинно прижаться грудью; только эта барышня в переднике, с кружевным воротничком вокруг нежной шейки, тощенькая и непорочная, молится за братика, как за самого примерного и скромного казака. Отец словно проснулся на веранде, вышел не столь хмурым, прощупал всех взглядом лупастых глаз и мирно сказал матери: «Ну, собирай на стол, да я пойду в церковь певчих послушаю». В зловонной комнатке охнул и перекрестился прапрадед. Манечка скоренько переменила ему штаны, подтерла пол, подала и вынесла посудину, накормила старца из ложки. Вспоминая сумрак роскошной комнаты, пахучие волосы мадам В., Толстопят думал: «Ну разве она способна на это?..»

— Я тобой горжусь, — говорила Манечка за столом. — Я мечтала тебя встретить на станции, и так, чтобы мои подруги видели, как ты выходишь из вагона. Сбежать с уроков нельзя.

— И хорошо, что не пришла. Нас задержали на целых двадцать минут под Динской, потом пустили, а два прицепных вагона из Новороссийска еще стояли. Его высочество принц Ольденбургский ехал. Из местных властей на станцию никто не прибыл, так принц и просидел в вагоне. Ну зато я вышел к Терешке вместо принца.

— Ты выше, лучше, братик, всех принцев, — боязливо шепнула Манечка и с ойканьем вскочила, прижалась к нему.

Ночью он воровски прочитал несколько страничек Манечкиного дневничка, припрятанного на этажерке. «Долго, долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник. Целых два с половиной месяца. Я не могла писать, потому что боялась, чтобы не увидели папа и мама. Мне ужасно досадно, отчего я не родилась в начале прошлого столетия. Вчера днем, помолившись в церкви, иду переулком, а мне навстречу трое нищих — просят денег. Сперва я отказала, но потом нагнала их. «У меня нет денег, хотите взять мои сережки?» — «Давай, давай, матушка», — был ответ. Сама не помню, как сняла серьги, бабушкин подарок, и положила в руку одной старухи. «Они золотые», — сказала я и поскорее ушла вперед. Какое-то странное чувство испытывала я, когда ушла от них. Быть мне монахиней с четками в руках и псалтырем на аналое своей кельи? Прапрадедушка спит, а проснется — ни с того ни с сего скажет: «От як колысь были мы в Старой Сечи...» Недавно читала «Воспоминания о поездке на Афон» Страхова. Это гора, вся озаренная внешним солнцем и природою. Из забот и удовольствий состоит вся наша жизнь, а те молятся до конца дней своих, мысли их чисты, и ясен ум. Сейчас начну читать «Красное и черное» Стендаля. Ах, если б кто знал, как я жалею, что не поэт...»

В кого удалась сестра Манечка? Откуда у ней, еще малютки, такое терпение, раннее предчувствие смысла жизни? Когда она успела созреть? Для отца с матерью она была только тихой, послушной доч-

кой с некрасивым личиком, этого им было достаточно. И он, брат, ехал ее учить! Чему? Немного пристыженный, Толстопят, как это бывает с нами в минуту-другую, проклинал себя и вспоминал, что в возрасте Мани (и даже постарше) он жег на степи хворост, пел и танцевал под гармошку да кое-когда укладывался после вечерниц спать с девками на гарбе или на полу в пустой хате, а уж что болтал им, что молол-то — ужа-ас! Дурак. Конечно, он всегда был сынком есаула, вояки, заслужившего бранными трудами и кровью кое-какое уважение, он был п а н ы ч и утробою своей понимал, что мешаться ему в куче казаков нельзя, — да разве удержишься в забавах? Он с юности красовал, ноги бинтовал, потом натягивал чулок из тонкого сафьяна, а сверху — смоченный чувяк. К женскому полу влекло его лет с семи. «Я сразу почувствовала, что ты такой, — сказала ему мадам В. — Ты цепляешься взглядом». Наверное, в отрочестве те «дамы сердца», за коими он подглядывал, могли бы сказать то же, но молчали. Все они были старше его: и дочь священника, и двоюродная сестра, и дочь учителя (ей он носил флакон духов собственного изготовления — из листков комнатной герани). Еще он любил свою восемнадцатилетнюю няню, терся о ее ноги, следил, как она моет полы, и перед сном мечтал поваляться с ней на сене, на манер тех игр, которые затевали с ней два парубка в степи, — он гнал как-то барашек и видел издалека. Подслушивал ли он взрослых, сплетничавших о соседке, которую кума, возвращавшая наседку, накрыла с батюшкой на кровати, — у него чернело в глазах: когда и я так буду?! Вот он какой рос. Такой и до сих пор? На царицу зыркал, и то... В Уманской, уже после похищения Калерии, после стука в ее окно в Хуторке, он в новолуние под собачий лай за левадами терзал казачку у тополя и сторожил взглядом, чтобы не услышал и не выскочил из хаты хозяин. Есть что скрывать от благонравных людей!

Но он быстро потерял мысли о своей грешности, простил себя за какие-то будущие подвиги и примерность, заодно припомнил и бесконечные секреты, в которых все другие казаки раскрывались не хуже, чем он, и только перед Калерией ему было неловко. Зачем отнимать у барышни дорогое время? Оно у них в оные дни роковое.

— Что ты смотришь на меня так, братик? — спросила его утром Манечка. — Я плохо выгляжу?

— Любуюсь тобой. — Толстопят обнял и прижал ее к себе. Щупал невинные ее косточки, жалел ее. Может, ей всю жизнь прижиматься только к папе и маме, братьям? Мадам В. не знает скорби ожидания. — Козочка наша... В кого ты у нас? Мне бы жену такую.

— Ну, если в Петербурге не присмотрел, то мы найдем. Чтоб хорошо борщ варила?

— А то что ж.

Она опять таскала в комнату горшок и возила на полу мокрой тряпкой.

— Мамо! — сказал Толстопят без Манечки. — Она у нас не простая девочка. Надо отдать ее на Бестужевские курсы.

— Куда-а? — мать перестала вытирать пыль с пианино. — Без мужа за спиной она делалась смелее в разговоре и резче. — С церкви вон сейчас придет, скажет: «На шо оно то нужно? Батьки наши так жили, и мы по-ихнему».

— Если батьки стукались головами о стенку, то и нам?

— Ворожейка ходила, хиромантка (и в Ерусалиме побывала), так она сказала: «От больших пророчиц слыхала: война будет!»

— У нас в Петербурге лучше знают. А Маню надо учить дальше...

— С батьком говорите.

Старый Толстопят пришел из церкви взъяренный, стучал на кухне ложкой по столу и доругивал обидчика:

— Я ему покажу, за шо нам кресты давали! Настало времечко: пока казак на службе, он не забу-удет честь отдать. А как вышел в отставку — не узнать: никогда первый шапки не снимет. Я старый есаул, а мне урядник... Я ему покажу, каких мы китаянок за ноги держали.

— Обидели, обидели его... — шептала мать сыну. Домашние тоже были виноваты перед ним за то, что его возле церкви обидел урядник. Так устроен мир: никто сам себя никогда не накажет и никто не убережется от суеты человеческой. Уже дитя Манечка устает от земных скандалов. Старик и после молитвы превыше всего ставит суетный быт.

Отец упрятал себя снова на веранду; там и просидел до обеда со своей досадой, изредка кому-нибудь кричал вниз: «Чего ты, бисова душа, кожух надел и папаху? Чи ты казак, городовицкая твоя душа?» И все-то ему надо.

— Нема ума, — жаловалась мать.

Толстопят отвык от батькиной ругани в Петербурге, а когда рассказывал про атаманские его замашки, то было всегда лишь забавно и смешно. Ах, Петербург!

НАКАЗАНИЕ

Сменные команды конвоя формировались каждый год. Спущенные на льготу казаки прибывали из Петербурга на станцию Сосыка. Тут им производил смотр атаман Ейского отдела, благодарил за службу и распускал по хатам. Уезжают на почетную службу равными, возвращаются тоже вроде все с выгодой, с одинаковыми значками и отличиями, но кое-чей гвардейский сундук прячет особое драгоценное внимание августейшей романовской фамилии. С гордостью грузили отцы те сундуки на телеги.

Такие же огромные гвардейские сундуки стояли наготове у тех, кого уже отобрало общество и офицер конвоя в сменный эшелон, но там, в перегородках, ничего, кроме шаровар, трех пар белья, чувяк с ноговицами, башлыка да черной папахи, не было.

«Встречали, как архиепископа Агафодора», — любил вспоминать Толстопят в поздние годы, когда уже все потерял. Куда как выгодная командировка! Тол-

стопят путешествовал по станицам, объехал попутно свою родню, пообнимал всех тетушек и двоюродных сестер, засиживался вечерами со старцами и везде выбирал в царскую охрану молодцов. Главное пристрастие у него было к песельникам, и он горой стоял за какого-нибудь баса, просил сбор стариков выделить лишних денег на покупку лошади, если казак страдал бедностью. Ему хотелось подобрать сменную команду небывалого образца, чтобы все последующие офицеры равнялись на строгость Толстопята. А слабость проявить было легко. Жить всем хотелось, умоляли, кланялись, но тут Толстопят являл свою прирожденную властность. На все пускались люди. Один принес откормленного индюка; несколько дряхлых героев кавказской и турецкой войн совали ему в руки нижайшие просьбы. Нет, каменной стеной стоял красивый офицер. И пожалел только бессменного ординарца Александра II, слезно молившего забрать в конвой его младшего внука. Цепляя головой воробьиный пух, пролез Толстопят к хате времен черноморских. Боже мой! В сенях оклунок муки, кадушка с водой; в комнате, налево в углу, дымовая труба, на деревянной полке чашка с тремя ложками, два чугунка, сковородка, в правом углу на деревянных гвоздях икона Казанской божией матери. И три доски вместо кровати.

— Записать!

Коннозаводчик-кабардинец Коцев поставил Кубанской области сорок голов лошадей гнедой масти, и на разгонном посту под Екатеринодаром Толстопят сам отобрал жеребцов конвойным трубачам, двум офицерам, а к пасхе дал телеграмму князю Трубецкому: «Христос воскресе выбрал Вашего Сиятельства чистокровных спокойных арабов оба нарядны более двух аршин полтора вершка имею запасе трех рыжих кобылиц для графини Браницкой...»

Но милости не будет, если муж мадам В. отослал жалобу в конвой.

«Вы не проявили офицерского благородства», — скажет командир конвоя.

«Возможно, ваше превосходительство».

«Согласны ли вы на дуэль?»

«Согласен принять вызов. Богу одному известно, какие муки я испытываю. Прошу как милости оставить меня на службе. Лишение гвардейского мундира позор для казака...»

Предчувствия были нехорошие. Что ж, рано или поздно за все надо расплачиваться. Да казаку ли краснеть за любовные шалости? Отдать ей ее кошачьи письма — и все.

«Фрина! Тарновская! — вспоминал он имена дам, замешанных в процессах, дам, доведших мужиков до разорения, самоубийств или полного краха. — Ольга Штейн — вот ты кто».

Накануне лагерного сбора будущих конвойцев около Пашковской гребли Толстопят получил письмо от мадам В.:

«Дорогой мой, прошло три дня, как я приехала в ваш скучный городишко, но эти три дня показались мне годом без тебя. Я в гостинице «Европа».

Толстопят рассвирепел, обзывал мадам В. последними словами, сметая с души нежнейшие воспоминания о часах, когда роднее мадам В. никого не было.

«Три дня без меня кажутся годом! Тарновская... Это она приехала выпрашивать свои письма...»

Письма Толстопят придерживал у себя как доказательство пламенной любви северной женщины, доказательство самому же себе, казаку, у которого, может, никогда и не будет больше такого романа.

О письмах мадам В. сперва молчала. Он пришел к ней вечером, хмуро сел напротив окна и закурил папиросу. Мадам В. приехала с семилетней дочкой. «Нарочно взяла, — определил Толстопят, — чтобы муж не подозревал». Девочка была славная, с затянутыми на затылке волосиками, очень похожая на маму, беленькая, ничего не понимающая. Она сразу же стала готовить ее ко сну, постелила ей на диване, сунула книжку с картинками. Толстопят смирился немножко, поспрашивал о житье-бытье и, волнуясь от возможности помириться с мадам В. на несколько минут, следил за ее улыбкой, таившей прошлое родство и какую-то лукавую радость нынешнего свидания. Девочка засыпала. Под видом того, что в темноте она заснет поскорее, мадам В. потушила лампу. Ну вот мы одни, — как бы вздохом сказали они и подождали, кто осмелеет первый. Из гостиницы «Большая Московская» доносилась музыка. Она подошла к нему. Женщина чувствует, когда ее прощают. Она прислонилась и обняла его так виновато, что Толстопят улыбнулся и кончиком уса коснулся ее виска. Как прихотливо возгораются и утихают любовные войны!

— Что? Что скажете, многоуважаемая богиня?

— Воля твоя... смеяться надо мной.

— Тебе нужны письма? А где ты прятала мои?

— У меня в будуаре стояла маленькая старая конторка из красного дерева. Подарок на именины. Лакей, передвигая мебель, конторку опрокинул, доску из ящика выбил. Я приезжаю, о н зовет меня в кабинет, запер дверь на ключ и подал мне твое письмо. Я насмешливо посмотрела на него. «Ты читал?» — «Читал. И не раз». Я вдруг заплакала. «Можешь думать обо мне что угодно, — сказала, — моя совесть спокойна. Я люблю этого человека. Чего ты хочешь? Я на все согласна. Я люблю этого человека».

— Не верю.

— Что?

— Не верю, что ты т а к сказала.

— Сказала.

— А зачем тебе письма?

— На память о том, как я тебя любила.

— Правду говорят: женщина лжет, не замечая. Теперь твой муж обязан драться со мной на дуэли.

— На каком основании?

— В основании дуэли лежит мотив удовлетворения чести. Суд офицеров рассматривает, а потом вменяется поединок в течение двух недель. Тебе бы пора знать, какому риску подвергала ты своего мужа одиннадцать лет.

— Никто не может знать, сколько лет подвергала я его риску. Я буду просить его не драться.

— За каждым офицером — свобода выбора: драться на дуэли или оставить службу.

— Он драться не посмеет.

— Значит, подлежит увольнению. Не смыть нанесенное поругание чести — позор. Офицерская честь дороже жизни. Если он разойдется с тобой, его могут простить и оставить на службе.

— Служба! Самовар, розовый абажур и шерстяное ватное одеяло ему дороже, и правильно. Я не хочу, чтобы вы стрелялись.

Через день он принес ей письма, был пьян, падал на колени, обнимал ее ноги и повторял: «Все погибло... поеду укладывать гвардейский сундук...»

— Мой милый... мой любимый... за что нам так?..

Толстопят верил каждому ее слову, вздоху, восклицанию, пустому состраданию. Женщина скажет и забудет.

«Все! На оленьи рога в офицерском собрании (подарок государя) будут глядеть другие. Выгонят меня. Я сам уйду. Чтоб мне товарищи не подавали руки? Лучше я в Уманской буду пыль глотать».

Но пьяный он рассуждал так же, как его отец.

Чего бы не служить? Плохо было появляться в Фельдмаршальском зале, на молитве в Феодоровской церкви, в аллеях Боболовского парка? Довела баба. Наказный атаман рекомендовал Толстопята князю Трубецкому как «человека прекрасного, поведения безукоризненного, характера твердого». И служил бы, только дурак не дорожит такой службой. Полковнику пенсия 2700 рублей в год; а уж генералом бы стал, так к дню рождения получал бы телеграммы, какую послал на днях командир конвоя генералу Богдановичу: «Да продлит господь бог надолго вашу драгоценную жизнь, нам на поучение, родине на пользу». Ни больше, ни меньше. А теперь кому нужна эта помятая справка? «Подъесаул Толстопят на страстной седмице великого поста говел, исповедался и причастился св. тайн». Из книги «Весь Петербург» навсегда выпадает его имя: вроде бы ерунда, а все же приятно увидеть свою фамилию в числе самых знаменитых. Отняла эта жгучая страсть все: и праздники 100-летия Отечественной войны, и на следующий год пышные торжества 300-летия. В январе еще конвойцы сопровождали депутацию монголов; государю везли подарки: три священных трона «бурханюши», шелковые шарфы, четки из драгоценных камней, а кроме того, для наследника — монгольский нож и огниво. Восемь коней-иноходцев изволил русский властелин осматривать в окно, и Толстопят думал: «А что будет через год, на праздники!» Какой-то Дионис или Тимофей Рыло будут сидеть на запятках княжеских карет, а Толстопята забросят куда-нибудь на лагерный сбор в станицу Уманскую, где он будет кричать на атамана: «Ты мне должен часть отдать! Мало ли что ты стоишь на общественном дворе, мерзавец!» Тяжело падать вниз. Если бы мадам В. не отговорила мужа от дуэли, он мог бы погибнуть под пулей. Благородная смерть! Когда закололи шпагой графа Тулуз-Лотрека, газеты писали целый месяц.

В начале августа он последний раз получил кормовые и прогонные деньги «на весь путь следования на родину».

— Плохо ему было на ужинах после бала, — ругался старый Толстопят на рынке, ни перед кем не мог сдержать и стыда и боли. — Бульон лукулловский, холодное из рябчиков по-суворовски. А теперь куда?

В декабре отец диктовал Манечке почтительную просьбу на имя государя:

— ...Во всякое время я беспощадно приносил свою жизнь в жертву за царя и Отечество и был предан своим послушанием начальству, чем могу доказать наградами за службу. Я имел счастье быть на Дальнем Востоке во время военных действий. Но наконец пробил роковой бесчувственный моей доли час. Час этот служит теперь укором моей совести и опрокидывает всю мою жизнь. Угрызение совести состарило меня на десять лет. Дайте мне свободно дыхнуть и с людьми быть наравне... Теперь пиши, в чем вина сына Петра, а потом вознеси молитвы перед его величеством и призови к милосердию...

БУРСАК И ШКУРОПАТСКАЯ

Когда Бурсак возвратился в ноябре домой, на столе лежали его летние письма, отправленные Толстопяту из Швейцарских Альп, из Парижа в Петербург, в конвой; на конвертах чья-то служебная рука красиво вывела два слова: «Адресат выбыл». Куда он мог выбыть? Но предчувствие было: Толстопят, исправно снабжавший его веселой болтовней о том о сем, вдруг с февраля замолчал на несколько месяцев.

На Гимназической, 77 отец Толстопята с лета лежал в постели; он потерял свой характер: ни с кем не разговаривал, никуда не выходил и часто плакал. 29 ноября Толстопят уезжал в Персию. «Пусть лучше меня персюки убьют, — сказал он Бурсаку, — чем тут каждая собака будет спрашивать: а что случилось?» В горе он стал как будто еще красивее, в самый бы раз показаться ему среди публики в скетингринке на концерте Анастасии Вяльцевой, королевы романса. Бурсак проводил его на Черноморскую станцию и вечером в одиночку сидел на втором ярусе, пил кофе (как это заведено было там) и хлопал диве Вяльцевой за то, отчего пострадал его друг: «за муки сладострастия», тройки, любовные свидания.

Я хочу, все хочу
Вам сказать, что вас люблю,
Но не могу, не могу
Выдать тайну вам свою...

Она пела про что-то чужое, про кому-то богом посланное счастье томления, но всякий мог вспомнить, что в Панском куте, в фаэтонах лихачей, на полянах за Кубанью, или дома у пианино, или поздно ночью в саду постигало душу все то же. Тогда в песнях никто никого не учил, а признавался или жаловался на душевную боль — может, этого мало, но такое было время: в столетнюю годовщину войны с Наполеоном Бурсак не услышал ни одной торжественной пес-

ни — всё звали мелодии к ласкам, к светлому саду и проч. За это, может, и поплатились.

На лишний билет некого было повести с собой: Толстопят уехал. Калерия жила в станице Каневской.

И, придя домой, в тетушкин флигель, Бурсак надумал всполошить Калерию своим визитом. Завтра же договориться с Терешкой, сложить в европейский чемоданчик кое-какие вещи и выехать. После лечения чувствовал он себя хорошо.

Теперь не хватит чувств, чтобы вспомнить и пережить все так, как оно было тогда, в ту последнюю стылую пору 1912 года. Именно чувств старость и не возрождает; сухая память разве что подскажет что-нибудь. Писали в том году газеты: бродил по какому-то захолустном городу стотридцатилетний старик и доказывал, будто он видел в Смоленске Наполеона. Было очень занятно на него поглядеть и даже совратиться его небылицами, но что через сто лет ясного удержалось в его сознании? Все перепуталось. Так многое перепуталось за жизнь в голове Бурсака.

Кажется, ехал он по степи с Терешкой дня два. Половину дороги лили дожди, и Бурсак побаивался простудиться снова. Какую-то книжку он взял с собой и читал на ночлеге. Какую же? Возможно, французскую — какой-нибудь дамский роман для Калерии. Тогда не любили женщины читать про общественные нужды, про несчастье и голод деревень и прочее, искали легкой занимательности в интимной жизни царедворцев, в романах, почему-то не казавшихся слащавыми. Он и купил ей что-то такое.

Конечно, ехал он к Калерии с трепетом и на холоде, в усталости еще нежнее мечтал о том, как постучит, войдет, обнимет ее, сядет пить чай и останется у нее навсегда. Он робко, еще не надеясь на свое выздоровление, писал ей из Швейцарских Альп, но она не отвечала.

«Я не могу без вас жить»,— тысячу раз повторил он ей вдаль, обдумал, в какой церкви они будут венчаться.

Под какой станицей сломалось у Терешки колесо? Ехали ли они от Брюховецкой или где-то в стороне? Важно то, что он освободил Терешку и шел до Каневской несколько верст. Они еле дотянули с поломанным колесом до постоялого двора. Ворота там всегда были открыты, а на заборе торчал шест с пучком сена, что означало: есть чем покормить лошадей. Бурсак погрелся немного в хате. Хозяйка в широкой длинной юбке без оборок, в шерстяных носках подала чай в большой медной кружке, начищенной золой. Где тут ночевать? Из печи, обставленной рогачами, чаплейками для сковород, черными чугунками, несло угаром. В три часа ночи он вышел на дорогу.

Нигде в Европе не отыщешь местечка, похожего на такую просторную глухую степь с волками, птицами, табунами мерзнущих на ветру лошадей. О волках он почему-то не подумал. Шел и жег спички, присматриваясь, не сбился ли с дороги. Где-то здесь разбойник Браницкий, мечтавший уравнять богачей с бедняками, подковал гвоздями мельника, а жене его отрезал грудь. Он был сперва табунщиком у старого Петра Бурсака. Потом он притворялся странником, монахом, просящим милостыни на храм, ремонтером, грабил и убивал с компаньонами, и однажды вели его стражники по этой дороге в Каневскую, где он скрывался у казака на чердаке в бочке. Из станичной тюрьмы его пускали во двор Петра Бурсака под честное слово; мать Демы его кормила и потом вспоминала, как он ее, еще девочку, таскал на руках. Отправляясь на Сахалин, он сказал Петру Бурсаку, где зарыты им драгоценности, но боголюбивый старик смотреть то место под станицей Уманской не пожелал. Так они, верно, и лежат где-то, и никакие пастухи, пригонявшие скот к речке, никакие турки, перерывшие землю по разрешению султана и русского правительства, искавшие сокровища своих предков, ничего не найдут. Даже кувшин с золотом, награда за выловку тела Петра Бурсака из Кубани, закопан кем-то неизвестно где. Этот бы кувшин поднести Калерии. Где она? Неужели он снова в родной степи? Неужели скоро станица? Прошло девять месяцев — может, она слюбилась с кем? Но в станице не так это просто. Будет ли благородная барышня прятаться по кустам, проводить за руку в темени к своим дверям незнакомого мужчину, а назавтра идти по станице в гимназию? Но все бывает! Почему она должна ждать прекрасного присяжного поверенного? И разве он прекрасен? Подъедет в экипаже какой-нибудь хлыщ с зализанными волосами, прокатит — и куда денется ее полуночная тоска! В жизни не так уж много логики, и сюжеты ее коварнее книжных.

На курорте в Швейцарии и в отелях Парижа сколько раз можно было соблазниться хорошенькими женщинами, увезти в Россию, жениться, но нет! — закоснела казацкая натура: лучше, понятней кубанских барышень не попадалось. Чувствительны к красоте француженки, элегантны и остроумны, да только ненадолго попадайся им в плен — они не вынесут нашей уединенной жизни; загадочны англичанки в белых пикейных платьях, в шляпах с широкими полями и перьями или в газовых оборках, пришитых к соломенной тулье, но нелеп рядом с ними казак; головокружительны, игривы откровенностью записки тех и других, а русская стыдливость, таящая огонь, все-таки дороже. Жить в Европе? Ни за что? Не дай бог. Романы о «гибких телах», о «le sang chaud de la luxure» [1] можно читать и дома. Он жалел эмигрантов, которым царской властью заказан был путь в Россию. Они, правда, его сочувствия не спрашивали.

Но и в степи, так вот, как тысячи и тысячи казаков, он жить бы не смог. Утекло то время хуторского сидения, хотя многие офицеры и даже генералы за сладкие пироги не перебрались бы в Екатеринодар. И странно, что Калерия сама себя затворила в глуши. «Надо бы и правда, — думал он,— довести до ума историю нашего рода... не переведемся, так кто-нибудь продолжит. От Запорожской Сечи начать...»

И в пять, и в шесть утра в степи было еще темно.

---

[1] Пылкость сладострастия.

Сколько ждать еще тусклого огонька, первой камышовой крыши?

В девятом часу, под самой станицей, Бурсака нагнала подвода. Но вот и крайние хаты, вдали слева купола церквей. Наделы у казаков были широкие и оканчивались огородами в степь. Хаты стояли то с краю, то посередине надела, то вовсе за садом, белели стенами на восток и на юг, длинные, куцые, под соломой или камышом. С угла прицепились к нему собаки, гавкали, отставали, выскакивали через щели загорож новые, и так они передавали его по всей улице.

«Где ты, моя девочка? Выгляни, что ли...»

Она снимала квартиру у того самого отца Софрония, который приезжал к отцу в Хуторок поиграть на скрипке и заставлял Калерию петь. Она встала, видать, рано, убралась и позавтракала. Кажется, было воскресенье, ну да, потому что она не спешила в гимназию. Она была из той породы женщин, которые не умеют встречаться после разлуки. Все их чувства внезапно гаснут; не знают они, как взглянуть, с чего начать, пугаются. «Боженько ты мой!»,— почти неслышно, с удивлением сказала Калерия, и все.

Через час она кормила его за столом, покрытым чистой скатертью. В комнате почти вся обстановка была хозяйская: пианино, диван, трельяж и прочее. Лишь граммофон из магазина братьев Сарантиди забрала она у отца с матерью; да всякие дамские мелочи. Скрывала ли она скорбь своего одиночества, или ей было хорошо? Ее шаловливая ветреность мариинки как будто навсегда пропала, как пропало невинное детство, когда однажды в пятилетнем возрасте она, возвратившись с рождественской елки, рассказывала маме, в кого влюбились ее подружки и в кого она сама. Мужчина в страдании забрасывает все дела, женщина зарывается в них. Она сама насолила огурцов и капусты, нагнала виноградного соку, сварила алычовый мед; на время холодов сшила себе два платья, связала отцу носки. Все она умела, и не шептал ли ей кто, что на веку суждена ей трудная доля?

Ждала ли она от него какого-нибудь вещего слова? Думала ли тайно: зачем он приехал? Поначалу они говорили о совершенно постороннем, даже о том, как лучше закармливать свинью на сало...

— А тебя никто не видел?

— На том краю, когда шел, какая-то казачка выглянула, я хотел спросить, где учительница Шкуропатская, но раздумал. Самая крайняя хата.

— А-а... Ее сын в сотне Толстопята служит.

— Теперь уж, наверно, в сотне Рашпиля. Толстопятик наш в Персии на ковре сидит.

— А кто эта женщина? Тоже какая-нибудь графиня Тарновская?

— Не видел ее, не знаю.

По какому-то колдовству Бурсак в тумане увидел свою варшавянку мадам В., кравшуюся в Анапе по ночному саду, и показнил себя за свои письма к ней, но никакой святой дух не шепнул ему, что эта мадам В. («какая-нибудь графиня Тарновская», как сказала Калерия) запутала в своих сетях и его друга Пьера.

— Я приехал к тебе,— сказал он,— и ничего больше не знаю. Тебя тут никто еще не засватал?

— Сюда ворона костей не заносит. Маленькую мама меня в золоте купала. Купала, и один золотой в голову, другой в ноги. А счастья нет. Слушаю только рассказы о твоем деде Петре. Бабушка твоя Анисья умерла, знаешь?

— Тетушка сказала.

— Умерла... За неделю ходила на службу. «Поцеловала всех святых, можно и умирать». Ты устал? Хочешь отдохнуть?

— Я немножко продрог.

— У меня есть церковное вино. Я его нагрею, и ты попьешь.

— Спасибо, милая. Вот Толстопят говорит: надо искать невесту в местах неиспорченных. Чтоб всю ее на ладони было видно. Он прав.

Калерия поняла намек и печально улыбнулась.

— Ему ничего другого не остается. Показаковал.

— Отец его при смерти. А Пьера в Уманской в полку чуть не убили казаки.

— За что?!

— В его отсутствие казак отлучился в станицу, и вахмистр на перекличке ударил его с маху, тот упал без сознания. Пьер вахмистра спрятал от расправы. Его забросали камнями, и если б не командир полка, наверное, убили бы. С японской войны очень переменились казаки.— Бурсак помолчал.— Его бы не выгнали из конвоя, если бы он не замешан был в еще одном деле.

— В каком?

— Только прошу тебя никому не говорить. Какой-то еврей из антикварной лавочки принес ему старинные иконы, золоченую чашу для причастия восемнадцатого века, дискос со звездницею и две тарелочки. «Вам нужны деньги? У вас связи, можете реализовать эти вещи как фамильные». Он соблазнился. Забрал, поехал к великому князю Сергею Михайловичу и говорит: «Ваше высочество! Могут описать мои семейные вещи. Купите их». Тому понравились вещи, он их купил за двенадцать тысяч рублей. Толстопят расплатился с антикваром, а две тарелочки подарил даме, с которой у него был роман. Ради двух тарелочек для нее и рисковал. А еврей посчитал, что он уплатил ему не все, и написал командиру конвоя Трубецкому.

— Отдохни. Поспи после Европы у нас в станице. Получше Венеции, везде вода.

— Ездил в Венеции по каналам в гондоле, и мне все казалось, что меня хоронить везут. Гондола вся черная, а гондольер похож на факельщика. Вообще у тетушки моей губа не дура. Я теперь понимаю, за что она любит Европу.

— ?!

— Мы никогда, видно, не научимся жить. У нас Теберда не хуже Альп; но что в Теберде и что в Альпах? Ни к чему не можем приложить руку.

— А если бы жить там всегда?

— Не накажи господь. Ну как нам жить без станичного правления и атамана? «Чи долго мы будем

сопеть носами? А то как вдарю!» Без этого скучно, ха-ха...

— Сейчас я тебя положу. Как я не люблю зиму! Надо ждать, когда натопится печь. Закутываться. Жду марта, тогда уже все кончится навсегда. В октябре над нашим домом несколько ночей летели журавли. Я просыпалась. И слышно, как курлычут. Соскочу — и к окну: они летят и курлычут, курлычут. Вспоминала, как ты возил меня на дачу.

— Почему ты не отвечала на мои письма?

— Я уже все сказала.

— Прости меня...— сказал Бурсак.— Видно, судьба хочет этого.

— Чего?

— Чтобы ты отрезала локон волос, я у тебя просил, помнишь?

— Нет, скажи, чего хочет судьба?

— Разлук наших.— Бурсак углубился в себя и как-то повинно склонил голову.— Я не хотел тебе говорить тогда... я уезжал за границу лечиться.

— Я знаю, я все знаю!

— Ты и правда веришь, что я тебе на роду написан?

Калерия приподняла одно плечико и задумалась.

— Ну уж не Толстопят, конечно... — сказала. — Он ничего до сих пор не знает.

— Ему не до нас.

— Ложись... у тебя вид усталый.

— Не стели, я так полежу немножко. Что это ты пишешь?

— Переписываю, вдова урядника попросила.

Бурсак взял листочки и стал читать.

«Его благородию господину товарищу прокурора.

Имею честь просить Вашей милости простить меня за то, что я без Вашего разрешения позволила писать в тюрьму записки. Я не знала того, что если бы я обратилась к Вашей милости с просьбой, я бы могла иметь свидания со Скибой и Вы бы разрешили писать ему письма. Теперь прошу Вас, Ваше благородие, возложите божескую милость хотя бы для моих детей, несчастных сирот. Не наказывайте строго меня, глупую женщину. За мои подлые поступки. Дайте срок мне определить моих детей, тогда я буду готова страдать за свои проступки, а теперь прошу у Вас пощады. Мы все у бога одинаково грешники, мы должны прощать друг другу. Вы предупредили меня отстать от бывшего у меня Скибы, но я не могу, потому что я была на краю пропасти и просила выручить меня. Кроме него, мне не от кого было ожидать спасения. Он мне тогда сказал: «Я выручу тебя, но ты мне за это дай пред богом клятву, что ты меня до могилы не бросишь: если со мною случится какое-либо несчастье, ты должна будешь меня до возможности выручать». И я клялась всей своей жизнью пред богом, небом и землею, потому что мне надо было спасать свою жизнь для детей моих, сирот. Теперь я должна его выручать, если он окажется действительно важный большой преступник. Тогда я буду просить всевышнего создателя вернуть мою клятву, а его куда бог повернет. А если он будет оправдан и ему будет небольшое наказание, то я с ним должна идти вместе страдать, потому что я клялась и мне все равно бог не даст жизни, я должна буду мучиться своей совестью пред богом — не живя на свете, погибнуть, Ваше благородие. Если Вы желаете узнать все дела за Скибу, то я могу Вам рассказать, только не на допросе. Вдова урядника Федосия Христюк».

— Федосия Христюк?! — Бурсак поднял удивленно глаза на Калерию.— Длинная, нескладная? Она служила на даче тетушки,— ты помнишь ее, когда мы с тобой были, она нам молока приносила?

— Я тогда не приглядела́сь.

— Скиба... какой же это Скиба? У нас судили помощника полицмейстера за убийство братьев Скиба.

— Он им троюродный брат,— пояснила Калерия.— Замешан в тайной организации.

— Какая жизнь пошла! Федосия Христюк, полуграмотная казачка, и революционер. Впрочем, пути женщины к мужчине неисповедимы. Она очень бедовая: «Как дам,— говорила,— мужику по морде, так и перекинется». Разве ты не помнишь? Она рассказывала. Мать шаль ей купила, а казак грязными пальцами и замазал. «Я как дала — он и выстлался. Ты мне справлял ее?»

— Ты бы не помог ей? Поговори в прокуратуре.

— Я поговорю. Никто не чувствует своей вины перед другим, и от этого все беды. Не ты ли помогала ей писать?

— Нет,— сказала Калерия, и Бурсак ей не поверил.— Ты поспи, поспи...

Она попоила его горячим вином, укрыла одеялом и шубой и вышла, чтобы он поскорее заснул. И он лежал, закрыл глаза и, однако, не мог спать — отчего? Он любил Калерию, любил совсем не так, как вдалеке, в плотском томлении, с одуряющими фантазиями. Когда она закрыла дверь, он сказал с восхищением: «Какая душа!» Она не играла словами, не травила его терпение взглядами — нет, она прятала свои взгляды, боялась намеков и, казалось, отодвигала невидимой рукой призрак сближения, но все, что она делала, говорила, было любовью. Это было тихое пламя, а не какая-то дергающаяся похоть. Им не надо было говорить о том, что им делать, все выяснялось уже само собой, и надо было только п р о д о л ж а т ь жить вместе. Вся любовь ее была в заботе о нем. Пока он спал, Калерия вычистила его одежду, вымыла сапоги; на стуле возле кровати на белом платочке поставила она для него чашку с соком. Любит тот, кто заботится? Без нежных слов и обещаний бывает любовь. Душу все равно не выскажешь. Мужикам не дано знать, как женщина перебирает пальцами складки их одежд, что она чувствует, какие слова шепчет. Калерия все сделала, прибрала и ушла, и, хотя записки нигде не было, легко было предугадать ее слова: «Я здесь недалеко, ты просыпайся, я сейчас вернусь...» Бурсак ждал ее, теряя терпение. Чу! Не ее ли тень под окном? Он закрывал глаза. Пусть она подойдет к нему, холодная с улицы, пусть наклонится, и он будто в полусне при-

тянет ее за руку. Но как ему тут оставаться? Нельзя позорить учительницу.

Калерия внесла в комнату лампу, прижгла фитиль и вставила стекло. Бурсак нарочно зашевелился. Калерия подошла и села с краешка.

— Здравствуй еще раз! — сказала она и положила руку ему на грудь. Бурсак поцеловал холодные пальцы. Она первый раз взглянула на него со стыдом...

Никогда не вернутся те нежные часы!

Рождество Калерия справляла в Хуторке с родителями. Все было готово к приему гостей из станицы: забили телочку, откормленных гусей, засолили сало, наставили тарелки с икрой и балыком и несколько блюд с пирожками, начиненными разным фаршем. И конечно — неизменная кутья и взвар. Стол уставили свечами. Не было только Бурсака. Всегда рождество она встречала здесь. «Ну, — говорил отец,— кто за ужином чихнет, тот получит в подарок телочку». Чихала почему-то мама. В старом флигеле Калерия погадала с прислугой. Поставили в скорлупу грецкого ореха огарок восковой свечки, зажгли ее и спустили в миску с водой и ждали, у какого билетика с мужским именем она остановится. Лодочка Калерии причалила к билетику с именем «Петр». Это, наверное, оттого, что она часто жалела бедняжку Толстопята, заброшенного в исламскую страну. Есть мужчины, с которыми нельзя связывать свою жизнь, но воображение вечно влечет к ним, прощая им все.

(Окончание в следующем номере)

Виктор Иванович Лихоносов

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Роман

Редактор *Г. Панкратова* Рисунок *В. Терещенко*

Художественный редактор *А. Орлов* Технический редактор *Г. Моисеева*
Корректоры *Н. Гришина, И. Шевякова*
Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 19.04.89. Подписано в печать 22.06.89. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 16,14. Тираж 3 920 000 (1-й зав. 1—3 020 000). экз. Заказ 995. Цена 1 р. 42 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
142300, г. Чехов Московской области



Уважаемые товарищи!

В заочном обсуждении предложенного редакцией перечня произведений («Роман-газета», № 6, 1989) приняло участие более 80 тысяч читателей. Полученные от них открытки с указанием десяти наиболее предпочтительных произведений были проанализированы в редакции. В подсчете читательских голосов помимо штатных сотрудников и специально созданной группы участвовало более двух десятков организаций книголюбов (в г. Москве, Киеве, Омске, Ленинграде, Перми, Туле, Донецке, Николаеве, Минске, Душанбе и др.), Государственная юношеская республиканская библиотека, Народный архив при Историко-архивном институте, Киевский авиаремонтный завод, Московский институт культуры, Военный институт МО СССР, Тульский машиностроительный завод, Кунцевская районная библиотека, Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, а также другие коллективы, в контакте с которыми работает редакция.

С учетом сложившегося читательского мнения, а также литературно-общественной значимости того или иного произведения редколлегия «Роман-газеты» сочла возможным включить в план выпуска на 1990 — начало 1991 г. следующие названия:

Айтматов Ч. Богоматерь в снегах. Роман.
Азаров Ю. Печора. Роман.
Азери С. В тупике. Роман.
Алексеев С. Крамола. Роман.
Балашов Д. Ветер времени. Роман.
Белов В. Год великого перелома. Роман-хроника.
Волков О. Век надежд и крушений.
Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет.
Глушко М. Мадонна с пайковым хлебом. Роман.
Жуков А. Голова в облаках. Повести.
Личутин В. Любостай. Роман.
Михайлов О. Кутузов. Исторический роман.
Пикуль В. Честь имею. Роман.
Проскурин П. Отречение. Роман. Кн. 2-я.
Рыбаков А. Тридцать пятый и другие годы. Роман.
Семенов Ю. Экспансия. Роман. Кн. 3-я.
Стаднюк И. Москва, 41-й. Роман. Кн. 2-я.
Чаковский А. Нюрнбергские призраки. Роман. Кн. 2-я.

Из них в первом полугодии намечено выпустить произведения С. Алексеева, Д. Балашова, О. Волкова, А. Рыбакова, И. Стаднюка и других авторов; во втором полугодии — Д. Волкогонова, В. Пикуля, П. Проскурина, Ю. Семенова, А. Чаковского и других.

1 р 42 к.

РОМАН-17
ГАЗЕТА

70782

